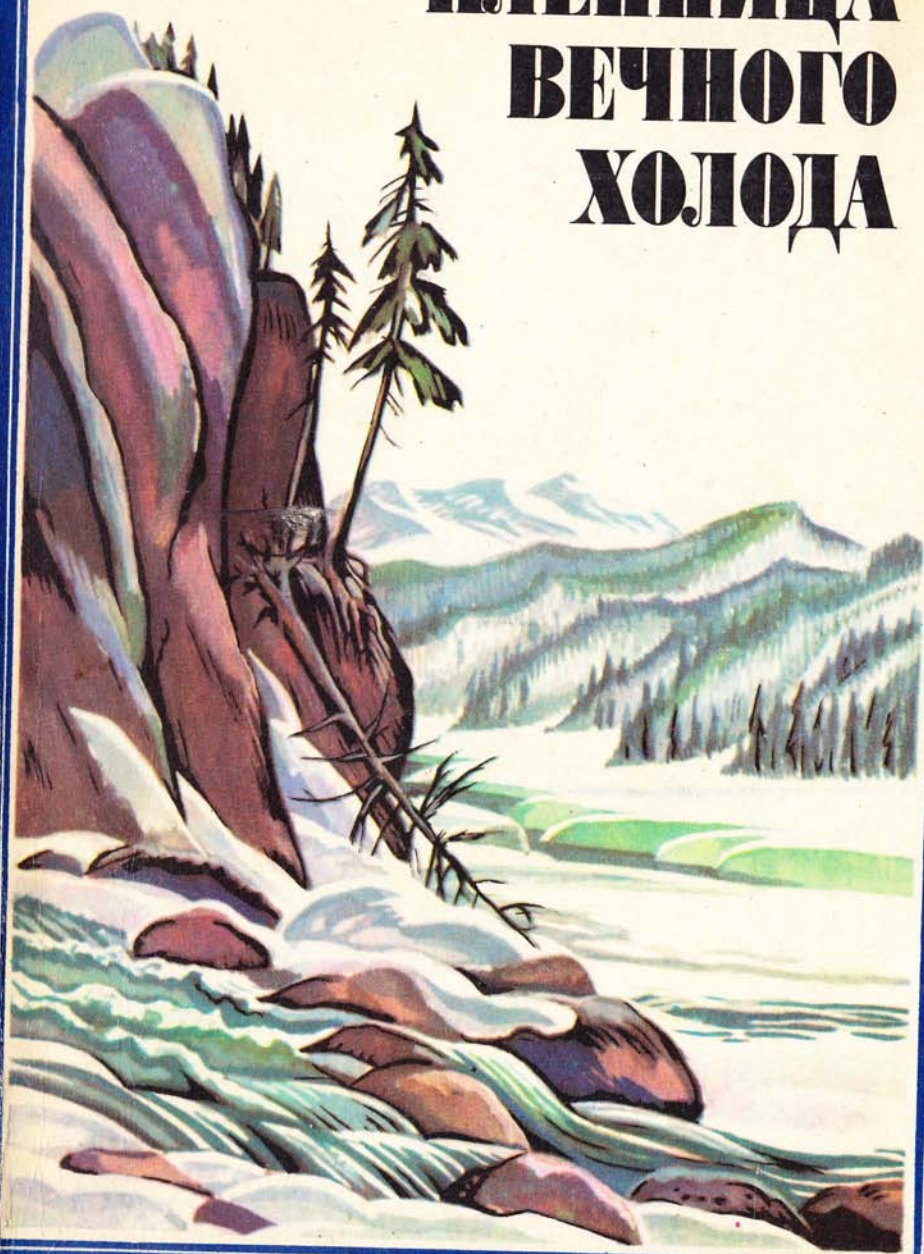
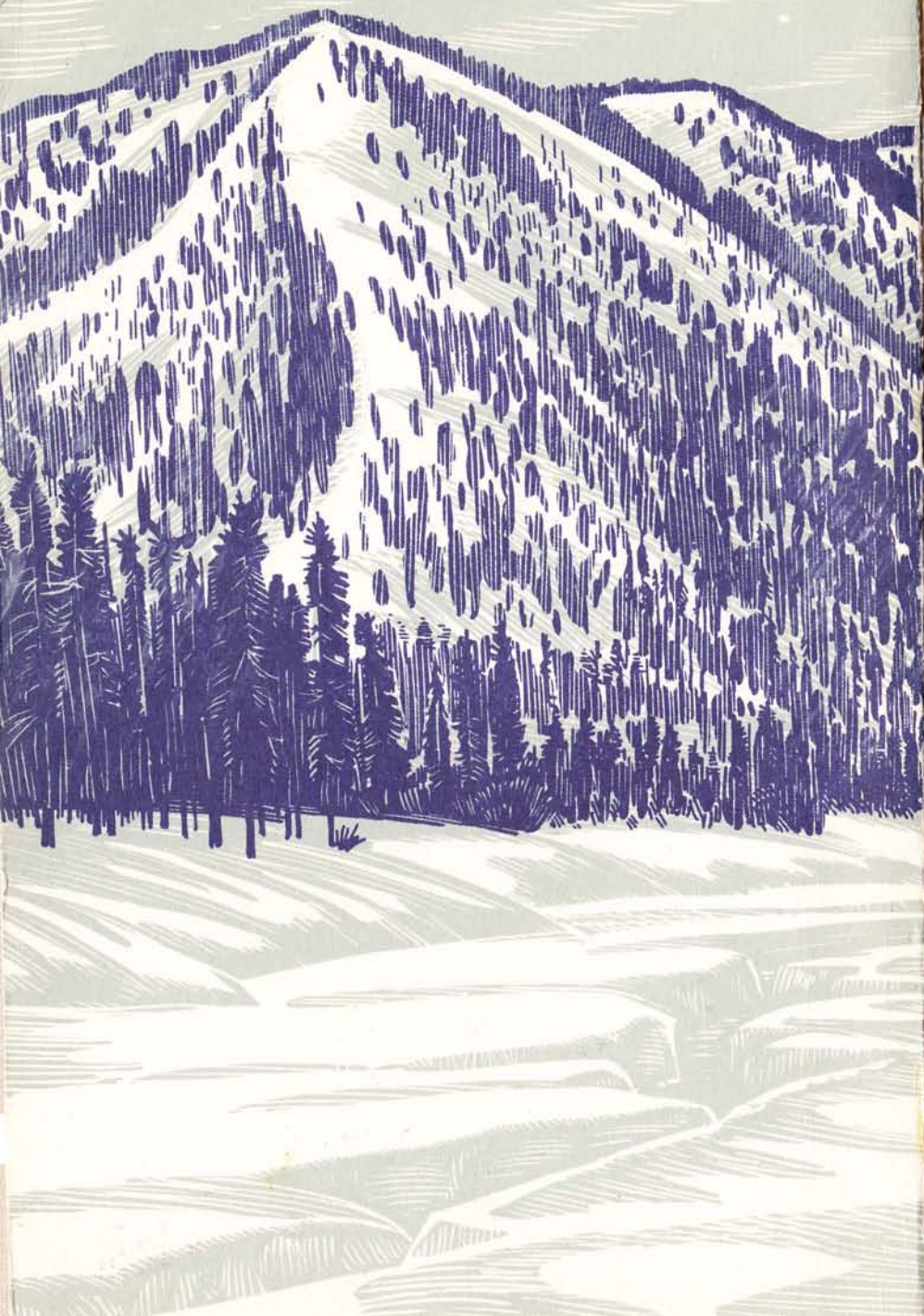


Н. Вельмина

ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА





Н. Вельмина

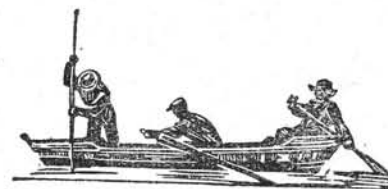
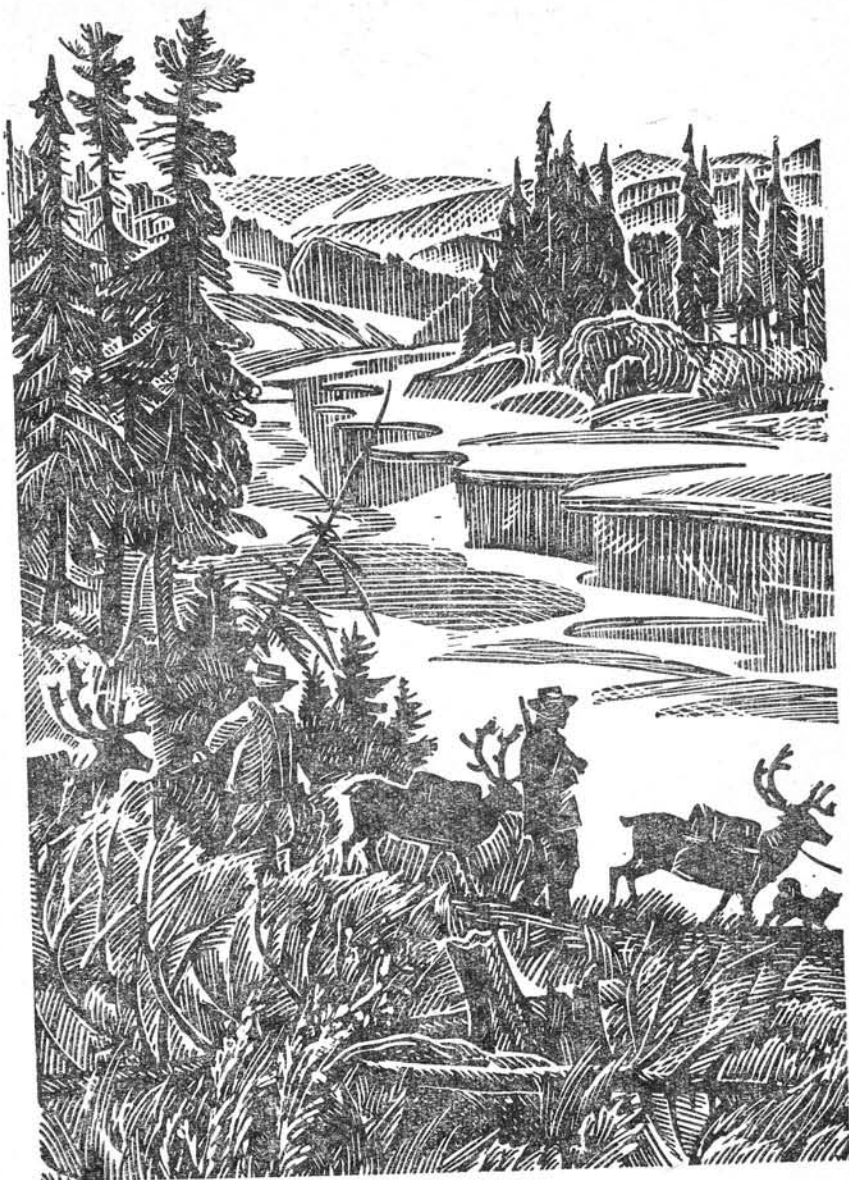
ПЛЕННИЦА
ВЕЧНОГО
ХОЛОДА



Н. Вельмина

ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

Москва
«Мысль»
1979





Людам, ездившим когда-то в кибитках, запомнились бесконечные тракты, полосатые верстовые столбы, метели, будки, станционные смотрители, удалые ямщики с долгими грустными песнями и горестными рассказами.

Потом путешественников будоражили мятежные гудки паровозов, их встречали светофоры, уходящие вдаль рельсы, шумные вокзалы с ресторанами, крохотные полустанки Сибири, засыпанные снегами, роскошество цветов на станциях Кавказа.

Сейчас в жизнь вошли необъятные просторы неба, лабиринты кучевых облаков, разряды молний под ногами, стеклобетон бессонных аэропортов, ажиотаж поглощения пространства и времени и ощущение близости всей планеты.

Многие годы на Великой транссибирской магистрали, на всем ее пути в десять с чем-то тысяч километров с монми мечтами постоянно была связана единственная станция больше, чем какое-либо другое место на Земле, — это станция Большой Невер.

Если смотреть на карту, она расположена там, где магистраль, покинув Байкал, пройдя Читу и Ерофей Павловича, поднимается к северу до наивысшей точки и потом уже круто спускается к Хабаровску. От Большого Невера к северу идет автомобильный тракт — Амуро-Якутская Магистраль — АЯМ, или просто Дорога. Она доходит до города Алдана, бывшего прииска Незаметного, центра алданского золотопромышленного района. Когда-то, в далекие двадцатые годы, Алдан был средоточием страшных страстей человеческих, там трясла людей злая и жестокая золотая лихорадка.

Но от Большого Невера через Алдан начинался еще и великий путь в Арктику, на Крайний Север, в страны, где под голубым северным сиянием в торжественном молчании стоят громадные горные хребты, где мчатся собачьи и оленьи упряжки, где живут и работают сильные волевые люди со своим миром в душе и где их на каждом шагу ждут невероятные трудности.

Трудности, возможно, были главным притяжением среди всего остального недостижимо прекрасного. Не терпелось с ними «схватиться». Хотелось взять в жизни свое — не готовое, не кем-то, даже добрым подаренное, а добиться его, завоевать своими руками. Преодоление этих трудностей представлялось как проверка сил, как испытание на звание Человека. Для меня и для многих моих

сверстников это был путь из детства в романтику всей последующей жизни.

И случилось потом так, что Большой Невер стал мелькать нередко мной часто. Две тысячи километров Транссибирского пути от станции Ксеньевской до Владивостока оказались в какой-то мере ко мне причастны. Конец тридцатых годов. Дипломная практика. И встречи с Большим Невером я каждый раз ждала с трепетом и не спала — сторожила, если поезд проходил его ночью.

Поезд там стоял пять минут. Низкое деревянное здание вокзала в морозном дыму светилось желтыми домашними огнями. Лязг и стук тормозов, скрип снега и темные фигуры под окном. В купе распахивалась дверь, врвался морозный воздух и в белом густом ореоле, в инее вваливался какой-нибудь великан в собачьей или медвежьей дохе, в меховых унтах, с мешком, рюкзаком или переметной сумой в руках, с лицом, задубелым от мороза и ветра. Великан забрасывал свои мешки наверх, в темную и жаркую глубину уютного багажника, и сразу засыпал, положив доху под хлипкую вагонную подушку.

Ехали полярники, золотоискатели, таежники с низовьев Лены, из Жиганска, с Чукотки, из Якутска, Алдана или еще какого-либо места огромного края. Не всегда, конечно, бывали они великанами, но такими они мне казались.

Они рьяно пили, кутили в ресторане, возвращаясь навеселе, азартно играли в карты, быстро обретали приятелей, нередко крупно проигрывали и, не доехав еще до дома, думали о возвращении.

Необычными историями герои баловали не часто. Их немногословность объясняла я избытком полученных эмоций или отсутствием интересных им собеседников. Отрицательных черт в них замечать я не хотела, для меня они все были людьми необыкновенными — ведь они были «оттуда»...

Их обветренные лица, житейский опыт и глаза, окруженные морщинками испытаний, требовали доверия. И даже отрывочные фразы, беглые, к слову, воспоминания, что они нехотя, среди громких выкриков «пас», «при двух» и «мизер» роняли в тесноте продыmlенных купе, — о золотых самородках, океане, долгих путях на собаках по замерзшим сибирским рекам среди снежных хребтов, почевках на снегу, в душных чукотских ярангах — создавали в моем воображении удивительные героические картины. Картины оживали, люди двигались, говорили, мечтали, добивались того, ради чего стоило жертвовать всем, даже жизнью.

Как появляются и утверждают влечения к исследованию Земли? К тому, чтобы что-то найти, узнать, открыть, разведать?

Некоторые люди с детства ощущают такое особое «земное тяготение».

Мое детство совпало с началом освоения Арктики, когда были перелет Амундсена через Северный полюс, его гибель при спасении Нобиле, челюскинцы, первые герои-летчики...

Север всегда влек людей по-особенному, и отсутствие внешней причинности в этом влечении чаще, чем где бы то ни было. Не в райские кущи влекло, а в самое трудное. «Ступить и умереть», — сказал якут, сопровождавший Э. В. Толля в поисках Земли Санникова. «Ступить и не умереть» — казалось мне значительнее и нужнее. Вот почему героем моего детства был (да и потом навсегда остался) Руал Амундсен — человек, не превзойденный по целеустремленности, силе воли, энергии, продуманности каждого своего шага и по соответствию выполненного намеренному.

Всем идущим в неизвестное бывало трудно. Но в холодных краях, вероятно, труднее всего. Пройдя пустыни с иссушающей жарой, жаждой и безнадежностью, джунгли и бесконечную сельву с тропическими болезнями, миазмами болот и безысходной затерянностью, все же можно было выйти к берегам теплого океана с пенистым ласкающим прибоем, пальмами, родниками и фруктами. Можно было набраться сил и вновь начать борьбу.

А куда выходили землепроходцы Сибири, Северо-Востока, Арктики? К холодному, неласковому морю, в безлюдье, в тот же холод и голод, что был позади, или в тайгу, в снежные метели, льды и чаще всего к неизбежной смерти.

Люди гибли и там, где холодно, и там, где жарко. И бесславно и со славой. Но все они шли не за ней, и это главное.



Золотые костры

Кто он — капитан лесогруза, землепроходец нового времени? Трудно подобрать другую профессию соседу моему по купе. Может, из тех он, что будоражили когда-то мой сон в Невере? Массивен, но подборист, с бородкой в меру, со спокойным взглядом. Мы едем с ним по Транссибирской, почти одни в вагоне, и несет нас поезд к тем местам, где многое вспоминается...

На столе перед ним одна и та же едва початая бутылка коньяку, он задумчиво смотрит в окно. Проехали Урал, мельтешили пятна озер Западной Сибири, после Красноярска речки извивались где-то внизу, в крутых залесенных склонах. Реки запомни-

лись грохочущими мостами. На горизонте лежали сопки — безлесные или в лесах, издали похожих на траву.

Проезжали города. Скучные здания депо, станций, водонапорных башен. Почему все эти здания всегда типовые? Потому что их много? Так это же хорошо! Каждый край, каждый город, поселок, аул, равнина или ущелье, где родилась станция, должны иметь свой облик, а зодчие могли бы сделать ее символом идей тех людей, что живут и будут жить здесь.

И все подъезды к городам могли бы быть застроены домами-образами с неповторимыми своими, и только своими, ликами. И это была бы своеобразная выставка архитектуры.

Поезд останавливался у длинных деревянных вокзалов, памятно дорогих мне по давним годам; от перронов вверх поднимались деревянные же лесенки. Девчонки с косичками и бабки в платках выносили к вагону горячие шаньи с картошкой и толченой черемухой.

Были тихие, мечтательные полустанки, на которых поезд почему-то иногда останавливался, где деревья шевелились почти у окон. Огни вокзалов не мешали, и сквозь деревья мелькали в небе редкие звезды.

Я отсыпалась в поезде после круглосуточных сборов в Москве и выпалась, когда уже проезжали забайкальские туннели. И тогда пришло ощущение, что не сейчас я еду, а тогда, в конце тридцатых годов. И почему-то все беспокойнее становился мой сосед, и мы впервые разговорились с ним по-настоящему, и он без моих просьб рассказал многое.

...Строитель с верфей из Николаева, а вообще-то он житель Симферополя. А еще раньше — золотоискатель... с Алдана! Локшин. Я не совсем угадала, но и была недалеко от истины.

Сказала Локшину, что еду на Алдан. Локшин удивился:

— На Алдан? Ну, да теперь не то, теперь, в пятидесятые годы, туда дорога настоящая. Края ни с чем не сравнимые. Может, потому, что там молодость осталась. Больше четверти века не был.

Когда-то он вывез с Алдана жену, и так вот получилось, что сына потянуло на родину, и теперь он там в руководстве треста «Алданзолото». Едет Локшин к сыну.

— Даже названия те до сих пор не могу спокойно слышать, — вздыхает он, — бросает в трепет. Незаметный, Орочен, Лебединый, Золотой... Началось все в двадцать третьем, а золото открыли еще в середине прошлого века. Разведывать промышленники стали в двенадцатом нашего. Да что толку. Прииски раз вернуть и в двадцатом не удалось — край глухой, бездорожный. Транспорт один — Алдан-река, но и она с югом и западом не

связана. К Якутску по воде — и то петля в тысячи километров. Золото мыли единицы, случайные люди.

Уже после революции, в двадцатых годах, пришли настоящие разведчики из Якутска. В третий раз тогда открыли это золото! На этот раз дело в руки взяло государство. На ключике совсем неприметном золото разведчикам указал якут. Там и стали добывать золото... Прииск и поселок называли Незаметным. И быстро, один за одним, появлялись вокруг прииски — Пролетарский, Джеконда, Лебединый, Золотой.

По первачу похватывали люди золота, похватывали... Рассказывали — гребли фунтами в день. Разбогатевшие фартовые, как их называли, с деньгами и золотом разбредались кто куда. Слухи об алданском золоте разнеслись далеко — с Лены, с Амура кинулись люди на Алдан. И у себя сидели не плохо, а захотелось стариной тряхнуть — начинали-то с большего!

Распродавали имущество, бросали, семьями трогались, лодки нанимали, плоты вязали, тайгой шли — что делалось! Рассказать трудно... Дорог не было. Оленьи тропы — хорошо, а где без троп, по глубокому снегу ныряли, пешком с мешками за спиной, с санками. Не только старатели — с места сдвинулись и рабочие — разруха едва кончилась, неустройство, ничего еще не устоялось, молодежь после армии, братва с флота, притопали школьники, почти мальчишки, за романтикой бросались, даже интеллигенция на фарт потянулась. Русские, буряты, казахи, грузины, корейцы, китайцы — наши и те, что с родины поприехали.

Золотую лихорадку прочувствовал я крепко. Может, не лучшие страсти в человеке разошлись, но сильные. И хорошее было — работа зверская, в полноту сил и больше. Мы с корешем на Алдан не в первый год пришли, бросили Владивосток — там ходили вдоль берега на карбасах, на шхунах — от промышленников.

От Невера до Станового еще ничего, зимовья попадались, дошлые люди не растерялись, поставили, да еще стояли мазанки китайцев, что пришли из Тяньцзиня. А за перевалом — глушь началась, тайга непроходимая, реки в наледях, в буграх с водой. Снега глубокие, вещи тащить трудно, каждый пустяк камнем за спиной висит.

Китайцы — те поджарые, рогульки на спину приспособили, все скорее получалось. Наши кто санки тянул, кто с лошадьми вьюком. Верблюды были — вот что! Шли караванами и в одиночку — поверить трудно. Верблюдов множество. Мерзли бедняги, падали, какие выдерживали.

Ночевки в зимовьях! Народу полно, духота, табак волнами, вонь — не продохнешь, испарина, спали вповалку и рады были —

ночь, мороз. На дороге грабители всех мастей. Ловили фартовых с Алдана — те налегке, только золото тащат. Косачами их звали. Хоронились они, шли речонками по льду, костры жесть боялись, мерзли, да где там — от нахрапистого народа не убережешься! Подкарауливали их, грабили, убивали.

Люди с ног валились. Лошади, верблюды падали от голода, с мороза, от бессилья. Снег заносил. А кругом горы, горы... Ночевали мы под деревьями у костра, на снегу. Ох!.. — он тряхнул головой, прищурил глаза, две жесткие складки обжали рот. — Вышли на речку Горбыляку, в жизни ее не забуду, вся в ледяных горбах, а поверх горбов вода, парит как в бане, а окунешься — пропадешь. Миновать нельзя, потому там какая ни есть, а тропа. Река кипела, проваливались мы, обмерзали, сколько людей покалечилось!

Зимовье на Горбыляке стояло, названия не помню, а надо бы — спаслись в зимовье. Два дня лежали — обморозились, криком кричали. Потом попали в Незаметный, не поймешь — городок, поселок или походный лагерь? Пестрый, домишки рубленые с плоскими крышами, шалаши, юрты из корья, мазанки глиняные, в окнах ситец и лед. Улицы в сугробах, меж сугробов ворота с цветными тряпками, фонарики изо льда светятся — китайцы ворота украшали. Тунгусы, якуты на оленях, верблюды, лошади. Забыть бы зачем пришел — шататься и смотреть!

Обратно гнали нас — народа много сбилось — тысячи, снабжать надо. Никто по указке не повернул — такой путь позади! О фарте мечтали, каждый держал себя хозяином своей судьбы. А кто, фьюить! мешочки с золотом на кон — и за ночь проигрывали! Незаметный полон притонов был, игорных домов, опиекурилен, драки страшные случались. Кутили, денег не жалели. Жутко и любопытно. Молод был, все завлекало.

Забегаловки, магазинчики как закутки — китайцы держали. В вертепе этом в первые дни едва кореша не потерял — кинулся он в игорный дом, денег нет, взял займы, проиграл, а с братвой той шулки плохи, куда-то дели его. На третий день нашел чуть живого, слово взял с него на всю жизнь...

В Незаметном места не нашлось, пошли на ключ с двоими — зазвали в компанию. Жили в шалаше, сначала без печки у костра сидели, потом землянку вырыли. Золото хорошо шло, а пришлось убежать оттуда, и долю свою бросили: кореш подслушал — хотят нас убить. Я не верил, друг уперся — один уйду. Перебрались на Золотой. Парни попались хорошие.

Сладили жилище, и к лучшему, что сбежали, в той землянке пропали бы — мерзлота оттаивала, воды хоть пльви, сырость, холод, суставы опухали. Цингой болели, тогда не знали, что в

хвое спасенье. А жили! Человек все сделает, если хочет. Горы свернет.

Зимой на воздух топили — печки на речках в лед ставили (воды для промывки не хватало), костры жгли, вечную мерзлоту отогревали. Бут раскаляли, забивали им шахты. Теперь все небось иначе.

— На дальних приисках, — вспомнила я, — где воды мало, так же. И теперь кострами и бутом мерзлоту оттаивают. Где и паровыми иглами с котлом, ближе к промышленным районам — электричеством. Временные плотины строят, напускают на полигон воду и оттаивают...

— Вот видите, а тогда было так только. Мы с корешем на средних жили, провалов не было и фарта не было. Но шли годы, и деньги собрались немалые. Что осталось на всю жизнь — это красота от костров! Костры ночами горели — по всем ключам метались золотые костры, будто земля полыхала раскаленным золотом, манила к себе людей... И все это я на всю жизнь запомнил — по душе была та жизнь.

А людей узнал! И волки-люди были, но были редкостно прекрасные: последним с теми, кому не везло, делились. А невезучих хватало — то шахту зальет, то порода идет пустая — с голоду умрешь. Случалось, горстями в тайге золото давали за кусок хлеба. Повидал я... Жизнь-то, она пестрая, знаете?

Руки Локшина дрожали, когда он закуривал.

— Потом Незаметный разросся, дома поставили с крышами, в магазины, хоть они и мазанки, китайцы из Шанхая товаров натащили — материи, обувь, духи французские, белье. А тем, кто работал, инструменты давай, сапоги, куртки ватные, плащи. Якуты выручали, одежду привозили из оленьих шкур. Женщин там — только мамки артельные, жены редко, да в семьях девчонки подрастали. И моя подросла.

Дома игорные, курильни позакрывали, а играть все одно играли. Стрелялись, с ума сходили — кто от радости богатства, кто от горя, если проиграл, кого ограбили, у кого государство отобрало — уже решение было сдавать что намоешь в контору. Мы с корешем все сдавали, так решили: что наше, то наше, чтобы без страха пользоваться своими трудами. А кто не сдавал — палки лесные долбили, золотом засыпали, как в детективах американские миллионеры наследство в тросточках прятали, рогульки заплетенные дырявили, в шапки рваные насыпали...

Говорил он долго. Выговорился, успокоился, тихо сидел, опершись локтями о столик, закрыв ладонями лицо. Было темно в купе, за окнами внизу, в узких долинах отблескивали небом речки.

Алдан через Локшина стал ближе мне, как человек, чья молодость открылась вдруг в своей доподлинности.

Пять дней как мы из Москвы. А всего неделю назад я и не думала об Алдане.



В заветный край

В Москве в институте неожиданно сказали: «Поезжайте на Алдан! Именно вы. Срочно».

Почему я, а не кто-то другой и в голову не пришло спросить. Я — сотрудник Якутской мерзлотной станции института, уговорить меня оказалось просто. Не прошло и нескольких минут, как я уже боялась, что вдруг все сорвется. На Алдан, через Большой Невер, в тайгу — искать источники в вечной мерзлоте для людей, что когда-то туда придут, возможно, для металлургического комбината, что когда-то эти люди там построят, а может, для железной дороги, что давно уже ждут в Якутии.

Алдан был тогда самым горячим местом якутской земли — железо, уголь, слюда, золото...

Для многих Алдан — это река, что впадает в Лену севернее Якутска, делая перед этим огромную петлю, повторяющую богатырский изгиб Верхоянского хребта. Для нас Алдан — Южная Якутия, где на карте среди отрогов Станового хребта, в гранитных массивах Алданского щита, только-только виднеются тонкие первородные усики верховьев этой реки длиной более чем две тысячи километров.

Этот щит, или «древнее темя Земли», как говорят геологи, — одно из немногих ее мест, где на поверхность выходят самые древние архейские граниты. Высота хребтов — полторы-две тысячи метров, вершины поднимаются еще выше.

Сейчас работы там спешно разворачиваются потому, что край повернулся к человеку особой своей стороной — в редкой и богатой близости нашли железо и уголь. Такое не может не соблазнить. Понятно, что прежде всего стала нужна вода.

Район называется Алданским. Алданским горнопромышленным, Алданским угленосным бассейном, Алданским золотоносным... Трудно найти еще другое место, которое имело бы такие же права на столько названий.

Вот туда я и еду искать воду.

Локшин успокоился потому, что, вспоминая, заменил зрительные образы своего прошлого простыми словами рассказа.

Мы приближались к цели, но тут замелькали станции, от названий которых уже не Локшин, а я стала ощущать волнение безнадежной ностальгии по юности, — Ксеньевская, Могоча, Амазар, Жанна... Где-то здесь и тот разъезд, на котором горели и мои золотые костры.

И показалось мне, что можно по одной из деревянных лесенок, остававшихся позади на пустынных перронах вокзалов, подняться прямо в мое студенчество, и оно развернется, как навеки отснятый в моей душе и навсегда вложенный в память кинорассказ. И пронесся он перед глазами очень живо...

Белая лошадь

Жамку поместили в конюшне у нашего дома, единственного на железнодорожном разъезде. Дом завален снегом, вплотную — лиственницы и ели. Нас четверо на нашей половине, в соседней — железнодорожники и погранпост, до границы не так далеко. Возвращаюсь я из маршрутов всегда поздно. Самый дальний «объект» — источник — почти в двадцати километрах.

Мы пробиваемся с Жамкой сквозь сплетенье ветвей по льду замерзшего ручья. Почти темно — в тайге зимой темнеет рано. Мороз под сорок. Вмерзшие в лед ветки, упавшие деревья. Перед лежащими стволами Жамка останавливается — они ей почти по грудь.

Не одолев преграды, она равнодушно повисает на толстом стволе и может провисеть долго, если не заставить ее перетаскивать ноги. От остановки я просыпаюсь. Каждый раз, когда на траверсе у нас ее родная конюшня, она пытается к ней свернуть.

Когда Жамка выходит на лед ручья, я начинаю дремать от усталости. После обледенелых валунов редколесья, западин, прикрытых снегом, ручей в каньончике деревьев кажется едва ли не шоссейной дорогой. Жамка плохо видит правым глазом, но чутье у нее хорошее.

Что-то тяжелое шарахается в кустах. Трещат сучья. Поднимаюсь на стременах.

— Кто там?

Молчание. И вдруг резко, на высокой ноте, взвинченный мужской голос поет:

Mite is wandering in the night,
Night to mite don't frightful...*

Голос обрывается сразу. Стыкая зубы, трогаюсь. Хруст сучьев, и шаги удаляются. Хлопаю Жамку по теплому боку. По шоссе, вдоль железной дороги, Жамка сама берет в галоп.

Дом наш — ковчег, полный тепла (две печки!), уюта (мягкий голос Франи: «О-ох, панна, ка-ак поздно!») и еды — днем поест было негде. Пазо снимает с меня пальто и вешает к печке. Он неразговорчив, но дружелюбие его я знаю. Пазо — инженер, ведет изыскания на БАМе с самого начала. Он похож на грека, но откуда-то с Украины — пути крови почти так же таинственны, как пути воды в мерзлой земле. Стива — длинный блондин с вихрями — тоже инженер. Как всегда, он посмеивается и, закрыв глаза, тянет нарочито тонким голосом:

— Ах, ах, девушка оз-зябла, девушка хо-очет чаю...

— Чаю маловато, — кричу я, — чего-то посущественнее.

Фране за тридцать — зеленоватые глаза, громадный, тяжелый пучок темных волос, подтянутая фигура и грация, присущая только полякам. Франя кормит меня ужином, с состраданием смотрит на мои синие руки. Она из Белоруссии, здесь находится по обвинению в убийстве мужа. У нас, в доме для приезжих, она дневальная и очень рада этому.

— Все паны и паны приезжали, — говорит она. — Панна первая, так хорошо!

У мужа была тяжелая наследственность — три поколения его предков кончали самоубийством. Франя нашла его в постели днем, после дежурства. Не подумав, схватила она револьвер, что лежал на полу. Оружие ему, телеграфисту маленькой железнодорожной станции, полагалось.

— Говорят, не надо было трогать револьвер... А записки он не оставил...

Доказать невиновность свою она не могла, но очень уж была не похожа на убийцу и «срок» получила короткий.

После ужина Франя плача целует облохматившиеся карточки двух стриженных мальчиков и мужа, тонкого, как малыши, и высокого.

— Таки хороши дети, таки добри. «Не плачьте, мама, за нас, берегите себя, мы вас ждать будем», — говорили они мне. Старшему восемь. С сестрой остались.

* Малютка бродит в темноте,
Малютке в темноте не страшно...

Ложимся мы рано, встаем в шесть. Где-то наверху, в сопках, в елях, в ернике, под мхами, выходит маленький родничок, несясь ключик. Тепла ключика хватает на излив и первые метры по земле. Затем совершается обычное таинство, к которому человек привык, — вода превращается в лед. Наледь от родничка спускается далеко вниз по склону, затапливая кусты и деревья.

На источнике избушка «на курьих ножках». Заливается патефон: «Привет, Рио-Рита-а-а...» Здесь живет ударная бригада.

Вода от родничка потечет по трубе длиной двадцать километров самотеком. Трубы уложат в неглубокой траншее, присыплют насыпью, у колодца поставят станцию подогрева.

Ночами в тайге полыхают костры — оттаивают в траншеях мерзлоту. Огни, как колдовское буйство, пронизывают жгучие морозные ночи. Где они едва видны над землей и будто рождаются в ней, разгораясь под ветром, а где пылают в полную силу растрепанными вихрями. За километры видно, как взбираются огни на сопки и пропадают в падах.

В синие леденящие утра Жамка идет по шоссе шагом. Наверное, имя дал ей тот человек, кого водили в детстве на воскресные базары и покупали медовые жамки.

В лесу едва светает, когда мы пересекаем поляну. Ночью выпала пороша, и сейчас здесь проезжая дорога — все следы к водою, к маленькому быстротоку на ручье. Заячьи перепрыжки, перескоки соболя и лисьи шажки с приседаниями, широкий разброс снега — глухаринный разворот с отпечатками крыльев. Поверх всего развалистый шаг медведя. Не залег еще или шатун?

Оживает трасса. На стук кайл и побрехивание трактора я обычно выхожу от источника кратчайшим путем. Вальяные лиственницы, и я стараюсь уйти подальше и не смотреть на это.

— Палыга! — кричат рабочие. — Давай скорей, трактор увяз!

Трактор осел в мерзлой каше болота. Приходит Палыга — широкоплечий, массивный, густо заросший черным волосом. Встретишь — испугаешься. Но Палыга добродушно улыбается, и все страшное в нем сразу исчезает. Он примеривается, залезает в мерзлое месиво, широко расставляет ноги, вбирает живот, подтягивает пояс на ватнике. Подставляет плечо, спину, натуживается до черноты, удивительно ловко подставляет себя все больше и больше под туго вылезавший из грязи трактор. Кажется, весь он уже под трактором и неминуемо сейчас погибнет, но Палыга неторопливо выпрастывается из-под него, а трактор оказывается на твердой земле.

Все дни схожи — путь на Жамке верхом, работа, пешие переходы, уговоры, перекуры, лед ручья в темноте, Франя со сво-

им ласковым: «Ка-ак поздно, панна»!.. Стива: «Пропадете когда-нибудь, девушка, а-ах, а-ах, пропадете...» — и Пазо, молча снимающий с меня пальто, стягивающий чуть ли не примерзшие к ногам бурки. Я зверски мерзну в своем московском пальтишке, а морозы свирепеют и идут к шестидесяти.

Темными вечерами, после ужина, хожу иногда в бараки — что-то рассказываю, что-то вспоминаю — о пятилетке, стройках прежних, новых, будущих. О Хибинах, где носилась с гор на лыжах, о Кавказе, театре, музыке. Бараки в тайге в полутора километрах от дома.

Встречают меня по-разному — хмуро, приветливо, равнодушно. В железную печку подбрасывают дров, печка гудит, пламенеет и дергается от жара. Потом все оживляются, с полатей падают вопросы один за одним, и все — о «жизни вообще»... И глаза не на меня смотрят, а куда-то в свою жизнь, прошлую ли, будущую ли. Чуть ли не все конфликты человеческих судеб должна я пересудить. Каждый прошел по жизни какой-то своей тропой.

Часов в десять староста барака зычным голосом командует: — Петров, Сидоров — провожать!

Идем так — я в середине, по бокам «телохранители». Никогда ни о чем не расспрашиваю их, но почти всегда они рассказывают. Один сидел за грабеж с убийством, другой за кражу со взломом. Полтора километра пути — много лет жизни. У дверей дома провожатые отступают на шаг, церемонно раскланиваются.

Пазо ждет меня и не ложится. Стива поднимает с подушки заспанное лицо и тянет нарочито фальшивым голосом:

— Они вас проиграют когда-нибудь в ка-а-рты, девушка, вот увидите, а-ах, а-ах...

На вечный зов

Снежный склон долины сверкает на морозе. Из-под снега торчат щеткой прутики багульника. Багульник пахнетпряно и резко. Сказочный кустарничек стоит, покачиваясь под холодным ветром, голые коричневые прутики вразброд, и не подумаешь, что, сорви их и поставь дома в воду, расцветут они нежными сиревыми цветами.

Здесь одна из тех речек, что сильно раздосадовали когда-то строителей необычным своим свойством — промерзать насквозь.

Вспарывая пушистый снег, я скольжу на бурках по склону к реке и вступаю на лед, звенящий хрустальным звоном: по льду в белых вихрях летят ледяные осколки. На изгибах реки и под берегами глубокие сугробы. Поверхность реки то заснежена, то оголена, но везде светла. Коротенькой пешней пробиваю лед. Подо льдом гулкая пустота. Обкалываю пролом пошире, спускаюсь в реку «этажом» ниже, на второй от верха слой льда. Проламываю и его, еще на один «этаж» опускаюсь и наконец стою на сухом русле.

Осенью в реке высоко шла вода, потом река покрылась льдом, но крадучись, незаметно вода стала из-под льда уходить — далеко где-то ждал и настойчиво звал ее океан. Но мороз знал ее хитрости! Он следил за ней недремлющим оком и, не церемонясь, хватал ее. Однако беглянку не удержать! Она оставляла в его жестких руках свою ледяную «кожу», как ящерица оставляет хвост.

Приток воды становился меньше, промерзшие берега не восстанавливали ее убыль. Вода стремилась на вечный зов и защищала себя от мороза одним ледяным потолком, потом двумя, а затем, пытаясь перехитрить деспота, спускалась в глубь наносов, чтобы добраться через пески и гравий дна если не к океану, то хотя бы до ближайшей речки и передать ей кроху своей плоти. Такой «инстинкт продолжения рода» — извечный закон всего живого! А что на свете живее воды?

Между ледяными этажами теплее, чем снаружи, но и там порхают ледяные сквознячки от пролома к пролому — лед проваливается от своей тяжести, под медведем или лосем — сохатый в кровь обдирает ноги и оставляет на льду красные рябинки.

Тени птиц скользят в прозрачных стеклянных коридорах. По коридорам бесшумно шныряет мелкое зверье, спасаясь от преследователей. Из одного этажа в другой, сверху вниз, снизу вверх, вдоль по межледному простору. Скользят куньи, летит-плывет, сливаясь со снегом, горностаи, прыгают и притаиваются под берегами, пережидая опасность, белки. Надежное и дразнящее преследователей убежище — видит око, да зуб неймет!

Сажусь на корточки на самом дне. Сквозняки подледья приносят нежное стокатто вертящихся льдинок и снега. Иногда все замирает, будто подчиняясь невидимому дирижеру, — пауза. Потом снова тонкое пение...

Трудно воде зимой — холод сверху, с боков, под тоненькой подстилкой гравия и песка — вечная мерзлота. В оскудевших речках вода подо льдом стоит в углублениях дна, в бочагах,

долго не промерзает под наметами снега. Там, где подстилка метров десять-двадцать, вода сочится в ней всю зиму.

Есть речки-богачки. Эти круглый год, как ясак, будто по наследственному праву высокого происхождения, собирают воду из мощных притоков, что лежат за пределами Страны мерзлоты, или получают ее из-под мерзлоты по таликам.

У каждой капли воды своя судьба, как и у каждого дерева, камня и человека.

Путешествие по бедам

Покинутые города пустынь видятся мне как нечто среднее между миражем и реальностью. Они медленно разрушаются и заносятся песками. Но все дома таких городов служили людям, и когда-то они имели настоящее, а потом стали иметь и прошлое. А вот здесь, куда я приехала сейчас, почти рядом с большой железнодорожной станцией стоят дома без прошлого, настоящего и будущего. Они не служили человеку и никогда не будут ему служить. Реальность и почти мираж.

Большое здание насосной станции с огромными сверкающими окнами, котельная с черными глыбами котлов, стройная водонапорная башня, по-девичьи веселенькая, с яркой крышей, водоразборные колонки на перекрестках улиц — все новое и все брошено. Из-за самой маленькой, едва приметной точки, затерянной в тайге, — колодца на источнике.

Инженер по водоснабжению Пахомов, молодой, светловолосый, очень близорукий, остро переживает неприятности. Он меня и привез на эту горемычную станцию.

— Ближняя станция железной дороги, что стояла на реке, — говорит он, — зимой оставалась без воды. Здесь нашли незамерзающий источник, выстроили все сооружения, а как сделали колодец, воды не стало...

Все станции железной дороги в начале столетия, когда вели здесь первые пути, как и в России, ставили на реках. А оказалось, что реки промерзают. В годы зимнего безводья, чтобы сохранить в реках остатки воды, люди мудрствовали по-разному: утепляли лед реки снегом, навозом, вдували под лед воздух. В тридцатых годах, когда начали прокладывать вторые пути магистрали, станции старались возводить уже не на реках, а вблизи незамерзающих источников глубинных подземных вод. Но, узнав по горькому опыту одну особенность Страны мерзлоты, другую еще не постигли — как можно и нужно строить на

таких источниках. Видно, необходимо было пройти еще и через эту беду.

Пахомов говорит огорченно:

— Фундаменты под мосты возводим проморозкой: промораживаем насыщенный водой верхний слой грунта, снимаем его, снова промораживаем, опять снимаем, пока не дойдем до нужной глубины. Так же стали опускать и колодец. А источник от такого дела и промерз...

Источник свернул на подземном пути своем туда, где теплее. Слабеющим глубинным струям труднее всего у поверхности земли, где силен мороз. Человеку надо встретить эти струи теплом, а он помогает морозу убивать их.

В безжизненных зданиях все приготовлено, чтобы встретить дорогую гостью — воду. Выгибают гордые шеи напорные трубы насосной, красными и синими цветами мелькают манометры и водомеры. Кажется, стоит взмахнуть волшебной палочкой — и все оживет, завертится, и польется живая струя. Но она никогда не появится...

Пахомов повез меня дальше на станцию старой постройки. Под руслом реки галерея. Построена правильно, но текущая по галерее вода протаяла мерзлый грунт в ее основании.

— И как начала шпарить низом, — говорит Пахомов, почти страдальчески сжимая губы, — а в галерее пусто.

Мерзлота была здесь водоупором, пока не протаяла, а потом стала водоносной породой. Такое превращение бывает только в Стране мерзлоты.

К вечеру на рыжей лошадке в старом тарантасе мы приехали к горному источнику. Сентябрь был тих и ярок. Колодец на источнике построен несколько лет назад. Вокруг утрамбована глина, чтобы не упустить воду. Но промерзшая зимой глина стала пучиться, потащила за собой вверх колодец, и сейчас он похож на вылезшую из земли громадную, взъерошенную курицу с бревенчатыми перьями. Источник промерз, воды не стало.

Еще на нашем пути был маленький родничок в тайге. Выбывался он среди развала темно-красных гранитов, в окружении оранжевых лиственниц. На родничке колодец. Рядом сарай для дров. Кто бы подумал — сарай прикрыл собой от мороза талый грунт, колодец же на источнике не обогревался, и в сарае зимой на поленище дров появились голубые ледопады. Сарай развалило, залило доверху наледь, а колодец стал пустым — вода ушла по таличку в сарай.

Пахомов вздыхает:

— Вот тут и поняли, что можно делать рядом с источником, а что нельзя.

Нельзя ни рыть, ни строить: одно — проморозит, другое — отоплит. Особая нужна у источников мерзлотная охранная зона.

Вниз по склону круто спускается редкая, без подлеска тайга. Гранитные глыбы во мхах. Сказочное место, а стало «усыпальницей» для живой воды.

На следующий день мы подошли к небольшой речушке в плоских песчаных берегах.

— Смотрите, глазам не поверите. Как, по-вашему, что это?

Поперек реки из воды торчит шербатый забор. Кто бы догадался, что это со дна реки выперло морозным пучением шпунт? Тот самый, что забивают в днище у галереи, чтобы в нее попало больше воды. Слишком мелко заложили шпунт, грунт русла промерз, потащил шпунт наверх. Вроде бы мерзлота, никого не спросив, приподняла затвор в плотине, чтобы спустить воду!

— А еще было такое, — Пахомов щурит глаза, пытаясь рассмотреть сидящую на шпунте галку. — Старая подземная галерея на реке стала давать мало воды. Выше нее по течению реки, зимой, со льда заложили в русле другую, чтобы воды было больше...

— И ни в той, ни в другой воды не стало...

— Угадали!

— Галерею, как и колодцы, очевидно, опускали в русло методом проморозки, да? Новая галерея сыграла для старой роль «мерзлотного пояса»...

«Мерзлотный пояс», хотя вроде и обычная канава, может спасти или «убить» дело рук человека. Важно, как канаву проложить. Канава роется поперек подземного потока воды, промерзает, доверху забивается льдом, получается подземная и наземная ледяная плотина: выше «пояса» по земле разливается наледь. «Мерзлотным поясом» наледь можно оттащить выше по склону от моста, от жилых домов, а заложив его ниже колодца, предотвратить утечку из него воды.

Веселая братия таежных исследователей проходит в тайге множество шурфов — ищут железо, уголь, воду. Ведут геологическую съемку. Шурфы потом не засыпают. Для геологов это неважно, но гидрогеологи должны шурфы засыпать землей, иначе зимой подземный поток найдет себе другой выход. Окончив работу, они обычно рапортуют: задание выполнили, проектируйте, стройте, воды много... Но воды не будет. Теплое сердце земли открыли морозу, и оно остановилось.

— Вот какие сюрпризы преподносит ваша вечная мерзлота, — говорит прощаясь Пахомов.

— Скорее это ваша или, вернее, наши они — и вода, и холод. Что поделаешь, сами видите: и саму мерзлоту, и пучение, и все

прочие «художества» — все в Стране мерзлоты создают два этих великих творца.

В природе все целесообразно и логично. Это не ново и все это знают. Так почему говорят: «Надо бороться с мерзлотой, побеждать ее, покорять?» Это противоестественно. Еще говорят: «Мерзлоту научились излечивать»... Это еще хуже. Мерзлота не болезнь, мерзлоту надо понимать, жить с ней в мире и согласии. Природа всегда здорова.

На этом кончились мои воспоминания. Мы подъезжали.



Будки-города

И вот она, эта станция Большой Невер, сейчас в зелени раннего лета, совсем непохожая на ту, давнюю, заснеженную, пропускавшую в купе моих героев в медвежьих шубах. И по тому заветному тракту я направляюсь в г. Алдан, где почти рядом — база экспедиции. На присланном за мной газике, в который пригласила я Локшина, размениваем мы километры: Локшин — на воспоминания, я — на новые встречи и планы. И еще на узнавание — сверяю с картой видимое.

Машина, как червяк землю, глотает Дорогу и оставляет ее позади. Серая дорожка разворачивается по таежному безлюдью. Длинные петли-серпантины, спуски в низины, где в затишье, пригревшись на солнцепеке, зацветает шиповник, а на мостиках от голубых, в клокочущей пене речек бьет на секунды ледяным подземельем. Там буксуем на нарастающих еще наледях. Оттуда вымахиваем наверх на бесконечные водораздельные пространства, к светлому, ничем не скрываемому горизонту. Слева и справа от Дороги видны истоки речек, что текут в Алдан, а на карте это всего лишь коротенькие штрихи.

Человеку всегда кажется, что настоящее в жизни не рядом, не в низинах, куда он попадает, даже не на водоразделах, что он одолевает, а где-то впереди, за чертой горизонта. Может, поэтому тянет его туда и так любит он быстроту поглощения пространства — на суше, на море, в воздухе.

Лиственничная тайга встречает нас смелой свежестью, отгоняя бензинное дыхание машины. Тайга так пушисто-юна в начале лета, так чиста и так ликующе утверждает в своем новом существовании, что появляется к ней проникновенная и благодарная нежность.

За Становым хребтом порог Якутии. Он уже в пределах Алданского щита, по существу его южная часть, раздробленная и высоко поднятая. Красная краска на геологической карте чуть-чуть темнеет — граниты вокруг древнее — это уже архей.

Будки Пролетарка, Беркакит... Ну где еще на карту нанесут не города, не поселки, а будки! Одинокие, бесстрашные домики обходчиков. Но когда-то вырастут из них и города...

Перед будкой Пролетаркой вкатываемся на ворчащей, повзрывающей машине на юрские песчаники.

Всегда, когда приходилось мне бывать на речных или морских берегах и восхищаться удивительной красоты окатанными камешками, наибольшее предпочтение свое отдавала я простым пескам. Сколько путей прошли они, сколько претерпели и сколько видели!

Представить себе только путь одной маленькой песчинки — крохотной частички Земли, когда-то включенной в плотную массу гранитного или базальтового монолита, потом попавшей в отколовшуюся и разбитую трещинами глыбу, затем оставшейся в обломке, в щебенке, потом в тесной близости с несколькими такими же зернышками и наконец ставшей одинокой... И каждую песчинку отдельно обласкивала и ополаскивала волна. Здесь это были речные волны. Сколько столетий одиночества прошло у каждой и сколько будет впереди?

Но вода, вечная радетельница нескончаемого движения — разрушения и созидания, несла и несла их, и вот здесь с ее помощью нашли они приют, собрались вместе на миллионы лет, и оказалось, что стали снова началом начал, сложили новую судьбу иной породы — песчанников. В природе так: разрушение одного — начало другого...

Спустя годы, когда разведка геологов уже точно выяснит, как именно на Алданском нагорье залегают породы, геолог Ухов, любитель побалагурить, так расскажет мне об этом:

— Колыбельку ребеночку бог создал — впадину то есть в этих гранитах? Создал. Уложил в нее ребеночка — песчаники то есть? Уложил. Правда, не ахти как старик уложил, чуть не стоя — впадина-то к югу глубже! И пеленочку беленькую — известняки то есть — ребеночку подстелил? Подстелил, да только до половины колыбелечки, только к северу, где головочка. Помужски делал, неумело, пеленочка у головки наружу вылезла из колыбелечки, а на ножки-то и не хватило. Да... Не мужское это дело. Мамамы у него, как известно, не было, все самому приходилось делать, разрывался старик.

Глядел Ухов серьезно, вытянув губы, голова чуть набок, помаргивал ресницами...

Потом пошли известняки. Несемся сейчас по этим «пеленочкам» — известнякам. На них мочажин и болот нет, вода фильтруется в глубину по таликам, по карсту — в чульманский артезианский бассейн.

Полосу известняков проскочили быстро, снова выбрались на гранитный «берег». За хребтом Западные Янги — царство железа, недалеко в сторону месторождения Таежное, Сивагли, Пионерское. В сторону и дорога к черной слюде — руднику Флогитовому.



Чульман, Чульман

Провожавшие меня в Москве друзья четко делились на два лагеря. Одни считали, что еду я на прогулку. Это те, для кого Алдан — река с пароходами, оживленными пристанями и какими-нибудь древними деревянными церквями. «Покатаешься, подзагорнешь»... Другие, наоборот, путешествие рисовали картиной мрачной и неясной, в манере современных абстракционистов — все черно, хаос, высветлены загадочные и пугающие детали — белая рука, смятая рубашка, белый череп с цепями... То ли убили, то ли убьют.

— Пропадешь. Съедят тигры.
— Да нет. Тигры в Уссурийском крае.
— Все равно. Неужели не нашлось там мужиков, зачем отправлять бог знает куда слабую женщину?

Друг детства Аркадий Животовский, инженер и музыкант, дирижерски-успокаивающе, ритмично рубит руками воздух, как бы сдерживая оркестр:

— Не слушай никого. Все будет в порядке. Жаль только одного — везде будешь ты как Робинзон. Без друзей, без дружеской руки. Поменьше тебе плохих неожиданностей!

Аркадий невысок, светел волосом, всегда спокоен, оптимистичен, ходит быстро и широко. Любитель леса без ружья и даже без фотоаппарата. В лес идет — слушать.

— Держись, Робин, — окрещивает он меня новым именем, — а главное — избери себе лад и тональность, в них и живи, веселей станет. Не разлагающий минор — с ним пропадешь в тайге и не бездумный мажор — от него умные люди шарахаются, а собаки дохнут, не на чем ездить будет. Ах, там не на собаках?

Опять лошади? Не знаешь. Может, яки? Плоты? Да, Пятниц выбирай осторожно, район-то золотой и с прошлым.

В Москве никто не знал, где здесь искать воду. «Какие-то мощные источники будто бы есть в районе Чульмана, о них плетут небылицы — проверьте», — говорили мне. «Постарайтесь найти такие, чтобы воды давали не меньше кубометра в секунду». Это очень много для вечной мерзлоты. Это же не летом, а зимой, когда все промерзает, надо найти кубометр живой воды в секунду! Не просто поездка — серьезная разведка.

И вот я в Чульмане. И все конкретно — нужны рабочие, снаряжение, транспорт. Разузнать, где какие источники. Свободных людей нет. Недалеко небольшие угольные шахты, к северо-востоку и западу от Чульмана работают экспедиции. Все, кто хотел работать, ушли с ними. Для меня если и остались, то, видимо, те, кто работать не хотел, или случайные люди. А мне бы энтузиастов — горячих, смелых, любознательных. Об осторожном выборе Пятниц думать не приходится, найти бы каких-нибудь.

Чульман — маленький поселок, кругом тайга, неширокая долина речки Чульман, за мостом с высоты своих миллионов лет смотрит обрывистая стена песчаников. Поселок продувается всеми таежными запахами.

Тональность жизни я не выбрала — гремит радио, как сотня бомбардировщиков во время массированного налета. Черные тарелки репродукторов угрожающе торчат в банке, магазине, столовой, на телеграфных столбах и даже на отступивших в тайгу лиственницах. Звучат арии, хоры, новости, доклады, джазы, сказки.

Это позже выяснили, что обезьяны, например, подымают от шума через пять часов. Девушки в сберкассе внимания на клиентов не обращают — радио повесили законно, и все равно, пока пение не кончится, не услышишь, чего человек хочет.

Хозяйка моей комнаты — высокая, сухощавая старуха, тихая и добрая, с темным ликом всепрощающей матери, в широкой юбке в сборку. Хозяин Терентьевны где-то на заработках.

— Все можно, родименьки, делай чего хочешь, — говорит она, — все бери, что надо.

В кухне на проходе топчется на задних ногах нахальная молодая коза — глаза янтарные, разумные, человечьи. Терентьевна говорит доверительно:

— Така родилась, милая, токочет на двух и с дому не идет, маячит и маячит...

О том, чтобы вывести козу, и речи нет.

Транспорт оказался оленный. Олени — это детство, засыпан-

ная снегами Лапландия, мерцающие завесы полярного сияния и мальчик с ледяным сердцем. А они вот здесь, в Южной Якутии, хотя морозы тут сильнее, чем в Лапландии.

Центр жизни Чульмана — круглосуточно работающая чайная. В чайной всегда тесно. Обедают шоферы и кабинные их пассажиры, поэтому чайная еще и почти вокзал. Едут на прииски, на месторождения, в экспедиции на Лену, в Верхоянье и обратно, как и в прежние времена.

Еще чайная — это клуб местного населения. Якуты, эвенки из оленеводческих колхозов, здешние и из Золотинки, с Хатыми приезжают в магазин. Как миновать чайную? Не в счет прискочившие из Чульмакана «угольщики» — двадцать километров не расстояние.

Около чайной, как на базаре, — машины, олени под седлами и с вьюками, народ приехавший, ожидающий, собаки, ребята. Для ребят это лучшее место игры — теребят остолбеневших баб, едущих к мужьям. Бабы закутаны в платки. Ребята дергают их за локти, прячутся. Бабы хватаются за сердце.

Чульман — моя база.



Мои будущие Пятницы

Ищу Пятниц. Продавец из магазина говорит: — Э, все при деле. Разве что Рыжий Яшка. Однако статья у него была, года три что ли. Как бы чего не вышло. К бабе в дом вошел.

— Ну, год прошел, баба-то жива, слава богу. Не работает он?

— Э, нет. Пьет.

В тайге пить нечего. Но одного мало. Кто еще?

— Спросите Ивана Чуркина на почте. Брат из больницы вышел. Мужик ничего, в столовой повару помогал.

Чуркин Николай Андреевич пришел вечером. Худенький, невысокий, по виду городской служащий, русский, тонконосый. Лицо то простодушное, то хитроватое. Посмотрел на нивелир и рейки, что стояли в углу, улыбнулся:

— Это я все знаю. Все могу, работал.

Радостно изумляюсь.

— И мерзлоту знаю. Всю как есть.

Радость гаснет.

— А как поваром?

— И поваром могу. Я все могу. Мы в экспедиции... я с нивелиром...

Дом Рыжего без крыльца. Нет желания к оседлости или примак ленив? Сени заставлены старыми ящиками, завешаны пыльными тряпками, вхожу как в пещеру с летучими мышами. Открываю дверь и спотыкаюсь о ноги человека. Человек сидит на полу развалившись, прислонясь к перегородке кухоньки. Рыжие волосы стоят вверх по перегородке. Курносое лицо кажется добродушным. Входит женщина и, узнав что надо, пожимает плечами.

— Смотрите сами. Работать не хочет. Каждый день пьян.

— Я не пьян,— ухмыляется Рыжий.

О моем приходе он явно знал, ожидал — не такое тут место, чтобы таилось что-то больше двух дней. На мое предложение идти в тайгу насмешливо бормочет:

— Там чайной нету.

— Заработаете.

— Пропью.

Женщина уходит, мы молчим, потом все повторяется много раз, почти в тех же фразах. И вдруг я вижу, что Рыжему наш разговор нравится. Веснушки его расплываются в хитро-довольной улыбке — моя зависимость и безысходность ему ясны. В глазах появляется: «Эх, куда ни шло!» Тем же голосом самодура, водя по стене головой, он объявляет:

— А чо возьму и пойду, ха! Чо не пойти? Я сам себе хозяин.

Двух «проходимцев» привела мне прямо с Дороги Терентьевна и так всерьез мне их и представила: едут после освобождения, понстратились, деньги нужны, ан их и нету... Наняла их и еще двоих. Да пришел Вася-якут из колхоза.

Постепенно все наладилось. Съездили на базу экспедиции, привезли инструменты, снаряжение, посуду, кое-что из продуктов, остальное пришлось выискывать. Сняла еще комнату. Жители стали называть нас «экспедиция», хотя мы только один из отрядов той большой экспедиции.

Еще мне передали двух студентов-практикантов — будут работать лаборантами. Обо всем, что нужно делать, Дима и Женя представление имели смутное. Но вместе со мной это мозг отряда.

Дима — черненький, юркий, коротко остриженный, непоседливый, предприимчивый до суетливости. Предложения его чаще ненужны, но на все откликается с охотой. Женя — существо высокое и вялое, с розовым лицом в прыщах, с огромными ногами. Сапоги для него обещали выписать из Якутска.

— Установите нивелир,— решила я как-то проверить Николая Андреевича. Андрейч уверенно нажимал поочередно на каждую ногу треноги, хватался за трубу, на уровень не смотрел.

— А дальше что?

— Пусть он пойдет с рейкой,— кивает на Диму.

Дима идет с рейкой, умышленно ставит ее обычно, прямо. Андрейч возится с трубой, вертит ее, сбивает треногу, снова смотрит в окуляр.

— Неисправный, собака,— возмущается он.— Трубу чинить надо. Все вверх ногами показывает.

Ребята смеются. Не испробовали мы только старую шутку, не попросили протереть оптическую ось.

Андрейч нисколько не смутился.

— Забыл малость, но я все это знаю. И мерзлоту всю как есть.

Но человек он, видно, честный и в какой-то мере может стать мне опорой. Будет завхозом и поваром.

Все «работяги» обрядились в казенные кирзовые сапоги, телогрейки и плащи, стали выглядеть вполне прилично. Собранно и по-деловому. Ничего нет хуже в отряде начальной неразберихи и безделья. Поэтому рабочих я определила проходить шурфы, а лаборантов — осваивать гидрометрические вертушки — почти главный наш инструмент. Ими мы будем узнавать тайны рек и ручьев — сколько они имеют своих «кровных», принесенных с глубины вод. По утрам на крыльце уже слышно веселое зубоскальство и подначки. Рыжий — в прекрасной форме. Жизнь утверждается.



Лодка

Расспрашиваю всех об источниках. Где, какие, сколько воды?

— Поселок здесь сквозь русский,— говорит Терентьевна.— В тайгу, за зверем, за рыбой ходят больше якуты. О воде они одни знают, боле никто.

Обедаю в чайной долго, чай пью по четыре раза в день, смотрю, слушаю. Эвенки и якуты сидят за столиками плотно, семьями, с ребятами, родственниками, друзьями. Кто-то из них знает что-то об источниках, кто ничего не знает, третьи путают и сбиваются.

— У-юй, вода снаешь скоко? Телий река с берег пиливет, понимай коросо? Телий река.

Главные источники на берегу реки Тимитон, там-то и плывет вода с берега. Может, источники и в самой реке? Тогда надо исследовать реку; значит, нужна лодка. Надежная, чтобы держала

в паводок на самом краю двоих парней с вертушкой. Двое будут на веслах, один на якоре. Значит, еще нужен якорь.

Жители смеются:

— Кто даст вам лодку? Ее там бросать надо, вверх по порогам обратно не потянешь. И не продадут — нам без лодок остаться нельзя. Как-то паводок был на Чульмане, затопил поселок. Барахлишко и людей спасали на лодках. Да мы ништо, один спасатель был, дай бог здоровья, — Тимофей Силыч, в летах, а крепенек и сноровист, с водой обращаться умеет. Мужиков в силе полно, а чтобы с лодкой в бурю совладать, так этого нет.

— А заказать лодку? — спрашиваю я.

— Разве что. Только умельцы уехали все. Может, в Чульмане, або кто в Кирпичном остался.

И вот с верхней террасы реки Чульман вижу наконец прекрасное зрелище — строят лодку, крепкую, с килем, широкой кормой, строят не шарлатаны, а мастера-умельцы (попробуй найди их!), из сухих досок (попробуй достань!), строят быстро (попробуй уговори!), не отвлекаются каждый час на чайную (попробуй убеди!). Сама не верю, но факт. Еще нужен якорь. Где его взять? Придется заказывать — ковать.

— Эва, — говорят рыбаки. — Ковать некому. Кузня у геологов только. Геологи-угольщики — в двадцати километрах. У них там жилые дома, мастерские, лаборатории и кузня. Делать они нам ничего не обязаны. Надо просить.

Известно, что главный человек не начальник, а исполнитель, кузнец. Ему сто разрешений принеси, не захочет — ничего не сделает, найдет сто причин, и начальство будет бессильно. Захочет — сделает и без разрешения. Знаю, но привычка к дисциплине сильна, и я получаю разрешение.

Как обычно люди в подобных случаях заказывают что надо у мастеров? Великие специалисты — мужчины. Откупоривают бутылку, выясняют, откуда кто и зачем пришел, приехал, как вообще жизнь, и все улаживается: дают гвозди, патроны, меняют собак, арендуют лодки.

А как должна подходить к таким делам женщина? И как она это делает? Каждая, очевидно, по-своему. Давно уже знаю, что все мастера — плотники, слесари, боцманы на судах, бригадиры — приходящих к ним с просьбами женщин делят на две категории: «дамочек» и «недамочек», или «смекающих». «Дамочкам» можно городить чепуху, отчего стоимость просимого увеличивается во много раз, срок исполнения возрастает во столько же, хотя работы там на пятнадцать минут. Им берутся делать охотно, но не торопятся. Зубоскалят вволю.

«Недамочки» в деле понимают, но некоторые из них любят

вроде бы щелкнуть мастера по носу — не хуже вас, мол, все понимаем, ваше дело маленькое, делайте что надо, как говорят. Добродушно-заинтересованное внимание сразу с мастеров слетает. Это покушение на тайны ремесла, низведение их на роль простых исполнителей и даже укол по чисто мужскому самолюбию. С ироничной улыбкой, переглядываясь, объясняют — сделать так совершенно невозможно. Слов накидают работяцких, непонятных ей, и, чем больше возмущается она в своей правоте, тем больше будут они доказывать, что говорит она несусветный вздор.

Другие «смекающие» дамочки показывают свои знания в меру. Отдают должное мастерам. Этим сделают все без фокусов. В какой-то степени я прошла все это.

На разрешение мое кузнецы посмотрели равнодушно — дел невпроворот, начальство само план дает, с материалами плохо, ковать не из чего. Но сказано было таким голосом, после которого только дурак уйдет. Я поняла: если возьмутся, сделают на славу, потому что мастера они истинные, хваткие до работы, любители своего дела.

Разговариваю с мастерами, вроде отдыхаю, да и в самом деле хоть на краткий срок присела. С ними интересно — похоже — им тоже. С третьего захода-разговора мы почти друзья, якорь ковать будут, относятся к моему делу с профессиональным интересом — работа не рядовая. И так мы все потом спорили и кричали: и какая сила воды будет срывать лодку на стрежне, и сколько лап давать якорю, что не один человек сворачивал с дороги в кузню выяснить, кого бьют и чья живая судьба решается. А в общем-то судьбы, конечно, решались — Тимптон в паводок, наверное, не шутит. На якоре будут четыре лапы, вот так. И цепь.



Мне бы с ним в тайгу

Силыч таким и оказался, каким я его представляла — надежным, крепким, широкоплечим, с глубокими морщинами, большими руками. В сапогах и шапке.

Вопрос, что виделся простым, обернулся трудным — лодку надо сплавлять на Тимптон, к месту наших работ. Думала — сядут в нее двое рабочих, рады-радешеньки, что сами себе хозяева, возьмут харчишки на несколько дней, может, снасть рыболовную, поплывут играючи вниз по Чульману и Тимптону. Даже

мысль была: не уплывут ли с лодкой совсем, так что не сыщешь?

От сплава лодки все отказались. Каждый говорил:

— Мне жизнь еще сгодится. Пусть кто другой сплавляет. Знаете, что за река? Она тут тихая, а ниже — черт.

Рыжему я предлагать боялась — возьмет спирта, перевернет напарника спьяну — плыть-то надо вдвоем. Обратилась к нему к последнему, но он тоже отказался:

— Я его знаю, этого Чульмана. Он тут чего в большую воду наворотил, слышали верно. Лодки переворачиваются, плоты разбиваются, при мне это было. Я работать нанимался, а не поминать.

В поселке тоже никого не нашла.

— Да пойдите к Тимофею Силычу, — сказал кто-то. — К тому, что спал-то всех в паводок. Один человек для этого дела и гожд.

Работал Силыч лесником. Дом лесничества слева от дороги. Я ждала его на лавочке у запертой на висячий замок двери. Узнала сразу — истинно лесной человек, на ноги легок. Борода с сединой, из молодых — старый, из стариков — самый молодой. Из тех, которым с годами сносу нет.

Моему делу Силыч пошел навстречу с огромной охотой и удовольствием. Разговаривая, смотрел внимательно — и на меня и вокруг и вздыхал тоже с удовольствием. Похоже, любил жизнь — и каждый шаг в ней, и каждое слово. Я сказала, что знаю, как спасал он людей и имущество в наводнение. Он засмеялся.

— Что делать? Люди в беде — как дети. А где много воды, жди беды, знаешь? Огонь — беда и вода — беда. А без огня и воды — хуже беды. Потому я от нее и не бегу — от воды.

Потом сказал со вкусом, не отрывая от меня глаз и вслушиваясь в то, о чем говорил.

— Лодка скоро готова — это хорошо. И якорь, говоришь, сготовят? Хорошо.

Конечно, он хочет плыть на лодке и, ясное дело, поплывет. Я воспрянула духом.

— Люблю реку в крутую воду. Схватиться с ней одна отрада. А в тишину спокойная она, как баба, когда уморится. Реку Тимптон в половодье мерять — работа просто славная. Вместе поплывем.

— Нет, нет, — говорю я ошарашенно. — Я пойду с оленями!

— Не-е-ет, нет! — щурится Силыч. — Вместе поплывем. Иначе не согласен. На всю жисть запомнишь. Ружьишко всегда при мне, уток постреляем, на костерке сготовим. Места знатные,

красота места. Сколь годов я из России вышел — так и остался, натешиться не могу.

— Мне нельзя оставить без себя рабочих, имущество, олений. На перевалах маршрут надо провести.

Он пренебрежительно машет рукой. Подумаешь — маршрут.

— Только с тобой поплыву, не иначе. Покажу тебе тайгу как надо. С другим сто годов будешь ходить и не увидишь и не услышишь того, что со мной.

Ну что делать? Оставить маршрут на обратный путь? А если обратно пойдем иначе? Сплав по реке меня не манит. Говорю ему, что слышала о реке — беспокойная она.

Силыч изумляется необычайно:

— Да ты што? Да ты со мной ничего не бойсь! Ты не слухай, шо тебе бабы брешут. И мужики то ж? Те мужики хуже баб. Что за езда — олени. Поплывем в лодке — и баста. Те олени тебе только шишек рогами накладывают на голове, а тут будешь плыть как персидская княжна...

Силыч хмурит выгоревшие брови, веточками свисающие над запрятанными глубоко, в самую душу, глазами, протягивает вперед мощные руки, сжимает кулаки. Кончиками черных пальцев, потрескавшихся от воды, костров и земли, он все сильнее дергает за край моей застиранной ковбойки и, разгораясь, кричит:

— Дорогуша, да не бойсь ты со мной ничего. Со мной-то! Ты шо? Я ж тебя из воды завсегда вытащу! Ты только волосья пошире распуши, и я тебя вытащу. Сколь я на своем веку утопленников повываскивал — счету нету! И-и-и!

Но я не соглашаюсь. Спор и взаимные уговоры продолжают. Такой сильный, самостоятельный человек. Его-то мне и не хватало! На Тимптоне я за ним буду как за каменной стеной.

Силыч упрямится. Мы оба охрипли, когда он наконец согласился. Рабочего в компанию брать не захотел. Один поплывет. Уже прощаясь, вдруг сказал:

— Да, забыл я. Вот еще как начальство мое скажет. Известно. Отпустит аль нет.

— Как это?

— А так. Начальство у меня есть. Ндравное. Колоброд в голове у начальства бывает, вот шо. Может не отпустить.

— Я поговорю.

— Я сам поговорю. У тебя так наверняка не выйдет. Завтра приходи сюда в это время.

Назавтра, когда я пришла к домику лесничества, на двери по-прежнему висел замок, а на скамейке, ожидая Силыча, сидела какая-то бабежа со вздернутым носом. В кирзовых сапогах и грубошерстной юбке. Ожидая его, мы перебрали с ней все по-

селковые новости: что привезли в магазин, где повесили новые тарелки — радио, кто приехал. Она сказала, что моих рабочих видела и знает, которые скоро от меня уйдут. Я пожаловалась, что начальство у Силыча, говорят, своевольное, может не отпустить его со мной, вот беда будет.

Она равнодушно передернула плечами:

— Мало чего тебе беда. Ясное дело — не пушу. Он уж про-
сился. Он мне здесь самой нужен. Приедут люди из правления, он вести их в тайгу должен, пожарные просеки показывать. Я что ль поведу?

Значит, я попала прямо на «начальство»! Я поняла, что никакой необходимости оставаться Силычу здесь не было, но хотелось бабе показать передо мной свою власть над сильным мужчиной. Я все же дождалась Силыча, но он развел руками, воскликнув, однако, с прежним воодушевлением и полной искренностью:

— Я бы с тобой куды хощь, мы бы с тобой делов там наворожали — представить невозможно, все сделали бы как следует. Ну не хочёт вот, не хочет, говорит, люди приедут и вести их надо...

И хотя глаза и фигура Силыча четко говорили, что все слова начальства чисто «идравные», никакого огорчения он не проявил и явно его не испытывал.



Будем сниматься в кино

Неожиданно передо мной предстал Рыжий и, ухмыляясь, заявил:

- Поеду в лодке. С Василием вон вдвоем.
- Вы же боялись.
- Чего там. Вода низкая, погода хорошая.

Сплав лодки я оформила по договору за большую сумму. В шальных глазах Рыжего Якова над вздернутым носом стояло прежнее: «Захочу и сделаю. Я чо, себе не хозяин? Говорят — пьяница, бездельник, никудышный — все потому, чо так хочу. А вот гляди — работаю. Захочу по Чульману — пойду. Подумаешь, Силыч...»

Мы проводили их за день до выхода на Тимптон. Вместительная лодка с аккуратно уложенным имуществом, с якорем

на носу выглядела уютно. У Якова за спиной охотничье ружье. Яков и ружье...

Лица у сплавщиков веселые и довольные. В лодке я увидела небольшую собаку. Яков смущенно объяснил:

— Без собаки в тайге — нельзя, — и посмотрел исподлобья, ожидая возражений — хотя и небольшой, но нахлебник в тайге. По разве можно возражать против собаки?

Они поплыли вниз мимо электростанции, потом их вынесло на стрежень, подхватило быстрым течением и скоро заслонило выступом скалы.

Руководство экспедиции неожиданно известило, что наш выход с оленями в тайгу придет снимать московская киностудия. Сейчас группа живет в Орочене. Там решили, что наиболее интересно заснять именно женщину-начальника, идущую в тайгу, да еще верхом на оленях. Что ж, сниматься так сниматься!

Выход на Тимптон я назначила на день приезда киностудии, в десять часов утра. Киногруппа должна была появиться в девять. Но в удачу я не верила. Когда-то встретился мне в горной алтайской тайге кинорежиссер Владимир Адольфович Шнейдеров. Соблазнившись моим плаванием под водопадами на Телецком озере и скачкой на резвых лошадях, предложил сниматься и его картине вместо героини — спокойной блондинки с привыкшей к белому календарю. Ни плавать, ни скакать блондинка не умела, а это было нужно. Но я только что перешла на второй курс, и из-за съемки надо было пропустить два месяца. Уговоры вроде «мы дадим телеграмму» меня не убедили. А вдруг бы повернулась тогда моя судьба иначе?

Не суждено мне было и теперь сыграть саму себя. В день выхода на рассвете пригнали оленей. Олени толпились за домом, на окраине поселка, и казалось, вырос там по волшебству густой и шевелящийся на ветру бархатистый кустарник. При малейшем приближении кустарник разлетался в стороны — олени были дикие. Милые серые морды, чуткие уши, черные тревожные глаза. Пригнали их по Дороге из Золотинки.

Есть оленям в поселке нечего, ягеля близко, я знала, нет, а олени и так, видимо, не сыты — гнали их торопливо, опаздывая, скорее всего не кормили, надеясь на выход в тайгу. Местный наш проводник, Семен, очень хотел сниматься в кино. Он известил родичей, живущих по таежным балаганам и колхозам. Все они явились на рассвете верхом на оленях, с детьми, в сопровождении собак.

Женщины разрядились, по их мнению, наилучшим образом — в ситцевые платья из райторга и большие резиновые сапоги

(малых размеров в магазин не завозили). Мужчин приехало мало, они не наряжались, держались как наблюдатели. Оленеводы, подпоясанные узкими сыромятными ремешками, в легких унтах, походили, как и полагается, на людей таяжных и оленных.

Родичи сидели на завалинках домов, на крыльце, на земле на корточках, с нетерпением ожидая киногруппу. Детишки неутомимо бегали, собаки-гости сводили старые и новые счета с поселковыми врагами. Шум стоял страшный.

К девяти часам киногруппы не было. К десяти тоже. Автоматистраль не таяжная тропа, где возможны всякие неожиданности. Могли бы прислать телеграмму, но, наверное, привыкли, что их всегда беспрекословно ждут.

Семен взволнованно суетился:

— Олень мыноко мозит не кусай, совсем мыноко... Ждать надо, скоро придут.

Окружив Семена, родичи горячо и шумно что-то ему втолковывали, показывали на меня и возмущались. Считали, съёмка — главное дело, а я совершаю нечто противозаконное. Нет, я не могла отложить выход: олени будут обречены на голодание.

— Тавай я гоняй олень далеко на нось, — кричал отчаявшийся Семен. — Сиди там, корми олень, снова гоняй поселок сафтра...

А если и завтра киногруппа не приедет? Они могли известить о задержке. И каково это — целое стадо гнать неизвестно куда! При таком желании сниматься Семен, не найдя корма, может вернуть оленей голодными. А им поклажу тащить тяжелую. Олешки небольшие, слабосильные, положенные двадцать пять килограммов и то неизвестно, потянут ли.

Пришли на проводы и жители ближайших улиц — женщины с ребятами, старики, за ними увязались, вертя хвостами, собаки.

Олени пугливо шарахались, и в темных глубинах их глаз загоралась дикая боязнь. Я уже не могла разобрать, где наши олени, где гостей. Проводники кричали друг другу по-якутски и по-русски, но оленей не путали — для них каждый имел свое «лицо».

В половине второго мы вышли на Тимптон.

Каждый идущий к цели — счастливый человек. Старт — великое дело.

Киногруппа приехала через два дня.



Над горизонтом

Идем водораздельными плато, чистейшими верховыми болотами, на виду всего окоёма, ничем не затемненного, не стиснутого горами. Ущелья уходят вниз, в густоту таяжных дебрей. Прозрачные ручьи, не задерживаясь, будто зная, куда им надо, несутся сквозь болота.

Попадали мы и в тихий покой почти стоячих вод, и в сплошные мшарники с окнами воды, с твердым и чистым песчаным дном или с черным от слежалых пластов торфа. Вода кристально чиста, и, когда пьешь ее, она обдает тонким ароматом настоя. Олени шагают мимо окон воды или через окна, заранее чувствуя, где зыбко, а где прочно.

Верховые болота, как громадная губка собирая и впитывая воду, постепенно как бы сцеживают ее и отдают долинам, логам, каменным россыпям, питают временные, летние родники. Кое-где отепляя трещины, вода просачивается и в глубь мерзлого массива.

Кто ездил верхом на олене, тот знает: кажется, что сидишь ты на маленьком вулканчике, который на каждом шагу колыхнется из стороны в сторону, вздымается, собираясь взорваться, но не взрывается.

Седло оленю кладется не на спину, как лошади (спина у него слаба и может переломиться), а на лопатки и привязывается к животному у передних ног одним узким ремешком. Стремя нет, садиться в седло надо с кочки или с поваленного дерева. Ноги висят свободно по обеим сторонам шеи оленя. Голова при этом приходится над его теменем и чуть позади.

В руках тонкий поводок — оленей не взнуздывают. Идет олень осторожно, легко и быстро по тропе, которой не увидишь, шаг широкий, вольный. Кажется, вниз он не глядит и вот-вот со всего маху сбросит тебя в колдобину. Но он все видит, почти не спотыкается даже на кочках, поваленных деревьях и сучьях. Но к езде на олене надо привыкнуть и верить ему.

Когда вереница оленей идет в кустах, похожа она на стрелу в спокойной реке. И плывут на стрелке выючные сумы, ящики, треноги, рейки, мешки и тюки.

Моросит дождь. Когда я отстаю на маршруте, через несколько минут уже думается, что в тайге я одна и давно — мхи скрадывают шаги и звуки. Чтобы нагнать караван, оленем не надо руководить, как лошадей. Олень уверенно лезет через кусты и, кажется, совсем не туда, где находится караван. Но еще мину-

та-две — и убеждаешься в его правоте: оказывается, караван за это время свернул в сторону, и олень мой как-то узнал это.

На открытой возвышенности, где мир особенно широк, после обеда на каком-то обсушенном бугорке среди тех же болот, скорее похожих на реку в траве, я раскрыла карту. Мы пережидали жару под кустами березы. После дождика парило.

Оказалось, что мы находимся на удачном «мерзлотном» меридиане Тикси — Якутск — Неве́р. Меридиан проходит почти в центральной части Страны мерзлоты, разве что другой подобный протягивается в сотнях километров западнее: Нордвик — Мирный — Чита. На нашем, как и на том меридиане, мерзлота тянется с севера на юг на тысячу с лишним километров и уходит в Монголию.

Толща мерзлых пород на этих меридианах наибольшая — шестьсот — семьсот метров на севере, в Тикси, двести — четыреста — у Якутска, пятьдесят — в Неве́ре. И температуры вечной мерзлоты — почти самые низкие — минус одиннадцать градусов в Тикси (на глубине, как и везде в пятнадцать — двадцать метров, где они постоянны круглый год), минус четыре в Якутске и около нуля в Неве́ре. Севернее Тикси, на островах, есть и до минус четырнадцати!

Вечная мерзлота образуется только там, где среднегодовые температуры воздуха минус три-четыре градуса. Мерзлота занимает три четверти площади Сибири, почти половину территории нашей страны.

— Димка, запиши это для нас, — говорит Степан. После Андрича он интересуется окружающим больше всех. — Приедем, бабам расскажем, где были, на какой земле. А то три года здесь проеропили, ничего не знали...

Вечная мерзлота занимает четвертую часть суши. Она встречается в Евразии, Гренландии и Антарктиде, Канаде, на Аляске. На высоких горах, поднимающихся выше трех тысяч метров, тоже везде есть вечная мерзлота.

К востоку и западу от наших меридианов толща мерзлоты уменьшается, а между Тикси и Колымой она самая древняя, там ей около миллиона лет...

— Сильна, бродяга! — довольно говорит Андрич. — Я ее знаю, мерзлоту, я всю жизнь на ней живу.

На Дальнем Востоке мерзлые породы подходят к морю. Только: Приморье, где растет виноград, да почти вся Камчатка без мерзлоты. Там вулканы, горячая земля, горячие ключи. На севере вдоль побережья полярного моря мерзлота уходит под его днище, но как далеко, точно пока не установлено.

— А тут чего, где мы сидим?

— Где мы сидим, на водоразделе, слой мерзлоты тонкий — метров тридцать — пятьдесят и есть сквозные талики. Севернее, где развиты граниты, таких таликов на возвышенностях нет, а в долинах они меньше и мощность мерзлоты там побольше — метров сто — сто пятьдесят...

Эти полторы сотни метров мерзлоты под ногами казались моим спутникам значимее, чем семьсот где-то на берегу Ледовитого океана.

После ночевки спускались по долине Быраласа, что впадает в Тимптон у источников, к которым мы идем и где сделаем базу. Лиственницы, до краев заполнившие долину, как оказалось, скрывали непролазную жидкую от подтаявшей мерзлоты грязь, лежащие и полусгнившие стволы деревьев, протоки, заваленные глыбами гранитов и песчаников.

В глубоком распадке ошалело шарахнулись олени — увидели следы медведей. В страхе налезали друг на друга, едва не попадали. Проводник из Золотинки, перевязывая запутавшиеся постромки, бормотал:

— Сибику пугалси, олень совсем боись бельмет...

В сырых мхах глубоко вдавленные следы медведя из-под деревьев уходили к каменному развалу. Будто прошел кто-то с длинными извилистыми когтями на громадных ладонях.

О медведях заговорили в первый же вечер уже на Тимптоне, у костра. Проводники убеждали:

— Наш бельмет сильно пылакой. Нисево не боись, на костер иди, палки сивиряй, селовек нападай, лицо сымай, тайга нопси, мох, палки кидай, потом пириходи сыпокойно кусай...

Рассказы всерьез не принимали — нас много, всех распугаем! Дима сказал:

— Я читал, медведи здесь типа гризли. Они нападают.

Мне казалось, гризли — это американские медведи, но не спорил, в медведях разбиралась смутно. Мне говорили: медведь хуже тигра, тот скорее уйдет.

Бурые мишки были в моем детстве. Смуглый хозяин с серьгой в ухе, черных блестящих сапогах водил их по дворам, дергал цепь: «Мишенька, попляши... покажи, как баба воду носит... как хозяйка встречает»... Худые глазастые цыганки трясли букетами юбок: «Позолоти ручку, всю правду скажу»... Красивые грязные цыганята кланчили деньги. Медведь топтался, кланялся, ворчал, что-то показывал и протягивал лапу за сахаром. Делал он все как-то осмысленно и с удовольствием.

Бывалые охотники в Чульмане рассказывали, что угадать намерения медведя трудно и бывают они разные: один уйдет, а другой пойдет на тебя.



В царстве воды

Деревья и кусты сразу кончились. Открылся крутой левый склон долины, изогнутый вдоль реки громадным полуцирком. Взгляд вниз, к подножию полуцирка, поразил: река от берега стремглав, непривычно — поперек русла — упруго неслась к середине. А чуть выше водяной этой лавины, как с невидимой ступени, спрятанной где-то в глубинах горы, в реку сливался сплошной и мощный поток. В белой пене прыгали каскады.

Охватило ощущение великой безудержности стихии, неотделимости всего творящегося от чего-то искомого и древнего, скрытого внутри меня, что осталось, наверное, в каждом человеке и прорывается в такие вот мгновения внезапно, что древнее человека, что подавлялось тысячелетиями цивилизации и миллионами лет развития всего живого.

Уже позже, гораздо позже я различила громадные, многометровые глыбы серых песчаников, нависающие над каскадами. Они терялись в массе почти таких же крупных россыпей, что лезли высоко вверх к близкому здесь горизонту.

Мы стояли долго. Есть что-то таинственно-затягивающее в движущейся воде. Все века люди знали это и чувствовали очень хорошо. Степан, что сопровождает меня, курит и сплевывает в поток.

— Ну, воды... не уследишь...

Мы тронулись по-над каскадами. Ощущение необычности не покинуло меня, но профессиональный рефлекс наблюдательности заставил взяться за блокнот и фотоаппарат, и я стала превращать эту красоту и мощь стихии в цифры и кадры.

Между сплошными потоками оказались промежутки, где берег был мок и взрыхлен от напорной воды снизу. Почти на каждом шагу появлялось что-нибудь никогда мной ранее не виданное и все более удивительное.

Вот в метре над рекой в траве большая воронка, а на дне шевелится песок, смешанный с блестящими слюды. Сбоку грифон — подводный выход источника, фонтан в воде. Его крутой невысокий цветок стеклянно разворачивается, будто ежесекундно расцветают все новые и новые лепестки.

У берега лежит большой гранитный валун, рассеченный трещинами, из трещин вверх летят сверкающие водометы. Зрелище фантазмагорическое! Мощные струи выпрыгивают и из-под россыпей песчаника, каждая литров по сто в секунду.

А вот каскады длиной метров до восьми несутся ручьями.

Берег изъеден заливчиками, и из каждого на урезе реки стремительно вырывается вода, почти сплошными потоками.

Дальше струи бегут по глыбам гранитов. Откуда они? Припесены сверху паводками тысячи лет назад? Или массив их где-то здесь, близко под россыпями песчаников, а выходы мы видим только в трех километрах ниже по реке?

Весь берег «исходит» водой. В каньонах вода блестит как перламутр, очевидно от гидроокислов железа.

И еще каскады воды и еще. Вся река здесь плывет от берега, виден сплошной слив воды как с затопленной плотины. А над источниками лежат сухие руслица-каньончики, глубокие извилистые промоинки. Туда, очевидно, перебираются выходы источников, когда река вспухает от дождей и подпирает их. Представляю, как внутри этого горного массива постепенно в трещинах создается подпор и как расходится он вглубь и вширь...

Вдоль берега, будто дым идет из воды, поднимается газ. Температура воды в реке — одиннадцать, а в источниках — пять с половиной градусы, и эти пять — высокая температура для Страны мерзлоты. Значит, промыты в недрах земли мощные талики.

На высокой террасе Тимптона глухомань, завалы, сгнившие деревья, бурелом. Лиственницы стоят, распластав по земле черные замшелые корни. А у реки кедровый стланник и знакомое, родное, российское буйство — заросли кустов ольхи, рябины, березы.

— Следы, — говорит вдруг Степан и останавливается.

Он смотрит в землю. На песке с редкой щетинкой невысокой травы округлые, крепко в него вжатые отпечатки больших лап. Рядом — поменьше. У Степана на плече дробовик. Но стрелять в медведя дробью даже при необходимости опасно: дробь только ранит его. А карабин не взяли — зря тяжесть таскать, да и ни я, ни он по медведю стрелять все равно не стали бы. Одна надежда, что, встретив нас, медведь повернет обратно.

Степан не прочь бы вернуться в лагерь, и я бы тоже, но тогда вообще следует прекратить работы. В глубине террасы лиственница гуще. Под ногами мох, мелкоплитчатый песчаник. Медведи, видимо, поскальзывались на камнях, и в двух местах под сдернутым мхом сверкнул лед. Значит, здесь эти обильные источники и обширные талики — обжимают мерзлота! Если она в августе лежит почти у поверхности земли, то теперь уже не оттаивает. Тимптон течет тут почти широтно, склон с источниками смотрит на юг, прогревается солнцем. Это и помогло пробиться воде на простор.

Иду, наблюдаю, а в душе тревога: что будем делать, если встретим медведя? Бежать? Но убегающий вызывает у преследователя желание погони. Страх — защитная реакция организма — гнать себя от опасности. Винить человека за страх никогда нельзя. Другое дело, как он поступает в страхе.

Неожиданно открылась плоская и высокая скульптурная терраса реки, выложенная тонкими плитками песчаника. Веселое место, теплое, открытое солнцу. Как по платформе бегут верткие чистейшие прозрачные ручейки от самого своего истока где-то у подножия отступившего от реки коренного склона и сверкают на плитках, будто на ровном полу. Между ручейками, как придворные дамы в зеленых кринолинах, сидят метровые моховые кочки, будто платочками помахивают зелеными кустиками березок и мелкой кудрявю листьев черной смородины, где посуше — поднялись лиственница, кедровый стланик. На «пол» проступает под напором вода, ручьи взбухают на глазах. В трещинах «пола» слышно бульканье выбивающихся вверх струй. Каньончики в белых завитушках пены. Быстрые воды несутся из-под кочек, каждый куст омывается ими. Диковинное, сказочное место, невиданный парк природы!

Вдруг мы оба остановились — смородина обломана — ни одной ягоды. Здесь они, мохнатые хозяева! Может, идут из любопытства за нами по пятам? Мы дошли до восточного, нижнего по течению контакта песчаников с гранитами и повернули обратно.



У розовых моржей

Мы разбили лагерь на небольшом пятачке левой поймы в устье Быраласа. Быстрый и пенистый Быралас, впадая в Тимптон, далеко прорывается в его широкий и почти спокойный сине-белый разлив. Распластавшись там и потеряв буйство, он уносится вниз стремительной рекой.

Палатка — самое уютное место на земле. Моя стоит на отшибе, ближе к Тимптону. Низкий топчан из жердин, на топчане пышный слой пахучих еловых лап и спальный мешок. Два выючных ящика — рабочий стол. В опорных стойках гвозди. На них одежда, фотоаппарат и все, что может висеть. Таежный комфорт. Большой куст чозени около палатки обвешан разноцветными тряпочками, как елка. Якуты, эвенки и ороконы привязывают их то ли для удачи в охоте, то ли, как говорит наш

Вася, в память об умерших. Когда-то на Алтае я видела, как местные жители — ойроты тоже вешали на деревья яркие лоскуты материи для отпугивания злых духов.

Лодку с Яковом и Василием ждали три дня. На четвертый под утро в темноте ухнули выстрелы. Выскочил Степан с ружьем и Дима. Мы побежали к реке. Я кричала Степану:

— Стреляйте, стреляйте...

Когда заглохло эхо, вернулась тишина. Рокотал Тимптон, хлюпала вода под ногами в мокрой траве. Выстрелы троим помешаться не могли. В сумраке и тумане возник собачий лай.

— Они, — кричали Дима и Степан.

Мы снова стреляли. Лай стал ближе, потом выстрелы ударили и с того берега. Неожиданно Степан опустил ружье и скороговоркой пробормотал.

— Должно, не наши, боле стрелять не буду. Может, бандиты.

— Откуда бандиты?

Дима прыгал от холода на одной ноге — оба они полураздеты.

— Да вон они, и собачонка Яшкина — Дамка. Только лодки не видно. Может, утопили?

Туман открыл у воды только узкую гряду валунов. Причалили Яков с Василием часа через два, когда стало совсем светло. Собака прыгнула на берег и стесненно жалась к лодке. Яков довольно ухмылялся, веснушки его цвели. На фоне утренней зелени был он как факел.

— Как прошли? Как пороги? Почему так долго? — спрашивали мы их.

— Чего пороги, подумаешь...

Яков молча таскал рюкзаки и мешки в отведенную им палатку. Василий рассказал:

— То и дело на берег вылазили, лодку веревкой на себе тягали. Там утонуть в два счета.

— Ништо мужикам, — крутил головой Степан, — brave ребята.

— Прямо, — недовольно отозвался Яков, вылезая из палатки. — Один лесник что ли мужик...

В Андреече я как будто не ошиблась — он добросовестно суетится у костра и с серьезностью метрдотеля расставляет на пнях миски. На костре готовит наши разносолы: в одном ведре — густой суп, в другом — густой чай. Лепешки, правда, почти всегда сыроваты, ну да мы понимаем, что и шеф-повар у костра,

возможно, спасовал бы. Удручает меня только неумное стремление Андренча к просветительству — желание раскрыть всем тайны вечной мерзлоты и именно так, как это ему представляется. От его баек в неискушенных умах обязательно что-нибудь останется. Так, оказалось, что вечную мерзлоту, «всю как есть», можно уничтожить полностью и очень даже свободно, надо только вспахать всю землю. Значит, краем уха он что-то слышал: на золотых приисках, чтобы быстрее оттаять и снять верхний слой «торфов», то есть пустой породы, и добраться до золотоносных «песков», землю иногда действительно вспахивают.

— Но не на двести же метров в глубину, Андренч, — не выдерживаю я, если нахожусь поблизости. Андренч нимало не смущается.

— Не враз, конечно, терпенье нужно...

Начали определять, насколько почва оттаяла в лесу. Оказалось, всего на тридцать сантиметров, ниже — мерзлота, под ней — небольшой межмерзлотный таличок, явно соединенный с рекой: уровни воды в таличке и реке одинаковые, река поддерживает таличок своим теплом. Шурф подальше от реки прошли весь в сплошной мерзлоте, и мерзлоте этой теперь уже не оттаять — скоро начнутся морозы, и поверхность мерзлоты потихоньку станет подниматься вверх.

Андренч с большим любопытством пошел к шурфам. Вечером, когда я, как всегда, уходила на Тимптон, уже слышала его «научные» комментарии:

— Думаете, эта вечная мерзлота больше не протает? К ноябрю она на полтора метра вниз уйдет. На приисках бывало смотришь: в августе — полметра, в октябре копнешь — два.

Вот тут доля истины есть.

— Андренч, я же вам объясняла — на прииске грунт щебнистый, его вынимают из ложа реки, он открыт солнцу, там нет травы, а здесь грунт илистый, под мхами, в тени деревьев да на северной стороне.

На другой день в шурфике у подножия коренного склона сверкнул на солнце вдруг белейший и чистейший лед. Описали, сфотографировали, взяли пробу льда на анализ. Явно, что это оставшийся когда-то от зимы снежник, прикрытый сползшим сверху грунтом. Есть такое явление, свойственное холодному климату, — солифлюкция, или течение оттаивающего грунта. Грунт, перемешиваясь, сползает вниз по склону даже при небольших углах наклона. Я рассказывала уже всем не раз, какое это бывает иногда захватывающее зрелище, а в горах даже жутковатое, потому что походит на стихийное бедствие. Сползают сотни метров поверхности, грунт тащит за собой кусты, обтекает

деревья, нередко и их увлекает за собой. Вдоль подножий склонов протягиваются длинные земляные шлейфы. Из завалов высотой с двух-трехэтажный дом, как после землетрясения, торчат пни, камни, трава, стволы, а если это происходит вблизи селений, то и бревна и остатки заборов.

Вечером из палатки я услышала возбужденно-радостный голос:

— Тут сколь этого грунта съехало — метр, не больше? Это чего, а вот я знаю, в одном месте, на севере дело было, спали люди ночью в землянке, вдруг — мати родная! — чувствуют — поехали! Кто успел — выскочил, а те, что остались, так донизу цельный день и ехали. И еще день их откапывали. Но все живы остались, зря не скажу...

Утром я смеясь спросила:

— Значит, Андренч, они ехали целый день, из палатки не вылезали и ждали, когда их засыплет?

Андренч весело отмахнулся:

— Я что — говорю, что люди рассказывали.

Но эрудиция Андренча иногда выводит его и за пределы Страны мерзлоты с ее тысячами километров расстояний, например на Кавказ. Я уверена, что Андренч не знает советов Марка Твена, как воспользоваться ледником, чтобы не спускаться пешком с гор, — надо сесть на ледник и ехать, ледник ведь вниз движется. Но нечто марктовское я все же услышала из палатки.

— А вот, знаете, ледники в горах двигаются? Отчего? Под ледником камни здоровые лежат — окатники. Вот он по окатникам и съезжает, как по каткам.

Но тут из палатки лаборантов раздался недовольный бас Жени:

— Эй, Андренч, ты там поаккуратней!..

Забавно, что рабочие слушают Андренча всегда с интересом. Днем Андренч оставаться один в лагере побаивается и любого, заглянувшего ненароком, встречает с превеликой радостью...

В устье Быраласа, как розовые моржи, лежат громадные валуны гранитов. Моржи греют на солнце округлые спины. По Тимптону ходят темно-лиловые тени от облаков и исчезают в пене перекатов.

Вокруг много «музыки» — рокочет Быралас, плещет и разговаривает четким речитативом Тимптон, переливаются многими голосами источники, переговариваются лиственницы и ели, нежно лопочут кусты березы и ольхи, перешептываются капли дождя. Ночами слышны непонятные хрусты веток, жалующийся скрип лесных стариков-деревьев, осторожные, будто с затаенным дыханием вздохи ночной росы, стекающей по траве на зем-

лю. И ни один из великолепных этих музыкантов, как в хорошем оркестре, не заглушается другим, каждый ведет свою тему. «Ты слушай их, Робин, слушай! — напутствовал меня Аркадий. — Каждый из них гений!»

Талант восприятия — благословенный дар. Для одного шелест леса и звон весенней капли просто шум, для другого — музыка. Недаром Аркадий ходит в лес, чтобы слушать. Как-то мы говорили с ним о том, что люди, бывая в лесах, мало внимают им, часто предпочитают транзисторы и гитары, нет желания что ли, или, может, нет слуха?

Среди таежных исследователей немало писателей, композиторов же как будто нет, а жаль — столько родится и живет на их путях великолепных мелодий, и прекрасные гармонии остаются неузнанными.

В какой же тональности я живу, друг Аркадий? Не знаю. Здесь мне нелегко. Лаборантов мне подарили неудачных, рабочие до работы совсем не охочи, все делают с оговорками, Яшка бездельник и всех баламутит.

В первые же тимптонские дни Дима сказал: «Была у меня начальница в экспедиции, так она мне сразу сказала: «Дима, у вас лучше все получается с рабочими, чем у меня, поэтому вы с ними и действуйте»... И выразительно посмотрел.

Действовать я ему не разрешила — недобросовестность его была видна, самоуверен и нахален. Получив отказ распорядиться в отряде, он всю энергию переключил на самоуправство и настраивание рабочих на саботаж.



А что увидим там?

Первый день на Тимптоне так ярко впечатляющ был от стихии воды, что не представлялось — есть ли рядом что-то равное. А вдруг?

Пошли мы на запад от Быраласа к другой группе источников с большим любопытством. Переходили ручьи и каскадики. Берег, подобно кружеву, и здесь изъеден заливчиками, источает мощные струи, но слабее. Часты глубокие извилистые каньончики, промытые ручьями. Ручьи текут откуда-то из недр террасы, из густоты и тьмы вплотную стоящих лиственниц и елей в обхват толщиной.

Нежно и весело шелестели над нами в осенней уже ранней пестроте рябина, ольха и шиповник. Вода в реке под берегом кипит от грифонов, крутится водоворотами. В черные глубокие

промоины в дне реки Степан погружает почти двухметровый шест, опускаясь при этом на колени, и дна иногда не достает. Ошеломленно спрашивает:

— Куда ж это ведет?

Как и у лагеря, лежат розовые гранитные моржи, заласканные рекой. Вблизи видно, как глыбы обвиты, словно головы медузы змеями, шевелящимися струями восходящих источников. Стекло переливаясь светом, струи четко заметны в аквариумном покое окружающих глыбы прибрежных вод.

А вдоль реки, как нескончаемая витрина, проходит на уровне наших глаз терраса. В прогалинах тайги мелькают брусничники в россыпи белобоких ягод. В кустах над рекой выпелами висят паводковые клочки пожухлых трав и обрывков сухих веток, оставленных паводком, — словно река пометила специально для нас свои уровни.

По пути то тишина, то встречный гул источника. Почти везде песок и галька влажны от натиска воды снизу. Многие источники залиты водой реки, разбегающиеся над ними круги танцуют далеко от берега и откроются взгляду, наверное, только зимой. Серебристыми иголками ворошатся под берегом выходы газа.

Там, где вертушкой замер источника сделать не удастся, где вода стелется по мокрой и темной земле или падает мелкими каскадиками по скале, расход воды мы определяем визуально — на глаз. Когда сделаешь сотни определений вертушкой, ошибка при визуальном наблюдении очень мала.

И наконец, вот сейчас будет, наверное, то, чего я все время ждала, — диво западной стороны. Нарастающий шум падающей воды предупредил нас: перед громадой гранитов, что поднимались из реки, на контакте их с песчаниками низвергался белопенистый водопад. Гранитные выступы, громоздясь друг на друга, тянулись к небу. Мы пробрались к контактной трещине.

Внизу плоская, почти круглая впадина диаметром метров двенадцать принимала в себя бешеные воды: из скал, из россыпей, глыб потоки били как из брандспойта. Струи скручивались в упругие вибрирующие жгуты, шипя и подсакивая, неслись в реку в белой пене. Река, принимая каскад-водопад, бурлит и клокочет. Береговой песок взрыхлен и будто «дышит» от множества напорных струй. Струйки выкарабкиваются из осыпавшегося в ямки песка, как новорожденные черепашки. Они торопливо скатываются в реку, но не дотягивают до нее и погружаются в тот же песок пониже.

Этот источник, оказывается, может поспорить и с мировыми гигантами даже вне вечной мерзлоты — он дает тысячу восьмисот литров в секунду!

Вокруг водопада заросли ярко-зеленого дикого лука. Мы сели на черные коряги разломанной лиственницы, отдохнули, поели, запили пенным «шампанским» водопада и набрали лука с собой.

Другие источники на террасе выпрыгивают из-под корней и завалов старых елей и лиственниц, иногда почти сгнивших, занесенных речным песком и илом. На завалах вкривь и вкось, вздыбившись, лежит второй слой погибших гигантов, тоже полу-сгнивших и слегка покрытых песками. А на всем этом сверху, лоя редкие лучи солнца, живет уже радостная поросль последнего поколения и трепещут молодые березки.

Вся мерзлая, едва оттаявшая сверху терраса изъедена, как старая доска червоточиной, таликами и промытыми подземными ходами. Ручьи, рокоча, бегут под землей от коренного склона долины.

Склон выше источников смотрит пустыми глазницами сухих руслиц и воронок. Кое-где в глубине рокочат подземные потоки и даже слышен шум падающей там воды. Значит, где-то вода поднимается по трещинам восходящими потоками, а уже потом летит вниз каскадами. А если так, то там должно быть много пустых проходов, куда попадает дождевая вода. Значит, легшему замеру верить полностью нельзя — зимой воды будет меньше.

Район Быраласа и Тимптона с его ближними притоками, видимо, древняя зона разлома земной коры, размытая за миллионы и сотни тысяч лет, поэтому и сочатся их берега и днища бесчисленными источниками.

Наши родники — такое чудо, что смотреть на них как на объект работы совсем не просто. Это все равно, что, глядя на картину великого мастера, думать о том, сколько пошло на нее краски, был ли художник желчен и любил ли он людей. Но я кощунственно перенумеровала их, написав на глыбах номер каждого чуда красной или белой масляной краской. Когда-то потом, когда мы уйдем, дожди смывают краску и душа Тимптона снова придет на эти камни...

Однажды к водопаду пришла я одна. Хотелось рассмотреть граниты поближе. Пробираясь над рекой по уступам обрывистой стены, откалывала геологическим молотком кусок за куском. Полупрозрачные друзья кварца лежали в пустотах жеедов, как на ладнях, острыми кристаллов внутрь. Местами виднелись пегматитовые жилы, неярко-розовые полевые шпаты. Кое-где в гранитах обманчивым золотым блеском сверкала слюда.

Сочный красно-молочный кусок отколотого архейского гранита свеж и блестит на изломах. В какую глухую древность планеты проникли мои глаза! Сейчас ученые считают, что самые

древние граниты — это переплавленные осадочные породы, такие, как песчаники, известняки, их россыпи, пески и гальки.



В моем заповеднике

Сразу за нашим палаточным пятачком, за хлесткой густотой кустов ольхи, ивы и березы, начинается совершенно удивительный «заповедник». Мой собственный, потому что, кроме меня, туда никто не ходит.

Каменистая пойма Быраласа едва затянута тоненькой корочкой илистой земли. Великаны лиственницы протянули по камням замшелые корни. И среди камней и корней бешено мчатся к реке кристально чистые воды, приоткрывая мне тайну своего освобождения. Где-то за деревьями они вырываются из-под склона долины, ныряют под упавшие ели, ими же когда-то подмытые, скрадываются камнями, кое-где выпрыгивая на поверхность.

Дрожит земля, слышен стесненный подземный гул. Узницы рвутся на свободу, оповещая об этом мир. Вода поет-радуется, поет-негодует — так долго томилась в ледяном плену, с трудом протискивалась по сужающимся ходам, замерзала, стиснутая в песках, в трещинах пород, сама себя пеленала льдом, сама своему препятствуя бегу.

Тысячелетия ледяного плена, тысячелетия надежд: может, где-то поблизости возникали талики — от горячих ли струй газов или воды, от лучей ли солнца, передававших в недра тепло. И совсем, казалось, легко было отогреться и ожить, попасть на верную дорогу и начать путь к океану. И может, не раз была вода у врат освобождения — вот у этих, что я вижу в моем заповеднике сейчас, но побеждал холод и начинался новый счет тысячелетиям. Великий поединок воды и холода, и мы на нем случайные секунданты — сколько поколений людей прошло за время ее плена! Наконец выбралась она на свободу, и я первая встречаю ее здесь.

Я радостно протягиваю ей руки. Здравствуй, великая пленница! Пусть хоть крохи той воды, что проникли когда-то в недра Земли и прошли свой великий крестный путь, несутся сейчас мимо меня.

Какая будет у тебя судьба, вода? Может, ты вольешься в океан и никогда не попадешь на землю, а может, увидишь ее

скоро — станешь невидимой, поднимаешься в воздух, ветер перенесет тебя на Памир или в Тянь-Шань, холод схватит тебя, сделает зримой, ты прольешься дождем, проникнешь в морозные трещины, побелеешь, затвердеешь и снова останешься в земле на века... Так тебе суждено — то ты владычица, то невольница. Вездесущая, всепроникающая, постоянная в своей изменчивости.

И я слышу голос Аркадия:

— Напрасно, Робин, ты так твердо и определенно уверена, что воде нужны, как говорят, врата царства, то есть освобождения, Земля — ее обиталище.

— Вода — это движение, — говорю я. — В этом ее суть. На Земле, даже заколдованная холодом, в ледниках высоких гор, она движется, тает и стекает ручьями. В ледяных недрах она недвижна, молчит, а она привыкла петь.

— Холод дает воде красоту, — возражает Аркадий. — Прекрасны снежинки на женской ладони. Иней на деревьях и в пещерах. Что хорошего, если бы вода была всегда в одном своем виде? Холод дает смену, а смена — это обновление. Обновление нужно и природе и человеку. Вода — единственное вещество, которому естественно доступны три образа.

Может, он прав. Если представить, что родились бы мы на теплой планете, где не бывает холода, видели бы воду только в двух ее образах — жидком и газообразном, не знали бы снега и льда, как много бы мы потеряли! Ни волшебства зимы, ни вдохновения весны! И может, нужны были бы десятки тысячелетий цивилизации, прежде чем люди узнали, что есть нулевая температура в сегодняшнем нашем понимании. Ведь три естественных вида воды и натолкнули людей на мысль искать те же состояния в других веществах. И возможно, из-за того, что нет сейчас у нас перед глазами какого-то вещества с четырьмя или пятью состояниями, неизвестными нам, мы не ищем этих состояний для веществ нам известных. И не создаем их искусственно, как получаем жидкий гелий, воздух, твердую угольную кислоту и великое множество веществ, которых нет в природе в естественном виде и которые обязаны своим рождением сверхнизким температурам. Но может быть и обратное — есть где-то во Вселенной планеты, на которых естественно происходят незнакомые нам превращения — неизвестные фазы существования вещества! И мы постигнем их сложную простоту очень не скоро.

Вода — одно из самых сложных и загадочных соединений на Земле, а когда-то она казалась совсем простой.

Страстно мечтает человек добраться до ее тайн и хоть медленно, но идет к этому. Но тайн пока не становится меньше. В воде зарождается жизнь, с прекращением жизни, от разложе-

ния сложные органические соединения превращаются в воду и угольную кислоту.

Я сижу на замшелом пне, и ветер бросает мне сквозь листву пригоршнями россыпи солнца. Я подставляю руки под прозрачную струю, переливаю ее из ладони в ладонь и, кажется, плету сверкающую ткань. Вода уходит сквозь пальцы — образ старый, так уходит дорогие мгновения.

Когда-то люди отмеряли водой время и видели, как оно уходит. Теперь это делают точные приборы, смотреть на них некогда и острота утраты сглажена. А вот здесь, у родников, ощущаешь, как исчезает время безвозвратно и невосполнимо. И странно, что есть люди, которые время «убивают». Слово-то какое придумали — убивают ведь только живое!

Кроме меня у воды еще есть верные и неутомимые слушатели со множества ушей — деревья. Почему же не послушать легенды подземного мира? Ведь у воды под землей своя древняя и новейшая история, в сотни раз более старая, чем человеческая.

Как неверно сказал близкий моему сердцу Сент-Экзюпери, что нет у воды ни запаха, ни вкуса, но что она все равно прекрасна. И мне хочется ответить ему: вода прекрасна именно тогда, когда нет у нее ни запаха, ни вкуса. Известно, что у воды может быть и запах и вкус и что на холоде они одни, при нагреве — другие. Землистый и затхлый, болотный и плесневелый, сероводородный и хлорный... и сколько их еще. Вкус воды человек отмечает тогда, когда он неприятен — соленый, горький, вяжущий, гнилостный.

Вода растаявшего снега, льда и инея безвкусна, в ней нет солей, но все же она вроде живой воды народных сказок. О талой воде сейчас много спорят. Опыты показали, что она является биологическим стимулятором, помогает излечивать болезни, способствует усилению роста растений и животных.

Существуют два мнения ученых о причинах этого явления. Одни утверждают: это потому, что в талой воде нет губительного дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Другие: талая вода до тридцати примерно градусов сохраняет структуру льда, которую имеет, как полагают, структура нашей крови. Эта вода поэтому как бы легче усваивается живыми организмами и растениями. Может быть, долгожители высоких гор потому и живут долго, что пьют воду ледников и тающих снегов, а долгожители Якутии — воду тающей вечной мерзлоты?

Вода родственно добра ко всему живому и неживому. Неразборчиво принимает она всех и все, растворяет в себе, совершая колдовство — было что-то и нет его. Хранит в себе спасенье и

отраву. Уносит грязь и может незаметно принести ее. Она притягательна и опасна — исцеляет и убивает. Она — жизнь и она же — смерть. Вечно живая и подвижная, только одному владыке подчиняется она здесь — ледяному сфинксу — Холоду. Всесильная везде, в его владениях она — пленница.

Родниковый — значит светлый, незапятнанный, живительный. Источник — значит начало начал, исток всего живого и прекрасного — вдохновения, идей, творчества.

Поэтическое представление человека об источниках сталкивается, однако, с жизненной правдой. Для гидрогеологов источник — не начало, а конец, результат движения воды в породе, в среде. Какой источник? Глубинный? Да, чист. Каких вод? Грунтовых — близких к поверхности — ненадежен, вода может быть загрязнена и заражена. Земля таит огромное благо — очищать воду, но нужно время и продолжительный путь.

Плохо, когда люди отравляют чистые воды недр сами. Бурят скважины, чтобы сбросить туда сточные воды, химически и бактериально отравленные. Это так называемые поглощающие скважины. Так появляются отравленные источники. Даже среди сверкающих снегов альпийских гор случаются отравления людей водами зараженных источников.

Человек — как подземная вода — он тоже получает от своего окружения, от встреч, событий, чьих-то поступков, слов злое и доброе: бескорыстие и честность, верность, любовь, дружбу и самоотверженность, и несет все это людям. Но и его отравляют сточные воды человеческого духа — предательство, обман, подлость и жестокость.

Я возвращаюсь домой, перепрыгивая через поваленные ели. По хвое скользят беглые лучи солнца и исчезают в бурлящих водах.

Вот такие места, как мой «заповедник», всегда рождали сказки и легенды. У русских в омутах невылазно жил и колобродил каверзный, усмевающийся старичок водяной. У японцев, любящих воду во всем ее разнообразии, много легенд о духах воды — нуси. Ручьи, речки, источники, водопады, даже небольшое озерко или болото имеют своего нуси.

Я не знаю, как представляют себе нуси японцы, но мне они чудятся крошечными существами, которых никто никогда не видел и не увидит: на паутинных ножках, с головками как венчики цветов. Они питаются шорохами хвои и листьев, плетут одежду из мелодий воды и лучиков солнца, что падают с неба в родники. И может, ночами они подходят к нашему лагерю, когда мы спим.



Одинокие маршруты

Люблю ходить одна. Думать не отвлекаясь, не томясь, что кто-то ждет. Сегодня иду вверх по Тимпону не по берегу, как обычно мы ходим к своему водопаду, а тайгой, вдоль подножия осыпей коренного склона долины. Там так же мрачно, как на «медвежьей стороне» и в долине Быраласа.

Не слышно птиц, и, кажется, ничего живого близко нет. И вдруг — писк-писк-писк: на тухлявый, полузасыпанный ствол в зеленом бархате мхов вскакивает полосатенький бурундучок. Стоит на задних лапках, крутит мордочкой, пищит — животишко ходит туда-сюда. На писк откликнулись две-три птахи в кронах деревьев, кто-то заскребся почти под ногами, кто-то заворшился сзади. А он пропищал и исчез. Оставил мне шорохи, и они долго шли за мной по пятам.

Потом все снова стихло: ни звуков льющейся воды, ни шороха кустарников под ветром. Мхи, как одеяло, укрывают землю. Присматриваюсь к земле — нет ли волчьих следов или помета. Но никогда я не видела их здесь — только маленькие квадратные ямки от кабарожьих копыт, оленьи следы, широкие лосиные и «рукотворные», похожие на человеческие ладони медвежьи.

Поднялась на водораздельное плато. Комаров нет, дышать легко. Открылось просторное нагорье с каменными морями и будто застывшими волнами. Каменные моря — удивительное детище холода. В Стране мерзлоты камень разрушается даже в земле и к обычному выветриванию здесь добавляется морозное. В горных тундрах Чукотки я ходила по ним и спускалась до самого моря-океана.

Есть что-то древнее, библейское в этой каменной пустыне с громадными глыбами. Глыбы остроугольны, в серых чешуйках лишайников, как в униформе, трудно отличить песчаники от гранитов, пока не отколешь кусок. А отколешь — ярко сверкнет чистый излом темно-красного гранита или скол серого песчаника, иногда будто в веснушках — от железа или от марганца. Глинистые сланцы обычно лежат плоскими, как вафли, плитками.

Люблю эти каменные просторы за то же, очевидно, за что моряки любят океаны — за приволье, за горизонт, ничем не затмненный, и, может быть, еще за древний дух, что идет от земли и камня, и за свежие ветры, которые можно пить как воду.

Если бы над этой каменной пустыней можно было парить птицей! А то взбираешься с глыбы на глыбу, проваливаешься

между «волнами», попадаешь ногами в воду, стучаешься коленями об лед. А на мне много тяжестей — полевая туго набитая сумка, молоток, фотоаппарат, горный компас, водяной термометр — вдруг попадетесь интересный родничок.

Между глыбами таятся остатки зимы — гольцовые льды, почти все они здесь к началу осени тают. Это на севере и в высоких горах такие льды лежат постоянно. Там встречаются даже каменные глетчеры.

Гольцовые льды удивили и даже заинтересовали всегда равнодушного Женю. Ходили мы с ним однажды верхами, вниз по Тимпону, через россыпи. Он промямлил: «Ого!» — и полностью открыл полусонные глаза. «Для этого стоило сюда приехать, такого нигде не увидишь!»

— Ну почему же. Поезжайте на Памир, Алтай, в Тянь-Шань, в Верхоянье — увидите настоящие каменные глетчеры. Мороз и ветер рождают их во всем мире — в Альпах, Кордильерах, в горах Аляски, в Скалистых горах. Даже в Швейцарии они есть и в Японии.

Но интерес Жени к гольцовым льдам закончился по возвращении в лагерь.

Перебираясь по глыбам, я неожиданно услышала, что кто-то под сурдинку все же подыгрывает ветрам. Пошла на тихую музыку. На глубине выразительным речитативом разговаривала вода — стекали невидимые ручейки от тающих гольцовых льдов, дождей, туманов и ночной росы. Древние знали способность камня собирать воду. Они устраивали на возвышенностях бассейны и заполняли их камнем. К утру бассейны наполнялись водой. В городах били фонтаны.

Роса — одно из тех замечательных явлений, что мы постоянно наблюдаем. По утрам роса лежит крупными каплями на наших палатках, траве, на пнях. Когда пробираемся к реке сквозь кусты, они обрушивают на нас тяжелые ливни — через несколько минут одежду можно выжимать.

В Стране мерзлоты в горах росе, чтобы родиться, не надо ждать ни вечера, ни ночи, когда стынют камни. Здесь всегда рядом и жаркий дневной воздух долин, и холод мерзлых глыб. Конденсация велика и очень помогает стоку — почти четвертая его часть собирается в россыпях и развалах пород.

Удивительно то, что росой люди интересовались истари, но изучать стали недавно. И не за ее добродетели, которых немало, а из боязни ее каверз — роса вызывает коррозию металла, портит фермы мостов, провода электропередач, рельсы.

Не так давно ученые выяснили большую пользу росы. Оказывается, растения питаются влагой и через листву, от листвы

она попадает в корни и через них в почву. А там, где мало осадков, роса — спасительница.

Сент-Экзюпери не написал бы своего прекрасного романа о погибающих в Сахаре от жажды летчиках, если бы у летчиков был чистый брезент или современный пластик — за ночь в их грязном, пробензиненном чехле от самолета набиралось до двух литров воды!

На краю склона неожиданно открылась мне необычная картина — внизу на пойме каменные россыпи, что спускаются отсюда, надвинулись, как танки, на деревья и кусты, повалили их, раздавили и почти погребли под собой. Сила жизни растений оказалась, однако, велика, некоторые кусты по краям каменного потока как-то ухитрились жить, хотя процесс этот, видимо, шел непрерывно и давно, потому что на каменном потоке уже росла молодая поросль.

Эта картина вызывала раздумья: значит, до сползания каменных «танков» вниз источники свободно изливались в реку. И потом меняли места выходов?

Незаметно, где-то в облаках, ушло за горы солнце, в воздухе носерело, посыпалась мелкая дождевая пыль. Раньше считали мы самой чистой эту рожденную в небе воду. И как изменились представления, когда узнали, что вода дождей не только минерализована — соли приносят влажные ветры с океанов и морей, но и содержит радиоактивные элементы. В снеге их больше. Где-то очень высоко космические лучи бомбардируют ядра водорода, и появляется радиоактивный тритий — тяжелый изотоп водорода, который входит в состав тяжелой воды. Эта вода, хотя и в очень малом количестве, есть в воде обыкновенной.

Я спустилась вниз, вошла в быстро темнеющий лес. Внизу меня обдало холодом — инверсия температур воздуха чувствовалась очень сильно. Перелезая через буреломы, попала вдруг в какую-то западину. Вокруг угрожающе чернели завалы трухлявых корневищ и стволов. Очень странно была изрыта земля. Пригляделась — она вся истоптана! Медвежий дом. И может, караулит меня где-то рядом хитрый «лесной мужик»...

Я лезла, сучья с треском рушились, ноги скользили, попадая на поганки. Поганок на гнилых деревьях висело великое множество. Отдыхалась уже на берегу Тимпона. Дождь прошел, небо над хребтами посветлело, а здесь, внизу, уже начали шевелиться сумерки — разведчики ночи. Из аляповатых днем предметов сумерки создают великолепные пастели, а из наших заносчивых и самоуверенных днем душ извлекают тончайшие настроения. По своей природе сумерки загадочны, в них все недосказано, и это заставляет нас что-то дополнять, домысливать

и даже фантазировать. Сумерки не наводят на те трудные и бесполезные мысли, что сваливает на человека ночь. Они дарят думы спокойные и меланхоличные.

И вдруг рядом, в приплеске реки, я увидела на песке медленно заплывающий большой разлапистый след. Вода набиралась в ямку тоненькой прыгающей струйкой... Где-то я читала, что человек, убегающий от медведя, жалок, и таких медведи презирают. О, пусть меня, человека, «царя природы», презирают этот мохнатый сыщик, лишь бы были силы от него убежать!

Источники уже курились белыми дымками — будто засели в кустах над каждым источником таинственные рыбаки и зажгли свои безогневые костры. Перепрыгивая через ручьи, я попадала то в холодные объятия сырой зимы, то снова встречала лето.

В лагере меня уже давно ждали. Андреич сидел на земле, прислонясь к ели с биноклем у глаз — высоко, выше полосы леса на другой стороне Тимптона, было еще светло.

— Чешут они друг друга что ли?

— Кто это?

— Да медведи же. Вона на горе, на той стороне. То один сзади на спине у другого что-то делает, то этот на его место становится. И оба на задних лапах.

Как приятно, когда медведей можно рассматривать в бинокль!



Вкус дождя

Почти сразу после прихода нашего на Тимптон полили нескончаемые дожди. Лили они с утра, с полдня или по ночам. Живем словно под серой сеткой, как на театральной сцене в сказке о подводном царстве. Река от дождя будто покрыта стеклянными гильзами, кипит и ярится. Палатки не просыхают, начали гнить брезентовые полы. Влажный воздух густ и тяжек. Сырые спальные мешки, мокрая одежда. Во выючном ящике отсырели бумаги и книги. Резиновые сапоги текут, полны воды, носить их мучение, а мокрые кожаные сапоги дают и трут.

Палатка моя наполнилась пауками. Привет, приятели из далекого прошлого! Ведь предки пауков появились на земле триста миллионов лет назад. Я вежливо предлагаю им еловую ветку и выбрасываю ее в кусты вместе с гостями.

Под дождями встаем, умываемся, пьем чай, обедаем. В ли-

вень сидим с мисками каждый в своей палатке у откинутой полы — как дождевые улитки на мокрых дорожках под палыми листьями.

По утрам я просыпаюсь под тонкое царапанье-пощипывание дождя по парусине — будто просится кто-то, легонько так, тактично, как умный пес, — пусти либо выйди... Прислушиваешься — не заскулит ли? Кусты ивы и ольхи намокают быстро, и в воздухе все время стоит ровный шепот-пересказ каждой капли слова.

В промежутках между ливнями — сияние неба, все вокруг в алмазных брызгах и в каплях солнца. Деревья и кусты весь день, однако, полны водой, и при малейшем прикосновении они сваливают на нас шелестящие дожди.

Кажется, дожди растворили ту нить, которая хоть и слабовато, но держала дисциплину. Особенно разболтался Яков.

— Вот курево кончится, и уйду, — заявляет он.

— Без курева нельзя, — поддерживает Дима. Сам он не курит.

Я предупреждала, что отдыхать мы будем только в сильное ненастье (и не раз уже из-за дождей сидели мы в лагере). Но вот в ясное рабочее воскресенье Яков взял ружье и ушел стрелять рябчиков. В солнечный рабочий день после обеда все почему-то остались дома. Женя, работавший на промерах реки, сказал:

— Я им обещал, что они сегодня будут отдыхать. Они устали. Я удивилась:

— Здоровые мужики прошли три километра и устали? А как же топографы-изыскатели целыми днями ходят с инструментами?

На меня после таких разговоров смотрят как на врага. Как-то пришлось всем пережидать дождь вдали от лагеря под густой елью, и Дима вдруг изрек:

— Людей надо отпустить, пусть займутся своими делами.

Это обычная его манера во все вмешиваться.

— Прошу вас за меня не распоряжаться. Дожди идут непрерывно, и если мы будем сидеть все время в лагере, то ничего не сделаем.

— Так у вас все люди уйдут! — кричит он заносчиво.

Иногда мне кажется, что в самом деле все вот-вот разладится, и Дима добьется, что работа сорвется. Будь все это не в тайге, немедля уволила бы всех лодырей и смутьянов.

А пока дожди, дожди... И хмурое небо. И неприятности. Но я не хочу забывать, что за тучами есть солнце. Есть! От этой мысли становится легче. Наверное, всегда, когда хмуро на душе,

надо вспоминать, что солнце есть. Пусть за облаками, пусть за тридевять земель...

После работы в лагере мы отдыхаем по-разному.

Бродя с Женей поблизости от палаток, увидели однажды на дереве что-то темное, пушистое, вроде маленького зверька — лежит, свернувшись, на толстых сучьях где-то чуть выше нашего роста. Сбросили палкой — отрубленные медвежьи лапы, скрепленные и перевязанные красной тряпичей! И тогда я вспомнила. «Не сердись, тайга, я вернул тебе зверя, дай хорошей охоты...» — так бормочут охотники, убив медведя и вешая когтистые лапы на дерево.

— Ни одной шкуры медведя не увидите с лапами, — говорили мне в Якутске. Так и оказалось. И шкура, что лежит у меня дома, тоже без лап.

В двух шагах от нас уединенные поляны, затопленные грибами. Тут и белые старейшины величиной с небольшой арбуз, и подберезовики, и незнакомые мне обалки с подозрительной манжеткой. Собрать бы их к обеду, но грибы есть рабочие наотрез отказались.

На тропе, что проходила зимой, в долине Быраласа кто-то нашел большой дырявый эмалированный таз. Эвенки и якуты зимой иногда ездят семьями, с детьми. Таз вычистили, дырку заткнули, нагрели в ведрах на костре воды, и мы устроили баню на берегу Быраласа.

Горячая вода! Ей меньше шлют хвалы, чем сверкающей ледяной в роднике, той, что сама жизнь. Но как жадно нужна и эта. Горячая вода подарила одно из величайших своих даров — утолила жажду тела и дала несравненное чувство физической чистоты. Недаром у всех народов одно из удовольствий — баня. Бани русские, финские, восточные, каждая со своими особенностями. Древние понимали толк в этом — мылись в термах и философствовали, пели, играли и мылись. Все радости сразу. Японцы так любят горячую воду и приписывают ей такое целебное значение, что даже самые бедные поселения устраивают себе горячую ванну в простых деревянных бочках.

Как-то в мокрых кустах Андреич нашел почерневшие от времени лук и стрелы. Видимо, бросили их охотники; может, кончились у них патроны, и пришлось взяться им за оружие предков. На дерево мы прибили банку из-под сгущенки. Когда мазали мимо, Андреич утешал: «Не горюй, робя, без промаха бьет только смерть, и то один раз»...

Река залила все сухие руслица выше источников по пойме и склонам. Вода уходила вглубь, словно растворялась на глазах. Вот он, круговорот воды, видный воочию — источники питают

реку, река же, где может, через такие вот талики питает земные недра.

С дождями прибавилось работы — источники потребовалось мерять чаще: надо было выяснять, на какие из них влияют дожди, на какие — нет. Конечно, тащить вертушки, штанги, ящики с батареями, термометры — для некоторых работа не такая уж веселая. Шесть-семь точек на каждом источнике, источников — шестьдесят, туда и обратно — несколько километров.

Повторные замеры источников вызвали у моих лаборантов возмущение.

— Пять дней назад меряли, изменились они что ли? — проинически спрашивает Женя. — И это чего за наука — источники мерять? Номера масляной краской на камнях писать?

Да, не только за пять дней, а даже в течение дня дебит источника может измениться. А бывает и так: в одном источнике он и без дождей колеблется, а в другом и в дожди остается постоянным. Эти признаки помогают судить об их происхождении. Лаборанты, однако, думают иначе.

— Все это не нужно, — заключает Дима.

— Мартышкин труд, — вторит Яков, щуря желтые ресницы, — кабы не перемеряли за зря сто разов, всю работу можно было за две недели исделать и уйтить.

Николай и Степан оказались более добросовестными и умными.

Выяснилось, что с нивелиром Женя обращается почти так же, как Андреич, — устанавливал он его час, за полдня взял один отсчет, и тот неверно, хотя два дня практиковался у топографа в Чульмакане и уверял меня, что работал в топографическом отряде. Дима за несколько дней не сделал пустячной глазомерной съемки и цинично признался, что «болтается» без дела, потому что «свою долю» работы выполнил. «Долю», конечно, определил он себе сам.

А еще докучают совершенно озверевшие комары. Круглые сутки в ушах на высокой ноте слышно: «Вз-з-з-зы!» Комаров дождь не берет. Когда жарко, из-за них нельзя насладиться жарой — душный накомарник, спущенные рукава, сапоги. И кисти рук всегда в красных волдырях, как в чесотке.

— И зачем бог, если он есть, создал этих тварей? — бормочет Андреич, торопливо раскладывая по мискам кашу и дуя на нее — поскорее отдать, а там как хотят — с комарами или без. Комары идут на гибель валом.

— А олень, может, думает, — вступает Степан, — на черта тебя, то есть нас всех, бог создал? Не было бы тебя, ходил бы он на воле, никто б на ём не ездил, жевал бы он мох и дремал

на наледи. А ты его запрягаешь, на нартах гоняешь, комары его жрут, а убежить он не может — ты его привязываешь, а потом шкуру сымашь — это чо?

Во влажной брезентовой духоте даже плотно застегнутой палатки комаров все равно множество. «У, паразиты!», — слышится вечерами из палаток. А где-то снаружи, не для нас, веют крылатые речные сквознячки, насыщенные ароматами ночной тайги.

Уснуť долго не удастся. Надо что-то придумать. Застегнув палатку, ставлю в железную банку свечку... Потом ее гашу и зажигаю с банкой в руках. Затем снова зажигаю — на потолке чернеют десятки пятен — комары. Осторожно, чтобы не порхнуло воздухом, поджигаю всех до одного. Снова гашу свечу и опять зажигаю. И так до последнего комара! Коли уж в духоте, так хоть спать.

Моему способу борьбы с комарами последовали и рабочие. На рассвете я расстегиваю, чуть ли не разрываю, застежки палатки и впускаю к себе такой душистый, такой невероятной вкусоности воздух, что долго лежу опьяненная, все прощая тайге.



Измерить демона

Быралас — по-якутски «чистая вода». Он неширок, кристально чист и прозрачен до голубизны. Протоки в засохшей тине, кое-где и в застойной воде, но в маленьких газирующих лужах — значит пробивается и здесь вода на свободу. Русло завалено скрепившимися деревьями.

Когда начались дожди, Быралас сделался бурным, на спине его выросла белая шерсть, потом она поднялась дыбом и пожелтела. Маленькие проточки превратились в бушующие потоки. Быралас набух пришедшей и грязной водой, потому что по дороге он заливал берега, залесенные островки, оттаивал мерзлые грунты, размывал их и тащил за собой, ворочал сгнившие пни, обнажал разлапанные корни, черные от давних пожаров, гремел камнями и громоздил их друг на друга. Лесные «старички» падали и безропотно позволяли себя тащить. Недалеко от лагеря ручей навалил из корней, пней и деревьев дырявую плотину, полную кривых ревущих струй. Водяной водоворот за плотиной грозил ринуться в обход — к нам.

Угрожающий гул нарастал. К ночи Быралас вышел из берегов. Все спали, когда меня насторожил близкий плеск воды.

Я взяла спички и пошла к ручью. Костер едва тлел. Боды Быраласа бурлили в темноте в двух шагах от костра, почти вровень с берегами. Водяной вал пригнул даже те кусты, по которым мы спускались обычно к переправе. От Тимптона доносилось тяжелое гремящее — там река кантовала глыбы покрупнее и волокла их в кривун. Еще днем мы видели, как на стремнине неслись деревья и обломанные куски берегов с кустами.

Разливы обеих рек соединились, простор бушующей воды был огромен. Казалось, еще миг — и ринется все это на нас, а там еще через минуты только ящики и, может, палатки будут крутиться среди кустов. Но за спиной у нас каменный подъем — есть где спастись. Пришлось назначить дежурство. Женя высказался мрачно: «Неудачно выбрали время» — в том смысле, оказывается, что им хочется спать. Рабочие возмущенно бормотали: «Черт с этими вещами, сами-то выскочить завсегда успеем, коль заливать будет». Однако за ночь имущество перетаскивали три раза. Поток остановился утром в десяти сантиметрах от костра.

Но эту мощь Тимптона надо измерить. Никто его здесь еще не мерил. Если придется строить сооружения для захвата воды источников, их надо рассчитывать на прочность, знать расход реки и уровни, а зимой — как идет ледоход, где и как торосится лед и что он может повредить. Конечно, когда наступит время строить, придут люди и все сделают. Но и для предварительных прикидок нужны данные. Да и зачем откладывать — лодка есть, люди есть, паводок есть, а его не всегда поймает.

И я дала сигнал к замеру паводка. Репер мы сделали раньше, и уровни реки были под нашим контролем с первых дней. Измерить демона — дело нелегкое. Ширина реки — двести пятьдесят метров. Три раза заносили в лодке поперек реки измеренный красными тряпками металлический трос. Река срывала лодку, вытягивала трос длинной тугой петлей. Чтобы выравнять створ, пять человек на другой стороне реки тянули трос вверх по течению, трос то и дело выхватывали из рук вздыбленные волны.

И вот наконец лодка идет по створу вдоль троса, и, для того чтобы она так шла, двое на веслах изо всех сил прогребают против течения. Лодку надо останавливать под разметкой через каждые двадцать метров, бросать якорь и мгновенно опускать на длинной штанге вертушку, три раза вынимать ее в лодку и передвигать по штанге. Под ревом Тимптона вертушка крутится неистово, верещит звонок, сверкают лопасти — только успевай смотреть на секундомер. Вот когда выручил нас четырехлопастный якорь! В кузне постарались на совесть.

Едва отрывают якорь от дна, как лодка летит вниз по водяным хребтам. Чтобы снова поставить ее в створ (пятнадцать раз!), надо вдоль берега, где потише, заводить лодку выше по течению, потом снова, гребя встречь ему, спускать ее вниз до створа и так же, не упустив момента, бросать якорь, и все повторять снова.

Работа эта по душе всем. Ветер треплет волосы, все мокры и задыхаются от захлестывающих волн.

— Броса-а-й... Р-раз... Держи, держи, держи... подымай!..

Почти семьсот кубических метров воды в секунду (в двадцать раз больше, чем Москва-река) несет Тимптон в паводок! Река для всех — встряска, «стоящая работа».

Многие любят природу только в час любования ею — на отдыхе в лесу, с удочкой у реки. Я думаю, что истинно и глубоко познать любовь к природе можно только в активном действии — живя и работая в ней, учась у нее, ощущая ее безграничную родственную щедрость во всем и прощая горечь ее уроков.

В паводок переправу через Быралас снесло. Метрах в пятидесяти от лагеря, а кажется, что в далекой глухомани, мы спилили громадную лиственницу. Лиственнице лет полтора, но она крепка и свежа. Упала она сразу, без скрипа и стонов. Рухнула беспрекословно. Розово-желтый срез ее был чист и пах скипидаром.

Мне было жаль дерево. Сколько стояло оно нетронуто, и вот пришли мы, и кончилась его судьба. Пушкин был ребенком, и не было еще первой Отечественной войны с Наполеоном, а оно здесь росло, вот на этом самом месте. От свечей с канделябрами, карет и бричек прошли люди за его жизнь до люминесцентных ламп и космических ракет. При его жизни прошел и золотой век русской литературы, человечество открыло радий и возвило небоскребы.

Человеку очень легко обидеть дерево. В тайге мы полпреды всего человечества перед природой и соответственно должны себя вести. Но у нас не было другого выхода. Лиственница стояла выше уровня паводка и поэтому удобно для нас легла на твердую землю другого берега за пределами буйных ночных разливов. Ветви ее опустились в воду.

Я пришла к ней утром. Вода дымилась голубоватым туманом. В тишине в ветвях лиственницы слышался голос ручья. Он был негромким и курлыкающим. Пахло мокрой щепой, корнями и водой. По золотистому стволу туда и обратно деловито сновали белки — обживали переправу. Упавшее дерево уже по-новому вошло в жизнь тайги. Я тронула чуть шершавый срез пня.

— Прости,— сказала я дереву.— Прости...



Беспокойные соседи

После дневных дождей наступали тихие лунные ночи. Луна надолго зависала над долиной Тимптона и неотрывно смотрела в лагерь. Борьба с комарами кончилась, потому что с появлением луны к нам стали приходить медведи.

До этого еще, однажды на промерах реки, когда лодка ткнулась в узкую полосу галечникового берега, Василий и Вася-якут, прыгнув на податливую гальку, упали на колени, и вдруг из молодого кедрача на них вышли три медведя. Черно-бурые, громадные. Мужики онемели, застыв на коленях. Мы закричали, медведи, не торопясь, помотав головами, развернулись и, загребая задними лапами, пошли от нас обратно в кедрач.

Через несколько дней медведь вышел на Якова. Яков стоял на берегу и успел впрыгнуть в лодку, что подходила к берегу. Яков уверял, что такой черный узкомордый медведь самый злой из всех. Уже после встречи с тремя медведями рабочие стали на косяках отливать жаканы.

Как-то ночью страшный треск сучьев раздался рядом с палатками. Рабочие проснулись, выскочили наружу. Тонко и пришибленно взлаивала Дамка. Медведь, не обращая на нас внимания, лазил по кустам. Мы били железкой по ведру — он не уходил и, когда мы уже не знали, что делать, внезапно ушел. Утром все вокруг было истоптано, как скотиной у водопоя, глубоко вдавленными большими следами, замшелые камни выворочены. Притопали медведи не по берегу, как мы думали, а спустились с каменистого склона.

После бессонной ночи все беспокоились:

— Как быть? Комаров ловить — палатку надо застегивать, а как застегнешь, когда медведь шастает? Навалится на палатку — и амба. Выскочить не успеешь.

Медведям прогулки в наш лагерь понравились, они стали появляться еженощно — из той глухомани, что начиналась сразу за палатками, со склона, со стороны новой переправы, даже через мой «заповедник». Однажды ночью что-то рухнуло у меня над головой — медведь зацепил за стропы палатки, и я с перекошенным горлом еле выскочила наружу. Дамка задолго до треска сучьев скулила и повизгивала. За лагерь она не выходила, боялась, но, видимо, чуяла зверя то со стороны Тимптона, то от Быраласа.

Медведи, равнодушные к лаю, к звону ведра, лезли напрямик. С приближением их визг Дамки усиливался, к нему добав-

лялся предсмертный вой. Дамка присасывалась к ногам и не давала ступить ни шагу. Пока не начинали стрелять в воздух из дробовика, медведи не уходили.

Года два назад в Восточном Верхоянье я видела у одного охотника не очень большого, лохматого, храбрейшего пса. Пес спас хозяина — кинулся на медведя и перегрыз ему горло, когда медведь, придавив охотника, уже занес над ним страшную лапу. Дамка не защитница, говорят, она хороша для белкованья, но здесь она наш звонок — извещает о приходе медведей, и ее ценят за это. Днем Дамка скулит даже над медвежьими следами, и этот скулеж и еще лай на рябчиков напуганные рабочие всегда готовы принять за приближение медведя. Сейчас медвежий гон, медведи ходят табором и бывают в этот период самые злые.

Настало полнолуние. И как только луна вылезала на Тимптон в двурядье гор и белый свет ее проскальзывал на поляну, появлялись медведи. Похоже, они ожидали, когда засветит этот надежный фонарь и они смогут получше рассмотреть, что мы такое. Приходили они с той же четкостью, с какой в войну бомбили нас фашисты.

В какой-то вечер медведь пришел с западной стороны, от верхних источников. Он зашлепал через Быралас прямо на нашу «столовую» у пня. Дамка не ожидала его оттуда, почуяла поздно, изошлась страшным визгом, когда он уже бултыхался в Быраласе в двух метрах от костра и собирался вылезать. Все ринулись ему навстречу, швыряли горящими головешками и наконец пальнули чуть не в ухо. Черная туша повернула обратно. Теперь атака на нас шла и с этой стороны.

И все же удивительно — люди попривыкли! Выжидали, не стреляли, пока наглецы не лезли напролом. Ночами горел костер, каждый выходя подкладывал сучья.

Неприятностей к этому времени стало еще больше: ночи без сна из-за медведей, комары, дожди, разговоры, что не хватит продуктов. Макароны кончились, а это единственное, что всеми признавалось за продукты. Рыбу ловить Яшка отказался, хотя мордушку привез. Как-то на сковородке рыба все же появилась — маленькие зеленые налимы и большой темно-красный линнок. Андреич, пряча глаза, разложил всем кашу. Рыбу ели он, Яков и Николай.

— Рыба частная, — сообщил на мой вопрос Андреич.

Я возмущилась:

— Мы живем коллективом, и, хотя и оторваны сейчас от людей, здесь действуют и законы и моральные и этические нормы нашего общества и нашей страны. Это совершенно недопустимо, тем более что я обещала Якову платить за пойманную рыбу.

Дима вмешался.

— Это частное дело Якова. Он имеет право. А ваши этические нормы не для этой обстановки.

— Как раз для этой! Вот такие люди, что не признают никаких норм, и начинают есть друг друга, когда судьба отрезает их от всего мира и приходит голод.

Оказалось, что рыбу без нас ели не раз и Дима в этом участвовал.

В довершение ко всему кончилась соль. Три килограмма исчезли за две недели. Выяснилось, что ее просыпали. Может, с умыслом? Мне об этом не сказали. Однако Андреич почему-то подсаливает суп, когда варит его из едко-соленой колбасы.

— Поберегите, Андреич, соль, — говорю ему, — и так достаточно.

— Это вам кажется, что достаточно, — вступает Дима, — а люди еще подсаливают.

— На черта нам ваша работа, — галдят рабочие. — Уйдем. С медведям, с комарьем, ишшо без соли, да без пиши... завтрева же.

— Если они сказали, что уйдут, значит, уйдут, — говорит Дима.

Не просто оказалось быть начальником этой небольшой, но порядком расхлестанной жизнью, разношерстной кучки людей. Разболтанные, невоспитанные лаборанты, избалованные дети, хотя им и по двадцать с лишним лет. Рабочих я перехватила на остром жизненном перепутье. В них все бурлит, настроение неустойчиво — в любой момент могут взорваться. В палатках споры чуть не до драки. Кто я — начальник, миротворец, усмиритель? Работа идет с уговорами, приказами, просьбами. Я как струна. Ни одного верного человека.

Андреич сказал как-то:

— Вы меня извините, я ни во что не вмешиваюсь, потому как я их боюсь. Я этот народ знаю, они из-за пустяка пырнут ножом. Мое дело — костер и обед, от чего другого увольте.

Но чтобы забыть неприятности и отвлечься, надо иметь хоть что-то хорошее. Пусть немного. Пусть нереальное. Вот откуда корни религии — от необходимости утешения, даже мнимого. Я выбрала реальное — хожу на Тимптон. Хожу, как язычники ходили к алтарям. В лунные ночи долина высвечена особенно ясно, провалы ущелий заполнены чернотой. Острые тени от горных гряд сужают долину, и она похожа на величественный храм, что пленил меня с первых же ночей на Тимптоне. По полу храма льется светящаяся лунная вода. Где-то там, в неосозанной глубине, должна, наверное, стоять и статуя божества.

Величественна архитектура стен, уходящих в небо, бездонна крыша, полная звезд, густы и крепки таежные запахи — их приносит ветер, мешая с запахом речной воды. Понятно, что не могли язычники не воспринять такого величия земли и не поклоняться всему в ночи — луне, звездам, воде, небу. А днем, конечно, солнцу, ибо от него, как и от воды, зависит все: и жизнь, и смерть, и они это знали.

Я люблю таинственные пути ночи. Один-два полетных шага планеты после сумерек — неудержимых, предопределенных — навечно данный ей поворот, и вот мы уже смотрим в черную пропасть бесконечности. И каждый сразу оказывается с ней один на один. И с собой тоже.

Неправильно говорят — спустилась ночь... Откуда ей спускаться? Ночь всегда с нами, только мы забываем об этом. Это свет спускается к нам. А ночь, от рассвета где-то притаившись, переживает долгий день — может, в пещерах, может, в глухих углах под корнями деревьев или под глыбами гранитов. Ночь проникает всюду, не раздвигая ветвей.

Всю жизнь видит человек наступление ночи и никогда не относится к этому равнодушно. Разве что в городе, где чаще просто упускает необыкновенный час. С наступлением ночи мир меняется не только внешне. Духовное перерождение человека незаметно совершается ежедневно. Меняются настроения, самочувствие, отношение к окружающему. Ведь нет скачка от юности к старости — неуловимая постепенность, не ощущаемая человеком, тонкое движение-переход, тихо растущее, все обновляющееся новое качество. Время движется, как амеба, и, расплываясь, обволакивает нас.

Пусть древнее языческое божество даст мне что-нибудь хорошее — спасительную мысль, дорогое воспоминание. Есть же что-то хорошее на земле? И вдруг она пришла, эта спасительная мысль — все ведь кончается! И скоро кончится мое пребывание здесь и мои тяготы. Задачу свою я почти выполнила.

Диму я отправила в Алдан, в распоряжение экспедиции, дала в проводники Васю-якута, ружье. Послала с ним извещение руководству — пусть радуются: воды много, можно рассчитывать на несколько кубометров в секунду.

На лагерь после ухода Димы сошла почти невероятная тишина. Никто не грубит, не противоречит по пустякам, лапшу без соли едят молча.

Вечерами, сидя у костра, я часто думаю о том, что скоро здесь все будет по-иному. В Чульмане построят промышленные комбинаты, лаборатории, дома, больницы, возникнут проспекты, дома отдыха, появятся туристы... Конечно, для этого я и ишу

воду. Но мне не хочется представлять вытоптанную тайгу, консервные банки в Быраласе, перестрелянных лосей и медведей. Я не хочу, чтобы когда-нибудь здесь было тесно от людей. Пусть это будет место, где каждый может омыться древней тишиной, вдохнуть очищающий ветер перевалов.

Мне хотелось бы оставить людям Тимптон таким, какой он есть. Он видится мне заповедником. Как матери хочется передать свое дитя в верные руки, так мне хочется, чтобы в эти края пришли чистые и добрые люди.



„Медвежий бунт“

— Нигде не сказано, — стучит по земле миской и ногами Яков, — чтобы заставлять людей итти на смерть.

Вася и Николай хмуро глядят из палаток. Андрей молча курит, сидя на пеньке, и смотрит в землю. Все выговорилось до меня, что-то решили и теперь идут напролом.

— Уходим! — вызывающе говорит Николай. — Черт с вашими деньгами, пускай хоть пропадают. Дураки согласились. — От его покладистости нет и следа.

— В чем дело? — спрашиваю я.

— А в том, что не желаем работать с вашим медведем, и все тут...

Я иду в палатку. Надо сдерживать волнение. Сорвут окончание работ! Не хватало мне этого «медвежьего бунта»! И так нелегко. Выйдя к ним, спокойно спросила:

— Что же все-таки случилось? Ведь вы работали там, на «медвежьей террасе», уже два дня.

— Работали, а теперь уходим. Хватит.

Яков сидит, подбрав колени к подбородку, и смотрит на ведро, где взбулькивает каша. Вид добродушный, курносое лицо не выражает ни хмури, ни злости. Он, очевидно, это знает и, входя в раж, всю злость проявляет в действии. «Мне на все наплевать» — его любимая присказка.

После чая Степан рассказал:

— Пообедали, пошли на шурфы продолжать работу, а там за это время медведи погром устроили — лопаты в шурфы пошибали, на рукавицы нагадили, лоток, что сколотили грунт выбрасывать, в щепу изломали. Ребята сразу повернули обратно.

— Значит, вы испугались медведей? — говорю я, раздумывая. — Так бы и сказали, а то я не могла понять, в чем дело.

— Никто не пугался, — говорит Николай. — А зачем нам это нужно?

— А ружье с жаканами брали?

— А чо ружье — мы же в шурфе работаем, и пальнуть не успеешь, а пальнешь — в шурфе так и останешься, он тебя сграбастат, и все тут.

Может, они и правы. Стрелять не все умеют, и в самом деле — сидят в шурфах. Любую спокойную работу могут найти на другом месте. Это мне нужно, чтобы они там работали, это я не должна уходить и работать, а зачем им беспокойство и тревоги?

— Что вы за нашу жизнь ответите, так нам это будет все равно, — продолжает Василий. — Их там до черта, этих медведей, пруд пруди, истолкли всю землю, плашки во какие в землю вколотили — не достанешь. В яме сидишь и думаешь: счас тебя прикроет...

Много раз думала я, как поведу себя при встрече с медведем? Думала, а потом и узнала. Привелось. Мне потребовалось пройти вот эти самые шурфы, о которых сейчас речь, именно на той злосчастной «медвежьей террасе». Без этого неполной была бы карта распространения таликов и мерзлоты у выходов источников.

Пошли втроем — Василий, Николай и я. Двинулись они молча, хмуро, не глядя на меня. Чем дальше шли, тем больше мрачнели. Ну что мне делать? Я бы сама хотела работать спокойно и в трудной этой трагикомедии обойтись без лохматых и не очень мирных статистов. Но куда денешься? Написать что ли в полевой книжке или подать докладную: «Из-за большого количества агрессивных медведей работы на восточном участке не выполнены», или: «Работы прекращены, потому что все боятся медведей, включая и начальника».

И ведь не раз ходили мы на источники и по двое, и в одиночку. Теперь распорядилась, чтобы все ходили только вдвоем. Для себя же оставила право — как получится. Иногда пойдешь в маршрут будто рядом, а зайдешь далеко. И не ходила бы одна, да рабочих рук мало, не отрывать же человека от дела только для проводов. А Дима, тот вроде рвался на любопытную для него встречу, представлял себя где-то на хребте Сихотэ-Алинь или в Африке, ему тигра, пантеру или медведя подавай — все равно.

Мы остановились на бечевнике у «медвежьей террасы». Терраса с обрывом метра в два полого поднималась вверх и была вся в густой путанице ивняка, березы и кедрового стланика.

— Василий, лезьте первым.

Василий посмотрел исподлобья, нахмурился и странным, угрожающим голосом прошипел:

— Лезьте сами, если вам надо.

Оглянулась на Николая. Таким злым я Николая никогда не видела.

— Хорошо, пойду я. Просто мне труднее продираться сквозь кусты. И пусть вам, мужчинам, будет стыдно.

Я полезла на крутой обрыв, хватаясь за ветки. От всей обстановки недоброжелательности и от напряжения тех минут сердце сильно колотилось. Негромкий разговор позади меня скоро затих, заглушенный шорохом кустов, что раздвигала я, и хрустом сушняка под ногами.

Я шла все дальше в глубь террасы среди кочек и торчащих на них хилых полусохших стволиков лиственницы, колесила, искала подходящее место для шурфов. Вдруг впереди в плотной гуще кедровника кто-то зашевелился, резко затрещал валежник, треск тараном шел на меня... Остановилась — медведь... И сразу затопило тяжелое спокойствие неизбежности. Сверхнапряжение ожидания. Вот тут я и поняла — вот так я себя веду, когда встречаю медведя лицом к лицу: страха нет, остановилась и замерла, на его милость.

И хотя встреча не состоялась, только увидела среди ветвей широкоую спину зверя, но ощущение встречи испытала полностью.

Тут же почти из кустов появились Николай и Василий. В доли секунды надо было собрать себя и ничего не показать им: ни слабости, ни смущения — все это пришло ко мне теперь. Но парни и не присматривались. Указав им место, где рыть, я ушла, и они остались работать...

А кончился «медвежий бунт» удивительно просто. Обдумав все, я решила, что делать, и объявила:

— На восточном участке работать будут втроем. По очереди один будет сидеть наверху с ружьем, заряженным жаканами. За каждый день шурфовки там лишний рабочий день каждому. Пойдут только добровольно и только те, кто умеет стрелять.

И Яков, заводила и хват, которому (я-то знаю!) все трын-трава, и медведи тоже, ухмыльнувшись от уха до уха, покрутил конопатой дыней с огненными лохмами и сказал:

— Делов-то, я пойду. Кто со мной?

Те же Николай и Василий согласились.

В палатке Яков долго куражился, до самой ночи оттуда слышалось:



— Я всех медведей там распугам, им тошно станет, я костер запалю...

Чтобы меньше было разговоров о нехватке продуктов, я сижу почти на одном чае. Спасает меня чудо-вода наших источников. Пью из каждого — с ладоней, из бегущей струи, из ручьев, погружая лицо... И пищи не хочется. Я ненасытно пью, и вода дает мне силы и бодрость, и хожу я легко, как никогда...

Через несколько дней с Васей неожиданно самовольно вернулся Дима и принес «весть» — председатель колхоза уехал, из-за дождей в колхозе пропадает сено, и поэтому оленей он за нами в срок не пришлет.

— Но у меня же договор?

— Плевать он хотел на ваши деньги, ему сено важнее. А нам придется уходить и все бросать. И люди без еды сидеть не будут.

— Уйдем, — сплевывает Яшка.

За несколько дней до срока прихода оленей он снова подступил ко мне. Глаза желтые, злые, видно, стало невтерпех — хочет водки. Набычился, надвинулся плечом.

— Отпускаете добром или нет?

— Нет.

— Завтра уйду, не то разнесу здесь все к чертовой матери.

До завтра он не дотерпел. Через полчаса в палатке раздались рыкающее ворчание и неистовая брань. Наружу полетели портянки, жерди от топчана, палки, рюкзаки, спальный мешок. Я повернулась и ушла из лагеря. Вечером сказала ему:

— Что ж, Яков, поскольку вы дошли до такого состояния, можете идти. Уходите.

Он не ожидал этого, встрепенулся, даже растерялся, видимо, пыл прошел после разгрома палатки.

— А что я один пойду? Вы Николая со мной не отпускаете?

— Нет, конечно.

— А коль со мной чего случится?

— Бойтесь, не ходите. Провожатых я давать не могу.

Николай сказал:

— Я без вашего согласия не пойду.

— Ладно, — сказал Яков, — будем подыхать с голоду.

— Когда есть крупа и бидон масла, с голоду подохнуть трудно.

— На этой каше потом до бабы не дойдешь.

От Васи-якута я узнала, что все олени сейчас, наверное, на Хатыми, где находится главное стойбище. Вася предложил сходить туда и узнать. Я согласилась и сплавила с ним Диму.

— Если скажете, я останусь, — говорит Степан.

— Я тоже могу остаться, — бормочет Женя.

Кто-то кричит Степану:

— Ты чо, дружок, двурушничашь?

Степан отвечает громко, не поднимая головы:

— Не хочу портить трудовую книжку. Вы рванете кто куда, а я на шахте в Чульмакане останусь. Ты что ли мою жизнь будешь править?

К сроку прихода оленей свернули лагерь, утром сложили палатки, сожгли мусор. Лодку и якорь вытащили на берег в кусты. В одиннадцать оленей не было. Рабочие кричали, что ждать оленей нечего, что Дима правильно говорил — колхоз оленей не пришлет. И хотя я считала, что олени могут прийти и к обеду, и к вечеру (проводники обычно почуют в верховьях Быраласа, и мы там ночевали) или даже через день-два, остановить рабочих было уже невозможно. Все вскинули рюкзаки на спину, сорвались с места и двинулись к переправе.

Я колебалась. А если Диме в самом деле сказали, что олени не придут? Степан и Женя смотрели на меня с мрачным упреком — будто оставляю их около себя умирать в тайге!

На доске от ящика я нарисовала для проводников, когда они придут с оленями, большую стрелку. Доску прибили к дереву над местом костра. Стрелка указывала на россыпи, куда перенесли мы имущество. Не переверошили бы его наши лохматые соседи!

Тяжелый рюкзак вызывал отчаяние. Такого не носила я даже в студенческие годы. Тетради, документы, записи, подсчеты замеров, карты, результаты всех наших исследований — их я не доверяю никому. Приказать же тащить им мои вещи не считала возможным.

Все пошли не по Быраласу, как сюда, а вверх по Тимпону к устью Чульмакана. Шли мы по глыбам, шли по мхам и ягельям. Потом была мшистая таежная марь — мокрая перина, опутанная корнями брусники и полная невидимых веток, хватающих за ноги.

Вся братия резво топала впереди. Женя и Степан решили их догнать, и я шла одна. Над каждым из нас висела плотная туча комаров и мошки, и вся эта нечисть лезла за воротник и в рукава, набивалась под накомарник, отнимавший последние крохи воздуха. Лицо горело. Решила так: если будет невыносимо, останюсь и заночую одна.

Ушедшие вперед то поднимались высоко на россыпи, то шли через чащобу, то спускались в завалы и болотца, то с ходу переходили ручьи и речки. Я следовала по их маршруту, шла в их темпе. Рюкзаки у всех были почти пустые, а силы — богатырские, не то что у меня.

Раза два все отдыхали, но, как только я подходила, двигались дальше. Видела, как бедная Дамка дрожала на остановках в стороне и еле поднималась вслед за уходящими. Где-то отказалась она лезть на крутой скользкий склон, проваливалась между каменными глыбами, и Яков, бранясь, пинал ее ногой, грозился пристрелить.

Река была уже далеко внизу. Неожиданно стали к ней спускаться. Когда я сошла вниз, оказалось, что на берегу уже никого нет. Отвесный гранитный уступ обрывался в воду. Подняв голову, увидела, что стою почти у вертикальной глинисто-песчаной стенки. Водопад! Метров с десяти неширокими раздробленными струями падала вода.

Справа на сухом обрыве торчали камни, висели мелкие оборванные кустики. Вверху мелькнули чьи-то сапоги.

У каждого из нас встречается, наверное, в жизни свой водопад. Вот этот сужден мне. С рюкзаком эту стенку мне не одолеть. А рюкзак я не брошу. Сняв накомарник и засунув его под клапан рюкзака, начала медленно подниматься. Не смогу, значит, не смогу.

Хватаясь за маленькие острые выступы скалы, полузасыпанные суглинком, за остатки оборванных голых прутиков. Иногда попадала под струю воды. Часто прутики оставались в руке, камни иногда вынимались, летели вниз, где-то шлепались в омут. Рюкзак тянул назад и грозил оторвать от стенки. Свободного дыхания давно не было. Каждый раз поверхностный полувдох ложился на сердце тяжелым грузом. Но я все-таки лезла, смотрела в плотную, желтую, осыпающуюся перед моими глазами стенку и не хотела смириться, что она последняя в моей судьбе. Нет! Вылезу.

Никогда не давала я своей руки цыганкам для гадания. Не потому, что верила и боялась «правды», а просто не хотела, чтобы когда-то помешало мне это нелепое предсказание. Нагадай какая-нибудь вещунья: «Бойся воды, найдешь свой конец в воде» — может, и нашла бы теперь, поднялась бы вдруг в подсознании мысль и помешала воле.

В стенке появились узловатые корни, как рука помощи земли. Цепляясь за них, я подтягивала себя с рюкзаком.

Наверху шаркнули ноги, свесилась голова Степана. Он подал мне руку, и я вылезла, едва переводя дыхание.

— Все ушли, — сказал он обеспокоенно. — Идемте скорей. И зашагал вперед.

«Одолела, одолела!» — Я шаталась, но торжество свое понимала. Прошла шагов пятьдесят. Но даже короткий этот путь вызывал бешеное сердцебиение и изнеможение. Набросились тучи комаров, пришлось нахлобучить накомарник и почти тут же сорвать его, как срывают удушающую маску. Я остановилась и сбросила рюкзак. Погибнуть не диво. Здесь заночую. Одна ли, нет ли — это меня уже не беспокоило.

Далеко впереди раздались выкрики: «Якуты идут!» Кто-то кого-то о чем-то спрашивал, но незнакомый мужской голос перекрыл все остальные:

— Где ваш начальник?

Ему ответили хором: «Там она. Там!»

Я тихонько двинулась вперед, вскинув рюкзак на одно плечо. И вот навстречу:

— Здравствуйте! Здравствуйте!

Марченко, геолог из Якутска, с двумя якутами-рабочими. Свернул со своего маршрута посмотреть на источники. Повстречать в такой момент знакомого — выиграть сто радостей. И вот мы сидим на корнях широкой ели, мне — пачка папирос, коробочка монпансье с пестрыми цветочками на крышке, зажженная спичка — дорогие подарки. Но курить я не могла.

Рабочие мои улыбались мне смущенно и заискивающе:

— Устали, наверно, надо бы остановиться, а мы шли и шли, вроде не думали...

Держались все так, будто все идет нормально — отряд возвращается на базу.

Я рассказала Марченко об оленях, о том, что председателя не будет две недели, что посылать оленей некому, что все сорвалось, не дожидаясь срока, и пришлось идти пешком... Но все документы со мной.

Марченко сдвинул шляпу назад, на войлок туго выющихся волос, и сердито засверкал глазами. Лицо его приняло сразу устрашающее выражение, и я поразилась этой мгновенной перемене. Сквозь табак и кашель (а курил и кашлял он непрерывно) он заявил всем сидящим у кустов рабочим, что председатель на месте и оленей не дал ему, Марченко, именно потому, что высыласт их по договору мне, что за провокацию он всех немедленно на приходе в Чульман отдаст под суд, что... Я удержала его от продолжения.

Тут же я всех отпустила, пусть уходят. Сама решила переждать здесь, пока Марченко с рабочими сходят на источники.

С облегчением вздохнув, все шумно поднялись, попрощались

и один за другим скрылись среди елей и мелких лиственниц. Через несколько минут стояла уже древняя тишина, только окурки памятно валялись в траве.

— Хороши молодчики, — сказал Марченко, глядя им вслед. — Я теперь с такими не работаю, нарывался вроде вас. Привез вот с собой ребят из техникума. Подчинение беспрекословное, грамотные, надежные, хорошие ребята, обоим по семнадцать лет.

Ребята сделали шалаш — поставили срезанные рогатины, соединили их поверху жердиной, притянули к ним, не рубя, мягкие и нежные стволы молодой лиственницы, закрепили наклонными жердями, по бокам густо навтыкали срезанные ветки кустарника, на землю бросили еловый лапник. Таких шалашей я еще не видела. Натаскали гору сушняка, разожгли костер.

Лежу у костра... Слушаю, только слушаю. Марченко рассказывает. Им тоже пришлось нелегко: два дня сооружали плот, чтобы переправиться через разлившийся от дождей Чульмакан. Плот сел в середине реки. Спрыгнули в воду по грудь.

— Как нас не сорвало, не знаю, скорость бешеная, сшибет — конец.

Марченко содрогается от кашля.

Облик Марченко создают два штриха: поджарость фигуры и стоящая почти стоймя светлая с проседью непролазная грива волос. Крупные черты лица и косматые брови — это уже добавление. Подвижен и легок необычайно.

В нескольких метрах от костра обрываются вниз к реке граниты. Шум реки сюда не доходит. Лиственницы над обрывом, раскачиваясь, гонят к шалашу речную свежесть. Ветер усиливается, и высокие кедрачи раскачиваются все больше. С ветром пропали комары, стал накрапывать дождь.

Ребята и Марченко заснули, я же долго сидела, прислонясь к стойке шалаша. На колышках у костра сушились мои сапоги. Слегка шипя, горел под дождем костер. Капли дождя теснили огонь, но он не сдавался, перебрасываясь с ветки на ветку.

И я вспоминаю Аркадия. Так какая тональность этой ночи, друг? Не уловлю, но она есть. И исполнение едва ощутимой музыки внутри — *pianissimo*. Возможно, создаст когда-нибудь человек такой музыкальный инструмент, в котором движения нашей души будут индуцироваться как электрический ток в обмотке якоря динамо-машины. И тогда тончайший этот инструмент воспроизведет нам песню нас самих. И наверно, тогда мы поймем себя лучше.

Утром Марченко и Никандр ушли на источники, оставив со мной Григория.



Ночной пришелец

Григорий возится у костра неторопливо и хозяйственно. Низкорослый, в рубашке, полугалифе цвета хаки и сапогах, он похож на новобранца. А повадки, несмотря на городскую жизнь и одежду, таежные. Округлость и угловатость движений одновременно, как при скрадывании зверя, и неспешность, продуманность.

Я лежу в шалаше. Давно уже где-то лает собака. Вдруг приходит мысль, что это Дамка.

— Григорий, это наша собака.

Я подошла к обрыву. Белое пятнышко мечется вдоль реки. Бедный пес на той стороне Тимптона! Скалу с водопадом она, конечно, одолеть не могла, решила, видимо, обойти ее по воде. Но течение понесло ее назад, и ей пришлось всю ночь бежать вверх, вдоль реки, потому что ночью, когда костер виден хорошо, она не лаяла. И может, не раз пыталась она переплыть реку, но вновь и вновь натывалась на стену гранитов. И вот наконец увидела несмелый дневной огонь и теперь лает почти непрерывно, с подтягиванием, полным безнадёжности.

Я отправила Григория на берег, чтобы он завел Дамку повыше по реке и сманил в воду. С третьей попытки Дамка, видя, что Григорий с берега уходит, решила, вошла в воду и поплыла. Вылезла она почти перед самой скалой. И вот, мокрая и дрожащая, лежит теперь у костра, вынюхивая воздух, надеясь, видимо, почуять своего изверга-хозяина. Есть она не может и не охраняет, как обычно рыча, свои куски.

Комары пропали, стало пасмурно. Лохматое облако за грядой гор, задевая деревья, проваливаясь в ущелья, тащится прямо на нас и волочит темный, прямой гребень дождя.

— У-юй, — говорит Григорий, — плохо, однако, будет, река совсем разольется...

Весь день отдыхала. Моросил мелкий дождик, к вечеру стало холодно. Григорий рано лег спать. Я сидела у края шалаша, глядя на огонь. Вот как бывает — сижу где-то над рекой в глухой тайге рядом с этим, вчера еще незнакомым мне мальчиком. Живешь-живешь, и появляется в твоей жизни человек. Тебе неизвестны его нравы, обычаи, сноровка. А он делает тебе шалаш, разжигает костер и кипятит чай. Наконец пришло ко мне какое-то успокоение, напряжение стало спадать.

Работа сделана, то, что нужно, выяснено. Неожиданно стала постижима истина неизбежности смены всего трудного, тягостного, неприглядного отдыхом и праздником. Да, праздником, тем,

что внутри нас, а не вне. Обязательны и неизбежны внутреннее обновление и радость. Потом легла на ветви и заснула.

Проснулась от холода. В темноте было видно, что Григорий как-то странно двигается у почти потухшего костра.

— В чем дело, Григорий?

Где-то далеко и тревожно возник, поднялся вверх и сник какой-то голос.

— Наверно, птица, — сказал Григорий неуверенно.

Он подложил в костер две небольшие веточки. Огонек слабо вильнул по затухшим было обгорелым поленьям, взвился дымок, и вспыхнуло розоватое зарево. Лицо Григория было напряженно, узкие глаза расширились.

Снова раздался долгий ухающий крик с томительно-стонущим замиранием. Так кричат ночные птицы в глухих лесных оврагах или погибающий человек. В деревне раньше сказали бы — лесовик, леший.

— Слышите?

— Да. Что это?

— Наверно, человек кричит.

Голос раздался снова, где-то очень далеко, с той стороны Тимптона, может, из ущелий одной из впадающих в него речек. Кто может ходить там ночью и кричать?

— Кто это может быть, Григорий?

— Не знаю. Плохой человек. Хороший человек зачем кричать будет? — Он пожегился. — Очень плохой.

— Почему же не будет? Наоборот. Плохой будет молча красться. А вдруг этот заблудился, увидел костер и закричал. Мы же высоко, нас далеко видно, и он хочет выйти к нам. Покричите ему. Сделайте костер поярче.

В самом деле — кто он? Случайно заблудившийся, оставший от товарищей человек, охотник или бандит? А может, он не один? Здесь и плохому кричать не страшно — тайга. Не зря же дали мне карабин. Уходя, Степан прислонил его к дереву.

Григорий прокричал несколько раз на все окрестные просторы, вскинув вверх голову и широко открывая рот.

— Какого человека зовем — неизвестно, — сказал он.

— Еще кричи.

И он кричал еще и еще. Может, человек ищет человека, тепла, может быть, пищи и отдыха. Как это, наверно, хорошо — увидеть костер в ночи! Как хорошо услышать человеческий голос, ответный голос!

Григорий притащил из кустов приготовленную сухую корягу и взвалил ее на костер. Костер вспыхнул разом, широко разметнулся пламенем, теряя по сторонам гроздь искр. Золотой по-

ток волшебного рождался у земли, извиваясь, пожирал черных, припавших к ней скрюченных огнем уродов и уносился в небо. Все вокруг далеко осветилось, явственно, как в декорациях, выступили вперед кусты и деревья. Проявились незаметные раньше проходы между ними.

Голос возник снова. Ближе, но еще далеко. Звучал он тверже и увереннее. В нем было что-то торжествующее.

Григорий отвечал. Потом тот смолк. Григорий прислушивался. Он стоял за костром, широко расставив ноги. В его глазах прыгали мелкие золотисто-черные костерки, и я видела, как в них нарастал ужас. Внезапно он стал молча и быстро гасить костер. Вылил в него из котелка воду.

— Что ты делаешь? Зачем?

Не отвечая, он лихорадочно растаскивал горящие, сразу оброставшие густым дымом ветки, тонтал их ногами.

— Совсем плохой человек. Зачем нам кричать? Зачем костер разжигать? Почему молча подходит? Спрашивал, теперь крадется. Что будет?

— Возьми, если боишься, — я достала из-за спины, с лапника карабин и протянула ему. — Заряжен. Стрелять умеешь?

— Умею.

Он неуверенно взял карабин и заговорил быстро, как бы пняя на меня за мое распоряжение раздуть костер.

— Какой человек ночью в тайге ходит? Что ночью надо? Ночью спать надо. Что будет?

Его тревога и опасения не перешли ко мне: была убеждена, что плохой человек кричать не будет. Решила, что не двинусь никуда ни при каких обстоятельствах, была готова спокойно встретить что угодно и кого угодно. К тому же у нас оружие.

Не оставляя карабина, он дотапывал костер. Стало почти темно. Голос кричал много раз, был он уже ближе, но Григорий не отвечал, а у меня не было сил.

— Похоже, Григорий, он за рекой или внизу. Там не пройти. Ему, наверно, некуда деться. Зачем ты погасил костер? Что он нам сделал плохого, этот человек?

Крики повторялись, и непонятно, откуда они исходили. Иногда казалось — слева, снизу, вроде действительно шел человек вдоль берега, и река преградила ему путь, а иногда — что с ближних вершин.

Мы долго сидели молча, едва освещенные одной оставшейся прозрачно-оранжевой головешкой. Григорий стоял, по-прежнему напряженно прислушиваясь.

Вдруг совсем близко, откуда-то сверху донесся шум. Шум нарастал секундами. Потом стало ясно — к нам ломился кто-то

громадный, кто рушил и топтал буреломы, веками наваленные на его пути.

Григорий застыл над костром, глядя в темноту, откуда надвигалось на нас непонятное. Про карабин он забыл и держал его как палку. Я заинтересованно ждала — что это может быть?

Деревья взорвались шелестом сразу за шалашом. Кто-то валился напролом, на шалаш...

— Олени... — крикнул Григорий.

Задев шалаш и едва не развалив его, прямо к костру выторкнулись два больших рогатых оленя, и на одном из них якут. Якут в меховой шапке крепко обжимал ногами лопатки оленя и близко держал на ремешке второго, дико вращавшего глазами, потому что его тащили через почные кусты без дороги.

Якут спрыгнул с оленя и сердито крикнул Григорию по-русски:

— Сачем совсем молчал? Силншал, я кричал? Сачем костер гасил? Тайга ходи носю легко думал? Олень таскай собой, мутяй, ходи искал кыругом. Верху ходил, совсем далеко мимо усол.

А потом кричал по-якутски.

Григорий отвечал быстро, успокаиваясь и, видимо, оправдываясь. Поспешно восстановил костер и повесил чайник.

Олени в оставленный нами лагерь пришли на другой день после нашего ухода.

— Монатки твой все сопрал, — говорил Макар, наслаждаясь чаем.

Так он окрестил все наше имущество, снаряжение и инструменты.

— Репят твой встретил семь тасов, все ходил не там, я сказал другой дорога — верный. Репят сказал: ты здесь, я брал ездовой олень и к тебе.

Значит, Марченко оленей не видел. Он шел, как и мы, вдоль Тимптона, а олени вёрхом — Быраласом.

Над Тимптоном светлело.



Дождь шел два дня, пока не вернулся Марченко с Никандром. Оба пришли искуанные комарами до неузнаваемости, почевали они под деревьями. Продукты у нас кончились: Макар, как и все оленеводы, пищи с собой не взял.

Когда подошли к Чульмакану, он выглядел чуть меньше Тимптона, вздулся, залил низкие берега и острова. Осенние паводки

здесь бывают обычно больше весенних. Макар наметил место перехода.

— Висе нельзя, висе пирисим будет, сильно худо, — сказал он, постояв над бешено несущейся рекой. — Тут надо ходить...

— Пока прижима не видно, — сказал Марченко. — Но ему видней. Будем пробовать.

Посередине реки скрытый кустами, полузатопленный, в редких лиственницах остров. Курс — на остров. Макар с оленями пока остался на берегу. В реку пошли в одежде, взявшись за руки. Температура воды сейчас около пяти градусов. Едва она поднялась выше колен, пришлось идти влоботорота, встреч течению, рывками бросаясь вперед и побарывая телом хлещущий поток. Руки еле держали цепь. Холод залил сапоги, ноги скользили по валунам.

На стрежне охватило сомнение, идти ли вперед: оставленный берег далек, а остров еще не близок. Больше всего испытаний и сомнений, наверное, и в жизни бывает у человека на стрежне.

Сопротивляться течению стало трудно, вода поднялась выше пояса, потом она подошла к груди, и вдруг с огромной силой дно выдернулось из-под моих ног. Секунды еще держала меня живая цепь, потом в один миг нас всех оторвало друг от друга и разбросало. На широкой желтой волне я вынырнула на поверхность бушующей реки. Успела лишь увидеть странно вертящиеся голы, как меня снова бросило в буро-желтую стремнину.

— К кустам, к кустам... — кричал Марченко.

Вертясь в волчке, нельзя понять, где остров, где берег. Я стремилась к острову, а меня несло вдоль реки, и кусты были далеко.

Крутит в потоке, затягивает в глубину, сапоги и ватник тянут камнем... Затопленные кусты, и я ловлю их, а в руках все обрывки веток, и меня несет мимо, и наконец-то... р-раз — цепляюсь...

Вот она — стихия воды, но уже другая, не та, что в моем «заповеднике», не прирученная, не изнемогшая под землей, а свободная, рвущая эту землю в клочья, несущая куда ей вздумается и где-то создающая из нее же ее лик и твердь. Там, в источниках, была тихая жизнь ее «нугра», там можно было внять ее душе. Присматриваться к радости освобождения.

Здесь мы снесены разгулом ее стихии, гигантской и независимой. Как песчинки, несла нас вода и собиралась где-то, когда утихнет энергия, выбросить, как те ненужные пучки трав и корней, что развешивала она по затопленным деревьям...

Я раздумываю об этом уже на берегу, в ожидании ребят. Где-то они выбрались? Марченко вылез почти одновременно со мной, он старался в воде держаться ближе, чтобы помочь. Но не знаю,

„Переплавы“

как можно было помочь, если бы это потребовалось. Марченко в войну был разведчиком. Его, наверно, не удивишь рекой. Хотя ему почти пятьдесят лет и он наполовину сед, военная закалка в нем осталась.

Перебраться дальше через второй рукав реки на правый берег не удалось: там нет кустов, не за что хвататься, и, пройдя треть брода, мы повернули обратно на остров. Надо возвращаться к оленям.

И опять круговорот, и опять в потоке несло вниз — на удачу или на беду, и вылезали мы где-то далеко ниже на гладкие широкие глыбы и на поваленные рекой лиственницы. Потом долго шли вверх до оленей. Сушились у костра не раздеваясь, только вылили из сапог воду. Собачка Макара, маленький голодный пес, вытянув морду и близко к нам не подходя, водила носом.

На всех у нас горсть гречки, ведро грибов и по маленькому ломтику колбасы. Дамка еды не просит. Свою собачонку Макар гонит прочь:

— Тшуйть, тшуйть...

— Ей надо что-то дать, Макар.

— Куда ее наливай будешь? Миска нет. Ее привык, может ягоды кушай. Иди, ягоды кушай! Тшуйть!..

Я кладу на траву горку вареных грибов. От гречки в воде только муть. Два кусочка сахара на всех все равно мало, и я отдаю их собакам.

— Сачем собак тавай, — ворчит Макар. — Ее не надо...

И он кричит своей собачонке по-якутски, показывая на кусты голубики. Собака, грустно помаргивая, смотрит, как мы хлебаем воду, и явно считает, что в мисках у нас нечто стоящее. Полизав предложенные грибы, она и в самом деле отправляется к кустикам голубики. Потешно встав на задние лапы и громко шелкая зубами, хватая ягоды, но, не удержавшись, падает на куст, обхватывая его передними лапами. Приглядевшись, ее примеру последовала и Дамка.

Время идет, и впереди у нас трудность на трудности... В жизни, наверно, надо поступать, как в математике — величины с плюсами и минусами сокращать. Тогда из всех сложностей останется единственный знак — пусть даже минус (с одним-то справиться легче!), а вдруг — и плюс! Оглянувшись назад и произведя несложные арифметические действия, я решила, что дела не так плохи и пора искать новые броды.

Но перешли мы реку только на другой день и с третьего захода...

Наконец добрались до Чульмана. Здесь рассчитала своих рабочих. Женя уехал домой.



Интерлюдия

Осень ярка, тепла и благоуханна. Вдоль улиц Алдана летит белесая пыль, как и везде на дорогах Якутии. Деревянные лестницы спускают пешеходов с одной улочки на другую по зеленому крутому склону долины.

В гостиной маленького дома, где я живу, от пола до потолка трехступенчатые соломенные вазоны с геранью и лилиями. Вазоны стоят вдоль стен, как гвардейцы в мундирах. Я пишу отчет, лечусь и немного отдыхаю.

Алданский ресторан призван в этой столице алданского края приводить в надлежащую форму оголодавших таежных искателей всех толков, соскучившихся по белым скатертям, кулебякам и общению с коллегами. Деревянный, одноэтажный, с тонкими колоннами и ажурными наличниками.

Из ресторана после обеда обычно никто не уходит — каждому есть чем поделиться. Почти у всех были какие-то события, случаи, удачи, невезения. У кого перевернулась лодка и погибло почти все имущество и дневники, у кого пропал олень, зато какой-то отряд нашел новое месторождение.

Как-то засидевшись в ресторане, вспомнили мы вдруг, что находимся в краю горячий, когда-то золотой лихорадки — на бывшем прииске Незаметном. И хотя сейчас нет в нем и следа той экзотики, о которой рассказывал мне в вагоне Локшин, ни китайских фонарей, ни верблюдов, ни игорных домов, но все же памятные это места. Золото давно здесь отмыто, отвалы заросли травой, на них теперь улицы с домами, банки, сберкассы, и вот, пожалуйста, — ресторан.

Кто-то сказал:

— Да, золотая лихорадка была! Вот вам — термин медицинский, а широко захватил разные стороны жизни. Сколько кто лихорадок знает, давайте считать, а ну?..

— Любовная, — сказал техник Був.

— Предстартовая, спортивная!.. — в один голос крикнули любители соревнований.

— Творческая. Ожидания. Нетерпения.

— Экзаменационная, — сказала Галя, коллектор Петрова.

Больше никто вспомнить не мог.

— Кто вспомнит еще какую-нибудь, заказываю две порции песочников! — воскликнул Петров.

Песочники — фирменное блюдо ресторана. Всегда свежие, с кофе, они — одна из причин влечения к этому месту.

— Легко распусться на таких харчах. Сменишь ходкую свою поджарость на сытую рыхлость дачников. Хорошо, что отчеты наши предварительные, а значит, короткие...

Мы хвалим песочники вслух — такие в детстве пекли наши бабушки. Но ни одной новой лихорадки вспомнить не можем.

— Шеф-повар сам песочники делает, — говорит значительно официантка.

За буфетной стойкой, шлифуя движения и улыбки, командует полная брюнетка. Когда за ее спиной возникает длинный молодой человек в белом халате и колпаке, Марченко говорит:

— Вот, наверное, и шеф.

Шеф молод, сероглаз и привлекателен.

— Ничего парень, — говорит Петров. — Прямо на флот.

Петров тучен, хотя и не стар, и стройность других — большое его место. Кто-то из наших приветливо машет рукой шефу, и тот с достоинством наклоняет голову. Буфетчица разливает вино, кокетничает с шефом перед нашими мужчинами и с нашими перед шефом. А шеф, вырвавшись из заплитного затворничества, отдыхает в зале, с народом. Он внимательно к нам присматривается.

— Нос великоват, — говорю я. — А в остальном неплох.

Не думала я тогда, разглядывая шефа, что скоро судьба приведет его ко мне в Чульман, и надолго.



Дома, в Якутске

У меня традиция — возвращаясь из экспедиции, я на три дня, как в воду, погружаюсь в круглосуточный отдых. Это для меня вроде барокамеры — переход к оседлой жизни. Привожу из города продукты, готовлю на три дня обед, покупаю бидон молока, иду в баню, а потом ложусь спать. Три дня сплю и ем. Просыпаюсь — в окне то свет, то тьма, и это мне безразлично. Постепенно наступает успокоение и восстанавливаются силы.

Банька в землянке против моих окон, метрах в тридцати: спинка горбом, на горбе под ветром шевелится костяная от холода желтая трава. Два глаза-оконца, перламутрово-огненные от гаснущего солнца, на самой земле. Вход по ступенькам вниз.

Предбанничек и банька с белым скобленным полом маленькие и чистенькие, как старушки в старых избах под иконой. В баньке чуть выше пола — длинная чугунная кладбищенская плита. На плите наверху начертан крест, под крестом сверху вниз завихрастая славянская вязь:

Здесь лежит успокоенно
Петр Сидоров, сын Семенов,
Землицы ногами довольно поправши,
Всего человеку богом данного
Вкусивши, до большой старости
Доживши, из мира ушел,
Не жалея о нем.

Кто хочет париться, тот льет ковшом воду из бочки на надгробье и на эту истою прочувствовавшую надпись и забирается наверх, на полочку...

Наша контора — так называем мы свою научную станцию — длинное, деревянное, как обычно говорят, П-образное здание. Я бы сказала, что по форме в плане оно напоминает лежащую спиной к нам таксу с короткими лапами. В этих «лапах» — лаборатория и библиотека, в «спинке» — наши кабинеты, кабинеты начальства и канцелярия, а в «брюшке» — большой зал для совещаний, собраний, праздников и кино. «Лапы» «таксы» в соснах, между соснами низинки с лиловыми ирисами летом, а зимой сугробы и дальше лес. В зале пианино, и по вечерам, когда кончается работа, я иногда играю.

Наш Сергелях в семи километрах от Якутска, в дачной местности. Домики научно-исследовательской станции, или «мерзлотки», как ее все называют, рассыпаны среди сосновых деревьев на левобережной террасе Лены.

В Париже силуэт города и непосредственного его окружения создает знаменитая Эйфелева башня. Сначала ее, как известно, бранили, хулили, даже хотели сносить, потом к ней привыкли, а теперь не мыслят без нее Парижа. Роль Эйфелевой башни на станции играет высокая буровая вышка с башней, обшитая досками. Стоит она одиноко в середине огромной нашей почти пустынной территории (на ней всего пять-шесть домиков), обнесенной забором. Она видна издали и создает своеобразный профиль Сергеляха. От времени, ветра и дождей дерево вышки стало серым, и она приобрела привлекательный ореол старины.

Но вышка еще и символ человеческого упорства и торжества: из скважины, что под ней, с глубины почти в триста метров, в тысяча девятьсот сорок втором году впервые в Стране мерзлоты получили подмерзлотную воду. Вода оказалась щелочной, содовой, с большим содержанием фтора, неприятна на вкус и для питья, к сожалению, непригодна. Но она добыта там, где было столько неудачных попыток!

Достопримечательность города Якутска — это известная всем Шергинская шахта. Еще в тридцатые годы прошлого века купец Федор Шергин, сотрудник Русско-Американской компании, в поисках воды вырыл эту шахту глубиной сто шестнадцать метров.

Всю мерзлоту не прошли и воду не получили. Шергин разорился, вложив в разведку много своих денег. На глубине двенадцати метров температура горных пород оказалась равной минус четырем градусам, и такой она держится до сих пор. Как глубоко лежал заветный пол градуса и была ли там глубже вода — никто не знал. А через сто лет вот здесь, в Сергеляхе, была наконец вскрыта напорная артезианская вода. Вода поднялась по скважине вверх и только на восемьдесят метров не дошла до поверхности земли.

Рекой Леной для водоснабжения города тогда воспользоваться не удалось — река прихотливо меняет русло. В самом Якутске прошли вторую глубокую скважину. Эта вода оказалась намного лучше, хотя имела минерализацию более высокую, чем обычная питьевая, но за неимением другой ее пришлось пить. Летом эту воду нам на станцию доставляют в цистернах, а зимой возят с Лены лед.

«Вы богачи, пьете чай чуть не на боржоме, минеральной водой запросто умываетесь», — говорят приезжие, из тех, что едут дальше и, значит, воду эту им долго не пить. Но дорогого гостя мы и летом поим чаем из воды ледовой. Где-то в подполье «научного подземелья» хранится летом контрабандой (не разрешается) несколько голубых льдин.

Когда ко мне заходит выпить чаю мой приятель Адриан, приложивший руку к добыванию этой подмерзлотной воды, я иногда (зачем мучить человека) умильно спрашиваю:

— Тебе из какой воды чаю — из вашей или ледовой?

Охаивание подмерзлотной якутской воды — это личный выпад, святотатство, поэтому, пытаясь пронзить меня из-под очков укором голубых глаз, он бормочет в черную бороду:

— Из нашей, из нашей, конечно (я уверена, сам думает: «Язва, знает, что спрашивать не надо»)...

Якутский артезианский бассейн оказался одним из обширнейших в мире, хотя воды в нем и подмерзлотные!

Сейчас уже многое изменилось и в городе, и в Сергеляхе. Вышку снесли, а жал, потому что она была как бы символом начала, глубокой разведки таинственных ледяных недр. Это история.

Теперь в Сергеляхе институт. Наша мерзлотная станция Института мерзлотоведения Академии наук СССР в Москве, созданная в далеком тысяча девятьсот тридцать восьмом году Михаилом Ивановичем Сумгиным — основоположником нашей науки мерзлотоведения (или геокриологии), была потом преобразована в его отделение, а затем в самостоятельный Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук. В институте

большие кабинеты и залы, где проводятся теперь и международные конференции.

На территории бывшей станции сейчас стоят дома со всеми удобствами, перед фасадом четырехэтажного дома института возвышается скульптура рыжеволосого мамонта, и молдожены приезжают перед ним фотографироваться. Не знаю, что, по их мнению, символизирует образ ископаемого животного, пролежавшего в ледяной земле десятки тысяч лет в сохранности, — длительность ли счастья в супружестве или желательную тишину страстей? Из лужи у вышки сделали пруд, у пруда, как и полагается, висит запретная табличка для любителей купания.

И Якутск стал совсем другим. Но тем временам, о которых пишу я, отвечает другой Якутск — деревянный, одно-, двухэтажный, с невероятной пылью грунтовых дорог окраин, с базаром, где в мясных рядах продавали и конину, со столами, заваленными зимой кругами мороженого молока (оттают — сливки!), с мешками, из которых стаканами, как семечки в Москве, продавали мороженую бруснику, с магазинами, где всегда имелась ряпушка и нельма, муксун и чир и даже стерлядь. Из брусники всю зиму варили варенье: зальешь ягоды водой — и каждая вмиг скрывается в ледяной капсуле. Варили и ликер на спирту — вино в город не завозили.

Якутск тогда — это трехсотлетние толстостенные склады-лабазы времен первых казаков, строивших острог, очень старая деревянная башня, деревянные тротуары и торцовая мостовая; единственное кирпичное здание — старинная городская библиотека.

Были в городе, конечно, и все нужные правительственные учреждения, и великолепное здание русского театра, тоже деревянное, какого-то густо-медового цвета с деревянными же колоннами, и оригинальный якутский театр и музей, и ресторан «Северный», и все то, что положено иметь столице главного и обширного вечномерзлотного края.

Науку солидно представлял Якутский филиал Академии наук с Институтом геологии, Институтом языка и литературы, Институтом этнографии и другими и даже с казавшейся тогда загадочной Станцией космических лучей...

Основные наши научные мерзлотные работы ведутся в подземных лабораториях: широкая лестница вниз, на глубину двадцати метров, коридор в мерзлых стенах, покрытых мелкой изморозью, как россыпью алмазной пыли. По сторонам коридора ниши и кабинеты-лаборатории. В жару там работают в ватных костюмах, меховых шапках и валенках — температура круглый год держится минус четыре градуса.

Лаборатории физико-химические, геофизические, инженерные. Здесь изучают историю формирования мерзлых толщ, влияние холода на те или иные вещества, на физико-химические процессы и реакции, на изменения фазового состояния воды в различных грунтах.

Получают и основные физические и механические характеристики мерзлых пород, выясняют характер прохождения разных типов волн через мерзлую среду, исследуют структуру мерзлых пород и льдов, определяют их возраст. Сюда можно привезти и сохранить для исследования найденные в любом районе Страны мерзлоты останки животных, вымерших десятки тысяч лет назад: мамонтов, шерстистых носорогов и все, что заслуживает интереса и внимания ученых. Прессы, приборы, шлифовальные столики, поляризационные микроскопы...



Сергеляхские зимы

Зимние месяцы в Якутске ярки и солнечны, но очень короток день: светает в десять, темнеет в три. Без пяти одиннадцать точно и неизменно, над снежным бугром, что между нашими окнами и вышкой, в косых лучах решетчатого от деревьев солнца появляется верхушка дуги, лошадиные уши и усердно кивающая голова небольшой черной лошади. Лошадка рысью одолевает холм и появляется у крыльца в густом белом инее. Из саней, отбросив теплую полость, вываливается почтальон с тяжелой сумкой на бедре. И все бегут в канцелярию, а там письма, письма, приветы и поцелуи, и кажется, что родные лица — рядом...

У меня хорошая теплая комната с итальянским окном. В окне тройные стекла, а вместо форточки под потолком в стенке дырка, открытая круглые сутки. Из дырки, завихряясь белой струйкой, слетает вниз ледяной парок и где-то по дороге рассеивается. Только в очень лютые морозы мы с Никитой Осиповичем, моим соседом по квартире, закрываем ее.

В комнате есть предмет, который я называю «моя радость». Это громадная голландская печь с топкой из коридора. Представить себе ее облик очень просто: впечатление, что в комнату задом въехал большой крытый грузовик и остановился. Печка побелена. Топить ее достаточно один раз в сутки. Она создает уют и обеспечивает мне горячее водоснабжение: вплотную к ней на стене висит простой эмалированный рукомыльник, и вода в нем на-

гревается чуть ли не до кипения — только доливай. Я, конечно, не ставлю в укор своей печке, что под кроватью на стене у пола зимой постоянно живет слой пушистого снега. Подкроватное пространство печке не одолеть — оно внизу.

Обстановка в комнате экспедиционная — раскладная кровать, топчак, покрытый пышным двойным спальным мешком из собачьих шкур, выючные ящики у печки для приема гостей и, как уступка стабильности жизни, стол, вешалка, стулья и шторы на окнах. Зеленые выючные ящики напоминают тайгу.

Но зимой мы «сергеляхские пленники», горожане же пользуются всеми благами местной цивилизации. Изредка выезжаем мы в город сообщая — в театр, на базар, на вечера в Филиал, куда нас постоянно и неизменно приглашают.

В городе зимой от мороза на улицах стоит густой туман, плотный, как стена, и в то же время пронизываемый — как в сказке, видишь стену, но идешь сквозь нее, и она отступает при твоём движении. Света фар хватает на метр, куда едешь, не знаешь. Машина гудит и ползет медленнее пешехода. По тротуару в таком тумане идешь как слепая, протянув перед собой руку. А у нас в Сергеляхе в это время ясно — в городе много влаги и материализуется она там вот так.

Беда нашей жизни зимой — нехватка кислорода и движения. Уже проектируют на севере города под крышами — там жить будет легче. Но проблема эта общая, только у нас она острее. Где бы ни жил человек, на всех широтах и в любом климате, всю огромную информацию для работы он должен получать сидя. И так же сидя вынужден отдавать в общую копилку людям свою дань — мысли, идеи, творчество. Какой же выход? Вероятно, он появится тогда, когда будут усовершенствованы человеческие способности восприятия знаний и получены новые методы обработки информации и передачи ее друг другу.

Но зато у нас есть и свои прелести — северное сияние (правда, редкое), «шепот звезд» и кое-что еще. Чтобы услышать «шепот звезд», надо в сильный мороз ночью тихо стоять под ними и слушать — шуршат кристаллы льда, что рождаются в воздухе от влаги дыхания.

И вот однажды — северное сияние. Никита стучит в дверь:

— Скорее на улицу, северное сияние!

Кто-то невероятно высоко показывал световые фокусы, потом развешивал по небу трепещущие текущие ткани. Цветистая глубина вздрагивала незнакомого таинственной дрожью. Небо разгоралось и гасло, бело-зеленое переливалось в розово-красное. Казалось, если хорошо вслушаться, то должна сверху поливаться тихая, немислимо прекрасная музыка.

Уже много позже я узнала, что северное сияние, оказывается, в самом деле имеет свой голос, правда, он не нежен и скорее схож с грохотанием сверхзвукового самолета. Оказалось, что и поро- ды Луны «звучат как церковный колокол». Значит, не зря гово- рили люди о музыке сфер! Может, скоро в самом деле услышим мы «полет планет», как об этом писал Блок?

Яркие всполохи света показали необъятную глубину неба. От- крылся и наш заснеженный простор, и прижатые к земле домики, и черные фигурки людей.

Жизнью у нас зимой правят два главных бога, требующие жертв, — печка и вода. С печкой проще. Если заготовить с осени дров, тогда только таскать и топить. А вода... Вода — это лед, нежно-голубой, чуть зеленоватый, таинственно поблескивающий в отколе, — лед реки Лены.

Чтобы получить этот чудесный лед, его надо выписать в бух- галтерии, оплатить как простые дрова — и его, и машину. В на- значенный день его равнодушно свалят около дома, там, где ука- жешь. Пройдут дни, небо засыплет все легким белым, невесомым пухом, и однажды вдруг увидишь, что у тебя под окнами лежит гигантская неждущая птица, может упавшая от страшного моро- за во время непонятного своего перелета. Откуда? Куда? В раз- рывах пуха тут и там рассмотришь во множестве светящиеся, чуть потускневшие зеленовато-голубые глаза.

Потом снег ложится гуще. Сказка кончается, происходит пре- вращение необыкновенной птицы в обычную грудку льда. Тогда я решаюсь подступиться к ней со своими нуждами. Я выкалываю лед топором — на страшном морозе глыбы смерзлись и тверды, как камень, иногда и топор не берет. Таскаю глыбы в кухню. Если взять их без рукавиц, кожа останется на глыбе.

Воспряла я духом, когда заботы о воде и льде взял на себя наш сторож.

Но есть у нас и еще одна забота — это продукты. Станцион- ная машина — для начальства. Подбросят в одну сторону — хо- рошо, в обе — прекрасно. До пятидесяти шести градусов я ходила в город пешком.

Однажды на пути в город едва не замерзла в километре от жилья. Дома метеослужбы уже остались позади, а до окраины города было еще далеко. На снежной равнине вокруг, как на ма- кете в Музее этнографии, виднелись разбросанные глиняные якут- ские и корейские юрты с наклонными стенками и с льдинками или ситцем вместо стекол. Откуда-то из-за высоких мачт метео- станции неожиданно вывернулась напористая струя ветра.

Я промерзла до костей и поняла, что это не просто слова. Ощущение катастрофы росло. Я попыталась бежать — поздно, похоже, что легкие заполнил тяжелый лед. Бросила на землю сумки и, задержав вдох, каменными руками стала тереть колени, руки и твердое, словно чужое, лицо. Ресницы накрепко срослись с обледеневшим шарфом, и я почти ничего не видела. Остро по- няла, как гибли полярные путешественники, не дойдя ста метров до человеческого жилья. И подумала еще: а сколько людей, мо- жет быть, гибнет или страдает, не дойдя двух шагов до нашего участия...

Как и должно быть, в крайние минуты появились особые си- лы, не предусмотренные на каждый день, и я добралась до ближ- него дома.

Проще и приятнее, когда в город можно ездить на Машке. Машка — это милое, умное, мудрое, терпеливое и великодушное существо. Пусть, как говорят, будет ей земля пухом, хотя она и лошади! Она навсегда осталась в памяти неразрывно с моей и нашей общей виной перед ней, как и всех людей перед домашни- ми животными.

В свирепый мороз Машка возила нас в город, в филиал Ака- демии наук, где были дела. Выезды в якутский «свет» были для нас единственными отдушинами интеллектуального общения сре- ди сергеляхской отсидки. Машка стояла, привязанная во дворе, и я мучилась, сокращала беседы и многое оставляла до другого раза.

— А почему нельзя покрывать Машку попоной? — спраши- ваю я Никиту (мысленно я всегда зову его так), он мой постоян- ный спутник по поездкам в город.

— Уфы! — говорит он. — Это восклицание да еще иногда не- большая шепелявость при выражении удовольствия — единствен- ное, что отличает его произношение якута от нашего (учился он в Москве и по-русски говорит, как мы). — Крадут попоны, два раза крали, не наготовишься.

Меня мало утешает мысль, что доля всех якутских лошадей — мерзнуть в ожидании своих хозяев. Никто их не накрывает и в голову такого не берет, а ведь они так же, как мы, переохлаж- даются, простуживаются и болеют, а человек и не знает, когда они больны, запрягает их и погоняет...

Мы выходим из филиала. Машка, обросшая инеем, поворачи- вает голову и продолжительно ржет. В этом ржании и жалоба, и укоризна, и радость чуть ли не на грани безнадежности — нако- нец-то! А чужим навстречу не ржет. И сколько раз она напрас- но поворачивала голову за те час-два ожидания — ведь двери

филиала хлопают непрерывно. Но долго задерживаемся мы крайне редко.

С Никитой ездить хорошо. Он спокоен, добр, хозяйствен, внимателен. Правит Машкой, помнит, куда и когда нам обязательно надо заехать. Придумает еще какой-нибудь нужный и приятный заезд и побережет это как сюрприз. А скажешь радостно: «Вот хорошо-то, вот спасибо-то!» Он только смущенно и довольно улыбнется и, чуть шепелявя, пробормочет:

— Ну, ну, всё твоё...

В солнечные воскресенья по розовым снегам к крыльцу нашего дома подкатывают двое-трое саней. В каждом — пара небольших якутских лошадок в снежных кудрях. От лошадок — пар. Якуты привезли из района мороженую свинину и говядину. Вваливаются, весело балагурия по-якутски.

— Хозяйка, мяса бери, мяса нушна, бери мяса. Свинина бери...

Втаскивают тяжелые мешки. От мешков несет космическим холодом. Холод растекается по полу, заливая ноги. Приезжают якуты к нам первыми, потому что тут живет Никита Осипович — якут, научный сотрудник станции. Никита идет за деньгами, и я что-то весело кричу ему вслед.

— Нельзя его так киричать, — осудительно говорит якут, кивая вслед Никите, — он тойон...

«Тойон» раньше означало «барин», «господин», а теперь такое обращение — знак уважения. Конечно, Никита — тойон, а я — только женщина.

По воскресеньям мы с Никитой иногда ездим в город на базар. Однажды Машка, уже запряженная в сани, стояла привязанная к столбу у крыльца. Взяли сумки, мешки. На улице было очень холодно.

— Подожди, — говорит Никита. Мы с ним то на «ты», то на «вы». — Я возьму вам тулупчик, я-то в колушке.

Натягиваю тулупчик на свое пальто, садимся в сани — не влезает, сиденье нам узко.

— Утрясемся, — предлагает Никита благодушно.

Утрясываемся.

— Всё, всё, — подбадривает он, подпрыгивая и втискиваясь поглубже.

— Поехали, — говорю я. Он молчит и тихо смеется.

— Машка-то привязана.

Никита дергается раз и два, вылезти не может. Улыбается:

— Юфь. Вот всё...

— Давай я, я легче...

Рвусь и я изо всех сил — не могу. В окно стучит Людмила,

жена Никиты. Она почти лежит на подоконнике: ясно — все видела, предвкушала удовольствие. Людмила выбегает и отвязывает Машку...

По хозяйству мне стала помогать наша уборщица Катя. Маленькая, худенькая, тихая, немолодая, всегда в длинноватом платье, с узким и темным лицом и небольшими кристалликами очень светлых глаз. Катя сахаларка — русская с примесью якутской крови. Муж работает рядом сторожем, дома пять взрослых дочерей. Теперь прихожу с работы — чисто, тепло, обед... То есть должен быть обед. Но медлительна Катя необыкновенно. То, что я могу сделать за двадцать минут, Катя делает два часа. Это натура, характер и своего рода искусство. Катя многое недоделывает, потом, увидев, почти как-то даже радостно удивляется, неспеша, спокойно возвращается к оставленному, кое-что вообще забывает и никогда от этого не огорчается. Она ровна, приветлива, спокойна и улыбочива.

— Да-а-а, я и забы-ла, а оно тут и лежи-ит, а ду-у-ма-ла я кончила-а-а... — говорит она, безмятежно растягивая каждое слово, и переливает интонациями вверх-вниз.

Я никогда ее не тороплю, ни в чем не упрекаю, не возмущаюсь — пусть человек будет таким, какой он есть.

— У вас крепкие нервы, — говорит Людмила.

После каждой стирки недостает одного чулка или пары. Катя честная, и я уверена, что она выплескивает их с водой.

— Ка-а-к, опя-ать не-ету? — искренне удивляется Катя. — А я вро-оде их ви-и-дела вчера...

Людмила ухмыляется. Смеяться при Кате мы не решаемся — она может обидеться.

Как-то мне привезли в подарок свежих карасей. Здесь я их не видела. Идя с работы, предвкушаю удовольствие. Катя обычно обедает со мной. В теплой комнате вымыт пол, пахнет уютом и чистотой. Катя что-то доделывает, стоя ко мне спиной, и приветливо здоровается.

— Как караси, Катя?

— Караси-и? Хорошо-о-о... сейчас есть будем.

Черные брусочки на сковородке меня настораживают. Подозрительно толстые, пахнут неаппетитно.

— Катя, вы их не чистили?!

— Не-ет, — радостно подтверждает она, не оборачиваясь.

— Значит... и внутренности... там?

— А ка-ак же, ка-ак же, ко-онечно та-а-м... и она поворачивает ко мне довольное лицо.

Приготовила она карасей по-якутски. Конечно, их я не попробовала...

Живя здесь, мы заимствуем кое-что хорошее из века минувшего — пишем пространные письма. Наш двадцатый век сильно отличается от века девятнадцатого не только высоким уровнем техники и открытыми наукой чудесами, мы не только приобрели, мы многое и потеряли. Тогда говорили: тот день пропащий, когда ты не узнал что-то новое. Человек, читая газеты, книги и письма (а писали их тогда друг другу чуть ли не каждый день и даже соседям по дому!), общаясь с друзьями, все внутренне перерабатывал, анализировал и часто излагал свои впечатления и мысли в письмах. Эпистолярное общение процветало.

Теперь, особенно в городе, все преимущественно слушают и смотрят. Свои мысли высказывают обычно друзьям по телефону, и то при случае. Как в море ил, все оседает на дне человеческого существа, а отношение к увиденному и услышанному не успевает родиться. Каждый день пропащий, когда некогда задуматься.

А вот здесь все имеют возможность предаться раздумьям и размышлениям и вернуться в эпистолярный девятнадцатый.

Иногда поздно вечером, почти ночью, я выхожу на крыльцо — хоть немного вдохнуть обжигающего воздуха. Полыхают звезды, дымится небо, перелоясанное полосой Млечного пути. Иногда светит медная Луна, будто надраенная матросом-новобранцем. За смутно мерцающими снегами, на черном фоне леса, как огоньки близкой деревни, светят окна конторы — кто-нибудь всегда сидит там, пишет отчет или письма домой — каждый в своем кабинете.

Очень ясно в такие минуты на Земле. Очень тихо и очень одиноко.

В марте, если я еще не в экспедиции, что редко, а на термометре уже только минус тридцать, я становлюсь на лыжи. По сверкающему насту, по холмам, затвердевшим под зимними ветрами, в снежные леса! Со встречных сосен вслед за мной слетает легчайшая белая кисея и закручивается крылатыми шлейфами. За пять минут добегаю до «своего» дерева. Прихотливо изогнув толстые сучья, низкорослая сосна создала удобное раскидистое кресло со спинкой. На нем можно посидеть, сбросив лыжи. А летом или осенью в нем хорошо читать, думать и слушать перекличку кукушек.

Весна в Сергеляхе пленительна. Густо цветет шиповник, боярышник, среди перелесков синеют озера молодых ирисов. Невысокие сосенки покрываются мягкими буро-красными шишечками, лиственницы выбрасывают свои юные метелки-свечечки. Идя к соседу, можно наблюдать, как нахальные кукушки-отцы, раздвывая перья и неистово кукуя, подпрыгивают ближе и ближе к гнездам птиц, где задумано вырастить дитя, а сейчас дать воз-

можность подруге положить яйцо. Наступательные подскоки сопровождаются наглыми «ку-ку...ко! ку-ку...ку». Хозяйка, не выдержав, улетает.

Белыми июньскими ночами, когда перед сенокосом приходит якутский праздник ысыах, с Чучур-Мурана (коренного берега Лены), что виднеется вдалеке над лесом и кажется грядой невысоких гор, почти до утра слышится хоровое пение якутской молодежи.

Наверное, Якутия — единственное место в мире, где слова начинаются на букву «ы». Когда я, года за два до этого, застряла в бестелеграфной глуши хребта Джугджур, мама, получив наконец в Москве мои телеграммы из Ыныкчана, волнуясь, добивалась истины у почтальона — не может быть такого места, что начинается на «ы»! Успокоение дала карта — таежный Ыныкчан был на карте.

Летом работники станции в экспедициях — на Яне, Индигирке, в устье Лены, на Лено-Амгинском междуречье. Я самая ранняя птаха — выезжаю в конце зимы, приезжаю же позже всех. Без меня Якутск богатеет дарами теплых верховий Лены — смородиной, луком, морковью и всем тем, что можно успеть завезти на ленских пароходах. Но конечно, Никита запасает для меня мешок кочанной капусты, он же зовет Катю, чтобы к приезду был вымыт мой кабинет, убрана и протоплена комната в нашем доме.



Под Новый год

Были у меня разные кануны — как у всех, кто хотел в это время попасть домой в Москву — на морозных аэродромах Красноярска, Усть-Илимска, Витима или Олекмы. В гостиницах, в маленьких тихих домиках, где потрескивали голубые изразцовые печки, или в холодных дачах, потонувших в заиндевевших лесах вблизи аэродрома. В морозы свыше пятидесяти шести градусов самолеты не вылетали, и каждое утро на рассвете мы ходили на аэродром, надеясь на счастье.

Потом были поезда — предновогодние, взбудораженные, полные ожидания — по Транссибирской на запад ехали опаздывающие и опоздавшие. Неудачники поднимали настроение как могли. Ресторан перевыполнял план. Все это было, конечно, не самое худшее в жизни — должно же было что-то не особенно приятное случаться, но в запасе у всех был еще старый Новый год.

У русских людей всегда в запасе есть что-нибудь «старое» или «по-старому». Старый стиль — история. И безобидно и ненавязчиво, против всего мира, следуют за нами старый Новый год, рождество, масленица. Какой русский, будь он хоть самый-рас-самый «ответственный и передовой», не воспользуется случаем и, оговорившись шуткой, не выищет что-нибудь «старое», если опоздал на «новое»! Плохо ли — успеть по-старому на елку, на блины, на куличи. А кому хочется лета, то тому и осень не в осень — по-старому-то еще август!

В этот канун Нового года я осталась в Якутске — отчет не закончен, мороз под шестьдесят. С кем встречу Новый год? Зайду к кому-нибудь из соседей. Но, кажется, все уехали к родственникам.

Кто-то стукнул в сених, ввалился сторож из конторы: «К теплону, милая...»

— Не Москва ли?

— Да вроде не верещит.

Скрипел снег, искрился на дровах под окнами в желтом свете. По утоптанной тропинке пришла к лампочке над дверью. В теплом коридоре, полутемном и непривычно уютном, надрылась телефонная трубка. В трубке что-то решали, кого-то вызывали, мое имя переплеталось с номером такси и справочной аэродрома. Я отозвалась. Загудел, почти запел знакомый баритон:

— Можно ли к вам в ночь новогоднюю, в ночь морозную, одичалую?!

— Ганычев, вы не уехали? Конечно, можно.

— Трех неудачников замерзающих, почти с полета, едва приземлившись, примете?

— Приму.

Еще только четыре часа, но темнота зимняя. Приехали из города на такси: ленинградец Сергей Буеров из экспедиции на Индигирке, старый знакомый, застрял в пути; его друг, якутанин, здешний, геофизик Ганычев и наш общий приятель Кудовой — москвич из Геологического управления. С аэродрома Буеров и Кудовой приехали к Ганычеву и решили, что хорошо бы махнуть ко мне.

И вот одинокое предновогодье осветилось дружеским светом. Они еще и между собой не успели наговориться, а тут еще я, тоже после экспедиции, и впереди у всех Москва, а значит, и планы. Часа полтора наперебой радовались и огорчались: работа кончена — хорошо, самолеты не летают — плохо, дома ждут — хорошо и нет худа без добра — собрались мы. Ожидая их, я приготовила обед из своих запасов, они выложили все, что нашли в якутских магазинах.

Когда наговорились, Сергей Буеров встал, потянулся по любимой своей, не очень мной одобряемой, привычке, поднялся на цыпочки и, щуря синие глаза, сказал:

— Все горячее обговорили, а время есть. Давайте повспоминаем, друзья, поделимся сокровенным, каждый чем хочет, мы же исследователи как-никак! Собрались случайно, мне вот хочется узнать, кто чем дышит или дышал. А то все в водовороте — работа, планы, отчеты. Передохнем в предновогодье...

Ганычев — плечи тяжеловеса, круглая голова в кудряшках, как у амура на картинах эпохи Возрождения, — встрепенулся. Такой большой «амур» в форме не то морской, не то горной. Се-вастьян, или Себастьян, как мы в шутку его звали, Кудовой (он охотно откликался и на Святого) сказал:

— Давай, Сергей, с тебя начнем.

Сергей вытянулся еще больше, широко взмахнул руками: плечи — косая сажень, руки — вразлет — так слетали с колоколен наши предки на самодельных крыльях.

— Ну, в общем, давайте поделимся друг с другом самым интересным, что пришлось увидеть каждому из нас здесь, в Стране мерзлоты. Что поразило. Пусть давно. Пусть вчера. В деле, конечно. Но начнем не с меня. Дорогу женщине.

— Я привыкла, когда трудно — мне дорогу.

Но трудно на этот раз не было. Моя печь-грузовичок полыхала как кратер, полный горячей лавы, — Катя натопила, чтобы завтра не приходить. Из дырки у потолка спускался пышный морозный хвостик. Я пригласила у печки на выючном ящике, гости расселись на «диване» из собачьих шкур и на кровати.

Я рассказала о тимптонских источниках, о великой стихии воды, и о том, как почувствовала я свое родство с ней.

Ганычев карандашом что-то писал на моей скатерти. Себастьян пытался его остановить. Ганычев рычал.

Сказала, что тимптонские источники самые крупные не только в Сибири, но и во всей Евразии, несмотря на то что они в вечной мерзлоте. Если, конечно, не считать источники карстовые.

— Почему не считать? Считай все, они же подземные.

— Разница. Карстовые — в известняках. Вода известняки растворяет, создает пещеры в десятки, в сотни километров длинной, и воде там просторно. Она может нестись ручьями и реками под землей, разливаться озерами. Пещеры «глотают» реки и снега их выбрасывают, какие же это источники? Карстовые реки — свободные реки. Это не вода-мученица, что пробивается с великими потерями сквозь мельчайшие поры и трещины в породах сотни и тысячи лет. А здесь, в мерзлоте, она еще и останавливается холдом.

Неожиданно перебил Сергей. Оказывается, он немного работал по карсту в вечной мерзлоте. Был сначала удивлен, что карст здесь есть. Но размытые водой полости редко бывают пусты, чаще в них глина или льды. Встречается карст и на большой глубине, то есть он там древний, начался давно, и процесс, видимо, идет до сих пор. Мне это было очень интересно.

— Извини, я перебил, — сказал Сергей.

— Карстовых источников в сотни литров воды в секунду и даже в тысячи, то есть уже кубометры в секунду, — множество. Даже здесь, в мерзлоте. Восточнее Тимптона есть источник Маркель, где в плоскую долину выносится целая река, что-то около трех-шести кубометров в секунду — зимой. А выше выходов — сухое ложе реки. Крупные карстовые источники есть на Урале, в Армении, в Средней Азии, в Китае, Турции, Японии. В Европе самые большие — в Болгарии, Франции и особенно в Югославии. Там они в двадцать-сорок и даже в шестьдесят кубометров в секунду. Теперь вы понимаете, почему я не сравниваю обычные источники с карстовыми?

Ганычев сказал, не отрываясь от подсчетов:

— У меня тут получились сумасшедшие цифры. Если тимптонские источники дают даже четыре куба в секунду, то это в сутки — триста пятьдесят тысяч!

Ганычева потрясло совсем не то, что меня на Тимптоне.

— Это же дикое расточительство природы! — почти кричал он. — Пятьсот тысяч кубов в сутки! Ведь так к чертовой бабушке скоро опорожнится весь Чуйманский артезианский бассейн. Надо прикрыть их, эти источники, забетонировать что ли. Пусть сидит эта вольнолюбивая вода, пока она нам не потребуется. Ведь тут БАМ скоро пройдет, а ресурсы самого необходимого, нужного полезного ископаемого — воды истощатся... И это здесь, в вечной мерзлоте, где каждая капля драгоценна...

Севастьян хохотал, Сергей улыбался и трогал лоб Ганычева.

— Дорогой, ты сейчас нам расскажешь из своей жизни что-нибудь высокое, умиротворенное и придешь в себя...

Ганычев сердито отбросил руку Сергея и обратился ко мне:

— Вы мне скажите, есть ли еще такие же источники вроде этих — расточительных?

— Есть, конечно. Вот, например, на Моме, притоке Индигирки, источники Улахан-Тарын создают самую большую в мире Момскую наледь, свыше ста квадратных километров и изливают из недр по нескольку кубов воды в секунду. Поменьше есть на самой Индигирке, на Куйдусуне, Кыре, в долинах хребтов Черского, на Большом Аное, а мерзлота там в сотни метров, но разломы, трещины, вода выходит глубинная, подмерзлотная,

верная — не подведет, не промерзнет! Источников же в десятки литров в секунду много и здесь, на Алдане, в моих таблицах записаны... А ведь территория-то какая — равная Европе! Но огромные пространства на ней есть и совсем без воды.

Ганычев перестал задавать вопросы только тогда, когда Сергей пододвинул стул к печке, чтобы всех видеть, и начал рассказывать.

— Мы работали тогда на северном побережье между Индигиркой и Колымой. Вдвоем с приятелем моим Кешкой, вы его знаете, он геолог-поисковик, отправил нас начальник экспедиции на обследование трех небольших речушек — дать сведения о проходимости их для катеров и судов с малой осадкой. Дали нам пару оленей для вьюков, сами за ними пехом и рюкзаками за спиной. Двух рабочих взяли. Шли по самому берегу, тундра летом почти непроходима, равнина, сток мал, под ногами земля в трещинах от мороза, вдоль трещин какие-то валики, как расчерченные, между валиками вода. Тепла солнечного мало, все идет на испарение. Устья речек расползаются беспредельно, теряются в болотах и озерах, а озер без счету.

Продрались сквозь все топи. И вот входим однажды в узкую долину, темнеет, и вдруг ливень, да какой! Быстро перешли вброд речку, надвинулась ночь. В темноте заметили — берега высокие, как стены. Поставили палатку кое-как, поели холодных консервов, влезли в мешки и — как в пропасть — заснули.

А ночью проснулся я, смотрю — снаружи, сквозь палатку, как-то радужно-светло. Ребята спят. Вылез из палатки. Луна громадная. Прямо передо мной шевелится река, несет от нее свежестью. Глянул вверх — обмер. Усомнился, не сплю ли еще? Мир неральный, изумительный, непохожий ни на что из того, что видел. За рекой нечто высокое, сверкающее, недоступное. Искрящаяся, белая, какая-то перламутровая стена с черными тенями провалов. Как мы попали сюда? Вспомнил вход в долину, ливень, обрывы, палатку. Все правильно: белая стена не мираж, а реальность.

Стоял долго, потом продрог, влез в палатку, не спал. Лето, откуда же тут горы снега, льда? Здесь же не высокогорье, не три тысячи метров высоты, где ледники. Здесь низменность, почти уровень моря.

Встали поздно, и тут я разглядел все. Срез высокого берега, и почти сверху до низу, почти до самой воды в нем лед, а во льду сверху вниз небольшие промежутки — земля. Это то, что ночью показало мне тенями. Была стена днем не фантастична, но подавляла реальностью необыкновенного. С обрыва свешивались какие-то разорванные кусты, висели вниз ветвями. Над нами

тоже обрыв. Видно, речка разрезала что-то единое. Но с нашей стороны обрыв заплыл грязью, а на той стороне блистал, как ледник в горах Кавказа. Наверное, ночной ливень отмыл его, бил всю ночь в ту стену. Вот тогда я впервые столкнулся с тем, чего не понимал и чем восхитился.

Оказалось, это знаменитые ископаемые льды севера, их там много, растут они тысячелетиями в таких же трещинах, через которые мы бездумно шагали тогда со своими оленями: трескается земля и рисует этими трещинами на земле великолепную четырех-пятиугольную решетку. В трещины попадает вода, замерзает, и получаются ледяные жилы, клинья. Каждый год, тысячи лет, десятки тысяч — представьте только! Разрежь такую решетку вдоль ледяных клиньев, и увидишь сплошную стену льда. Разрежь поперек — увидишь клинья. Реки муть наносят, пойма растет вверх, и клинья растут тоже.

Стену замерили — почти тридцать метров высоты! Мы теперь многое знаем, но даже знакомое, увидев воочию, удивляет, ну а если неизвестное, таинственное, да впервой, а ты молод — сами понимаете!

Те льды так пленили меня, что подумал я: сколько же неизвестного, черт возьми, кроется в этой мерзлой земле? Так потом и оказалось: трупы животных — мамонтов, носорогов — тысячи лет хранит она нетленными в своем холодильнике. Это меня потрясло! Мамонт — прошлое в настоящем. Видишь шерсть, кости, мясо собаки жрут, а ведь бегал, ходил, питался сорок тысяч лет назад — до Вавилона, до Библии, до шумеров и фараонов. Человека, умершего сотни лет назад, мерзлота эта представляет твоим глазам почти как живого, и, наверно, еще немало других тайн бережет. Я и решил — к черту поиски россыпей. Буду отыскивать и изучать такие вот чудеса, удивляться сам и удивлять других.

Но, увы, не удалось. Никогда не говорил вам, что жалею об этом всегда.

Мы не молчали, мы утешали Сергея хором, что не ему жалеть, ему завидуют многие — они составляют новые, первые, единственные в своем роде карты, у них и сейсмика используется и магнитометрия и гравитационную съемку они ведут, а теперь еще применяют космические снимки, методы ядерно-физические и электрохимические...

Сергей улыбнулся, махнул рукой Севастьяну и закурил. Севастьян сказал:

— Что ты нас разжалобливаешь, будто мы тебя не знаем — энтузиаста своих карт, все самое новое, самое последнее — к себе. Ты как бабка, что, вспомнив молодость, любит всплакнуть, не больше. Не жалею я тебя. Ты вот успокоился, и я признаюсь те-

бе — не жалею. А что утешал, так человека утешать всегда надо, на то мы и друзья.

Очередь поведать «свое» была за Севастьяном. Севастьян сел рядом со мной на выючный ящик.

— Ты прав, Сергей, — Севастьян откинул голову к печке и, глядя на белый жгутик мороза, висящий у потолка, сказал: — Поражает нас то, что впервые. Мы и сейчас, конечно, не задумывались, но повернуться хочется все же к молодым годам.

Мой старший брат работал в Арктике, в угольных шахтах, на острове Вайгач. Не знаю, кем он числился, но отвечал он за безопасность работ в шахте, и в том числе за то, чтобы шахты не заливали водой. Я кончил школу и поехал к нему. Воды в шахтах никто не боялся, все знали — мерзлота, какая там вода, сразу замерзнет, коль в трещины сунется, трещины-то мерзлые. И вдруг после бурения и взрывов (штольни с их помощью проходили) — очевидно, оказалась вибрация — где-то стала сочиться вода. Больше и больше. Ну как понять, откуда вода? В мерзлоте, в скальной породе! Острова, вокруг море. А что оказалось? Вода идет морская.

Просачивается по жилам, по трещинам. Брат в ужасе — если море в гости пожаловало, его же не исчерпашь! Не откачаешь. Но ведь температура морской воды зимой минус два градуса с лишним. Вроде мерзлота жидкая. На Большой земле с такой водой дела не имеют.

О мерзлоте я от него услышал впервые. И оказывается, морской воде ничего не стоит пройти по мерзлым трещинам — не замерзнет. Вода-то морская, переохлажденная. И начала она хлестать через трещины все сильнее и сильнее, и шахту, кажется, пришлось бросить, теперь не помню. Насосы не справлялись.

Это было началом моего удивления и внимания. Мне такая соленая «минусовая» вода показалась тогда таким забавным приспособлением, пролазой, я помню, ее похвалил даже. Надо же — протискивается в живом виде там, где другая погибает. Эту воду я воспринял как наиболее интересное из всего, что видел.

Позже уже эти переохлажденные воды назвали криопэгами. Криос — холод, мороз, лед, минусовая температура, пэги — холодные воды источников. А мы воды эти попросту тогда называли — минусовыми. Там они так сильно бывают минерализованы — почти рассолы, солей больше пятидесяти граммов на литр, сами знаете.

Заниматься этими водами мне не пришлось. Но увидел я удивительные ледяные, соленые, загадочные источники — температура их минус три-четыре градуса — в горах Хаптайки. Добирался к этим источникам мы с приятелем моим Газловым,

помнишь, Сергей, татарин такой высокий? Чуть ли не до вершины гор доходили там они, эти Селибские источники.

И вот что поразительно: чем выше идешь вверх, в горы, тем этих источников больше попадает. Парадокс! Конечно, они минерализованы — что-то до семидесяти граммов на литр, хлоридно-натриевые, глубинные. В верховья реки Чары, притоке Хантайки, мы тоже лазили, и там были эти ледяные родники, и тоже до минус четырех. А мороз пустяковый, так градуса три-четыре. Видал я и подмерзлотные криопэги, и межмерзлотные и надмерзлотные, в скважинах на материке, на соляных куполах (соль, естественно, насыщает воду, минерализует) и на арктических островах, овеянных полярными ветрами, и на бесконечном побережье Ледовитого океана. Вблизи берегов морей они ясно морского происхождения — соленые, тяжелые, плотные воды опускаются по трещинам в недра земли и тащут за собой холод на сотни, а то и на тысячу метров ниже замороженных пород. Температура рассола бывает десять градусов и ниже — чем солнее, тем больше холода «держат» криопэги.

На Новой Земле мой товарищ тоже вскрыл скважинами криопэги на полтора метра! Пробурили дно моря, и там они на сто метров с лишним, представляете? Глубже пошли — тоже рассолы, но «плюсовые». И те и те связаны с морем.

Теперь много нашли таких вод в горных породах под Ледовитым океаном. Насколько широко они там распространены, пока точно неизвестно.

— А как вы такую породу называете — с этими самыми криопэгами, ну, с минусовой водой?

Севастьян улыбнулся.

— Нет ей пока названия. Кое-кто называет криопэжная, мы чаще — минусовая. Да, не все сказал я, есть еще один забавный момент. От давления, как известно, температура замерзания воды понижается. Наши сейсмоки определили жидкую минусовую воду под мерзлотой. Вскрыли скважиной — лед. Еще и еще пробивали — нет воды, только лед. Давление-то мы скважиной снимали, и вода из жидкой в том месте сразу превращалась в лед. Вот какие фокусы. Так жидкую и не увидели, надо было глубже бурить.

— А что Газилов, где он?

— Газилов поехал потом, шальной парень, в отпуск не то на Новую Землю, не то на Землю Франца-Иосифа. Поохотиться, видишь ли. Ну, отелей для него там пока не построили и туристов тоже не ждут, так он пристроился к какому-то небольшому гидрографическому отряду. На крохотном суденышке, с катером раз-мером и с каким-то названием чудным — не то «Рейшина», не

то «Карандаш», что-то чертежное помню, меряли бухточки, проливы. Ему, конечно, досталось ходить по суше и заниматься озерами — на охоту ведь человек поехал, они это понимали. И обнаружил он в озерах: сверху пресная вода, а внизу соленая — опять криопэги эти самые. Минусовые. Температура у дна минус четыре с половиной градуса! Искупаться бы, а? Наверное, в его шальной башке такое было, когда он туда ехал. И под озерами талики в грунте, и тоже минусовые. Так с тех пор и пошло — стал он ездить с гидрографами в Арктику, в Атлантику, рванул в их институт, стал еще стихи писать, теперь плавает на судах как специалист. Занялся криопэгами в океанах. Да, да, не под дном моря в породах, а в самой толще воды океанской.

Соленая морская вода не имеет максимальной плотности при плюс четырех градусах, как пресная, поэтому, охлаждаясь на поверхности, она погружается в глубины, унося за собой холод.

В Баренцевом море такой слой минусовой воды лежит с глубины двадцать метров до четырехсот! И не только в Северном Ледовитом океане нашли их, где мощность минусовых вод, говорят, до четырех тысяч метров — представляете? — но и в других морях и океанах, более теплых — у дна, потому что тяжелые, они волокутся низом. Чаше же они находятся в так называемых «промежуточных слоях». Сверху воды теплые, потом холодные, потом снова теплые, у дна опять холодные — затекают из полярных областей.

Но самое любопытное, что такие слои, как и наша вечная мерзлота, бывают, оказывается, постоянные, то есть тоже вроде вечные. И временные есть — сравните с грунтами — сезонная мерзлота. И образуются сходно: зимой вода океана охлаждается, перемешиваясь от волнения, опускается вглубь. Если летом не прогревается, остается слой на следующий год. Так накапливается холод. Но охлаждение передается, конечно, не теплопроводностью, как в породах, а конвекцией. В море плотность зависит еще от солености, вот опускание-то и получается глубокое.

— Кстати, — снова оживился Севастьян, — что-то разговаривался, но хотел еще вам о Газилове сказать. Он занялся и солеными льдами. Просвещал меня. Почему-то многие думают, что морские льды пресные. Вымерзает, мол, соленая вода, остается пресный лед. Я и сам так думал. Так, да не совсем так. Лед, он соленый, особенно молодой. Чем старше, тем преснее. Почему? Потому что, когда подтаивает, то тяжелый рассол просачивается между кристаллами льда вниз и верхние слои опресняются.

Полярные путешественники, кому приходилось месяцами бродить среди льдов, знают — пресный лед надо искать на вер-

хушках ледяных торосов и ропаков. А соленый лед надо положить, пусть полежит, соль стечет, и тогда можно пить воду.

Да, подождите что еще скажу. Газиров на Земле Франца-Иосифа нашел соленые льды в породах выше уровня моря. Когда-то остров был под морем, поднялся, и теперь этот лед чуть ли не в горах. Бывали же, сами знаете, отступления, наступания моря, вот так и получилось. Он, между прочим, своими исследованиями подтвердил, что под ледниками не всегда породы талые, то есть талики, как раньше думали, потом-то и в других местах мерзлота оказалась.

— Значит, подождем, пока те хребты, что на дне моря, поднимутся вверх, тогда и полазаем,— успокоенно закрыл глаза Сергей.— А талики подо льдами, наверно, скорее будут на таком острове, я думаю, который в море не погружался, верно?

И тут я вспомнила о ледяных складах Крылова. Эти склады работают на нашу промышленность на искусственных криопегах, на «минусовых» водах.

Все оживились, кроме Ганычева. Ганычев сидел мрачный и насупившийся.

Представляете ледяные склады на юге, на Украине например? На севере ими не удивишь, там их построено множество. Деревянный каркас из досок. От летнего протаивания склад изолируется опилками, торфом и землей. Внутри коридор с боковыми кладовыми и ниши с чанами или бочками. В бочках искусственные криопеги — сильно соленая жидкость, особо подобранная по составу. Зимой она замерзает что-то около минус двадцати трех градусов и набирает холод, который расходуется летом, сберегая продукты.

Ганычев сидел с отсутствующим видом, ни на кого не обращая внимания. Меня не слушал. Услышав тишину, Ганычев поднял голову.

— Друзья, я в другой раз расскажу что-нибудь, а? Я не в форме. Вы только подумайте: мы сидим, говорим, а там за это время почти тридцать тысяч кубометров воды выхлестало, а? Вам хоть бы хны.

— Да что ты, дорогой,— сделав страдальческое лицо, сказал Сергей и подсел к Ганычеву.— Мы спать не будем в эту ночь от горя. Мы вместе с тобой будем переживать бесценную утрату...

Ганычев неожиданно расхохотался.

— Я знал, что ты умный мужик,— обрадовался Сергей.— А если ты и в самом деле обеспокоен судьбой этих совершенно изумительных источников, то помоги им, сделай так, чтобы люди их не испортили. Ведь в Чульмане будет город, на источники хлынут толпы отдыхающих трудящихся. Вот на это на-

правь свои могучие силы, дорогой. Напиши статью, стихи, фельетон, очерк — что хочешь, проси создать мини-заповедник, а мы тебя поддержим!..

Рассказывать Ганычев ничего не стал. Не торопясь, мы начали провожать старый год.



Горячие дни морозной весны

Почти тридцать оленьих нарт, по паре оленей в каждой. Розовые снега замерзшей реки, синее небо. На стенах глубокого каньона иней — это река Чульман, из которой с таким удовольствием собирался вытаскивать меня Силыч, когда лодка перевернется. Зима — к весне, а мороз тридцать градусов. Снова я еду на Тимптон. Теперь у меня большой отряд. Но нужно будет разведать и северный участок, где железо и флогопит — черная слюда. Сейчас, в конце зимы, основная наша работа. В короткий срок надо обследовать незамерзающие источники, что осилили нелегкую якутскую зиму, смогли пробиться сквозь жестокий холод, не испугались встречи с шестидесятиградусными морозами. Вот-вот хлынут вешние воды — угадай тогда, где истинно родниковые воды, а где талые? Работаем широким фронтом. Один подотряд уехал к северу, через две недели разделим и этот пополам.

Первая нарта Пудова — узкая, высокая, первопроходческая. Сокращая путь, Пудов срезает в устьях рек углы береговых террас. На подъемах олени с хорканьем, открыв пасти, добросовестно лезут вверх, разбрасывая ногами сыпучий снег. А потом ничего им не остается, как лететь вниз, наскакивая друг на друга, сбиваясь в кучу, — нарты связаны. В долину сваливаемся как в яму. Все тонет в искристых облаках снежной пыли. Задние нарты врзаются в передние и, закручиваясь клубком, катятся с террасы. Переплетаются рога, выпучены в ужасе глаза, душат постромки.

— Пудов, — кричу я в снежную мешанину, вертись вместе с нартами и свергайся куда-то вниз, — останови, останови...

Но как-то против ожидания все быстро выравнивается, и мы вытягиваемся по белому простору реки ровной спокойной цепочкой. Пудов оборачивается и щурит глаза: «Ти те киричал?»

Горы правого берега Тимптона против солнца стоят черной стеной.

Пока несутся нарты, я мысленно оглядываюсь назад. Москва, программы работ, моя стажировка у радиохимиков (я осваивала прибор СГ — буду сама определять радиоактивность подземных вод), оформление лаборантов, сборы, отъезд, отправка лаборантов, грузов, снаряжения, продуктов (я летела позже самолетом). В отряде двое старших лаборантов, оба после института, — приветливый и серьезный Вагин и белокурый, худощавый Дюканов. Дюканов высок, нервен и, похоже, капризен.

В слабо освещенном коридоре вагона в предотъездной неразберихе у открытой двери купе меня хватает за локти незнакомая молодая женщина с трагически поднятыми бровями и слезами на глазах.

— Берегите его... — шепчет она, всхлипывая. — Берегите... — и опять слезы.

— Кого это? — Меня тянут в разные стороны, надо отвечать на вопросы, что-то поручать, не забыть то и это, но женщина крепко держит мои локти обеими руками.

— Толика... — Ах, да, рядом ее муж — мой третий, младший лаборант Анатолий.

— Толик такой беззащитный... заботьтесь о нем...

— Да, да, — растерянно бормочу я, соображая, как я должна беречь здорового парня, который выше меня. Толик стоит с провалившимися черными щеками и видом приговоренного к пожизненному заключению. При первом знакомстве он показался мне серьезным, в дальнейшем я убедилась, что он неэнергичен и вял.

Комнатка Терентьевны в Чульмане для нас стала мала, и я сняла побольше. На вторую ночь в нашем экспедиционном таборе, в этой единственной комнате, где все вповалку спали в мешках на полу, неожиданно появился Марченко. Я знала, что в Якутске он больше не работал и уехал в Киев. В полной темноте, кашляя и спотыкаясь, он прошагал через тела на полу, лохматый на фоне уличного фонаря, сопровождаемый прыгающими по стенам тенями. Толик, как пружина, молча поднялся и сел в мешке, Дюканов тонким голосом возмущенно вскричал:

— Что такое? Кто это? Что за человек?

Никому не отвечая, Марченко дошагал до меня, точно определив, даже в темноте, где я нахожусь, шепотом поздоровался, раскинул себе в углу место, по-военному, быстро устроился на полу без спального мешка и мгновенно захрапел.

Наутро выяснилось, что временно Марченко работал в Алдане в каком-то отряде. Узнав о нашем приезде, явился с тем, чтобы работать с нами. Был он изможден, черен и худ, страшно оброс. Суетился, выражение лица было доброе, трогательное.

Кустистые брови стали еще седее. Я могла предложить ему только должность старшего лаборанта.

А еще через день появился сероглазый шеф-повар алданского ресторана Алексей Ласов, Лешка, и тоже стал лаборантом.

— Услышал, — сказал он, — есть партия или отряд, в общем экспедиция. Начальник — женщина, ходят в тайгу, ищут воду в мерзлоте. Вот и приехал.

О мерзлоте Алексей понятия не имел, кроме того, что из-за нее зимой воду в ресторан возят не с реки, а в бочках с источников. Учился он в Москве, окончил техникум.

Показалось мне, что не мерзлота его привлекла, а захотелось ему сменить жизнь. Но я ошиблась, хотя и в этом желании его не было ничего плохого, все зависит от того, что на что менять. Начала учить его и увидела — сообразителен, ко всему с охотой, все делает быстро, приветлив. Лешка пришелся к месту — Вагина и Дюканова мне дали только на два месяца, а работы у нас предстояли долгие. Через три дня он ходил среди нас, тараща громадные серые глаза, в новых сапогах, брезентовой куртке поверх ватника, в цигейковой шапке — молодой гигант, современный землепроходец.



Решение загадки

Зимний путь по снежной целине реки оборвался. Мы у источников. Привелось-таки прийти мне сюда зимой! Вот и верхний контакт, где шумит наш водопадик. Тут кончается зима реки и белый сон ущелий, полных стужи. Далеко впереди, до самого кривуна, на несколько километров вниз дымится черная, в ледяных берегах река. С шумом сливаются источники. В белых глыбах льда острова и перекаты. Широкие полыньи разъединяются и соединяются вновь.

Если Тимптон летом — это стихия вырвавшейся на свободу воды источников, то вид реки зимой совсем иной. Под обрывами гранитов у контакта — глубокий, глухой омут. Вода неподвижна.

Передо мной стоял вопрос: откуда эта громадная черная река? От береговых ли источников, от подледного ли течения реки с верховьев, от выходов ли источников со дна?

Я знала, что должны тут быть и полыньи, и незамерзающие ручьи, но все они мнились мне здесь небольшими, подчиненны-

ми силе суровой якутской зимы. А оказалось — прежнее царство, летнее самоуправство воды, даже более уверенное, вызывающее, ничего не скрывающее, не прячущееся за зеленые кусты и теплый плеск привольной летней реки.

Олени с нартами и грузом прошли над источниками по бечевнику. Открылась любопытнейшая картина: там, где летом в русле били фонтаны-грифоны, обнажилось днище реки — будто сняли крышку заветной шкатулки и можно не торопясь рассматривать ее сокровенное содержимое. Открылись зияющие среди глыб провалы, и так же клокочут в них, вылетая из потайных глубин, вихревые струи, круто выворачиваются упругие потоки. У берега прыгают небольшие грифончики.

С шумом, как и летом, падает в реку водопадик, но стал он поменьше. На гранитном валуне белой краской написан — мой след — номер шесть. И хорошо видно теперь, что берега и река — единое целое. Ясен завет на будущее: если есть источники на берегу, ищи их в днище реки. И наоборот. И даже если трещины разобщены — мерзлотой ли, занесением ли, питание их в глубине скорее всего единое.

— Понятно, — сияет Лешка. — Я рад, я очень рад, я впервые чувствую логику природы, и хочется понять ее до конца...

А вот Быралас, наш Быралас — талый, черный, тихий, но живой, еле течет между лежащих на мели розовых моржей. Бешенство его осталось в лете и в осенних паводках. Сочатся тонкими струями его берега и протоки. Среди сугробов из-под сваленных деревьев видны черные плечи проталин и полосы ручейков. Из-под осыпей, откуда жаловали к нам медведи, поблескивая, стекает вода.

Лешка пьянеет от запаха снега, удивляется всему — просторам зимы, фонтанам во льду, полыньям, родникам — в такие-то морозы! Это понятно: попасть из мира ресторанов и горячих плит, от душного, нелегкого, но обыденного труда в соседстве с ежедневным и чужим искусственным праздником, где все неизменно и безучастно повторяется, в мир льдов и снега, где все время что-нибудь случается, но — увы! — не всегда самое приятное.

И в полуцирке Тимптона, на месте первой незабываемой моей встречи со стихией воды, плывут-несутся, разве что потише, от берега к стрежню «похудевшей» реки прозрачные потоки. На стрежне тишина. Задумчиво-тихо принимает их река и не уносит стремительно вниз, а как бы оставляет для себя. Чудится даже, что они, струи, усмиряются там и засыпают.

А меня смирение это наводит на мысль, не погружаются ли они здесь в днище реки, где могут быть глубокие поглощающие

трещины? Погружаются, чтобы где-то по трещинам же снова выйти — в другом днище — этой ли, иной ли какой реки, может, соседней. Или, наоборот, не выводящие ли это трещины, не добавляют ли они реке полноводья, не помогают ли источникам сохранять эту богатую и странную для зимы живую черноту воды?

Загадку эту я должна разгадать.

В кустах с якорем и цепью, никем не тронутая, в полной сохранности наша лодка. Но у нас с собой надувная, резиновая, более легкая, поворотливая и пригодная здесь. Ее легко вытаскивать на лед из полыней и спускать на воду.

На старом месте, где размещался раньше наш лагерь, поставили громадную десятиместную палатку. Стучат топоры, шуршат пилы — за палаткой растет поленица дров. Из полотняного дома уже торчит труба, в доме на еловом лапнике и кошмах спальные мешки — мечта всех уставших и замерзших. Перед входом костер. От влажных сучьев мечется его горькое дымное пламя. Как вечный несгорающий идол, висит над костром ведро, от ведра тянет отдыхом, старым домом, уютом. Приходит ощущение хорошей неуспокоенности и душевной устроенности.

Срубленная летом лиственница лежит в русле Быраласа посуху, прямо на гравии и валунах. Вода появляется ниже нее из песка и гальки. Значит, под Быраласом тоже трещины и выходы источников.

Река, полыньи, притоки, льды, мерзлота, талики. Температуры воды — где нуль, где семь градусов... Почему? Как в детских кубиках: на каждом кубике какие-то яркие, непонятные рисунки, и надо все это сложить, чтобы получить единый рисунок. С чего начинать? Как подойти к пониманию тайны жизни реки?

Советуюсь с Марченко. Пожимает плечами.

— Вам виднее. Наверно, измерять источники.

Но этого мало. Надо понять пути воды, что привели ее сюда. Решаю — определим расход реки. Разобьем на реке несколько створов. По каждому створу сравним расход реки с количеством воды от всех лежащих выше него береговых источников. Увеличение разницы — по нескольким створам вниз по течению — явно будет говорить о поступлении воды со дна.

Все воодушевились, все же это интригует — получится что-то интересное или нет? И что именно? Лаборанты — люди самостоятельные, кроме Толика. Толик каждое поручение принимает со страдальческим выражением лица. Дел много: те же, что и летом, замеры источников, отбор проб и огромные работы на Тимптоне.

Дальше пошло все удивительно и захватывающе. По каждому створу расход реки был больше, чем давали источники. Но источники стали меньше, чем летом. Они «похудели» и ослабли. Крайние иссякли, перемерзли или высохли — очевидно, талик по окраинам сузился от мороза. И несмотря на это, драгоценной подмерзлотной воды в реке стало больше раза в два, чем летом... Значит, есть трещины в дне реки, и по ним поднимаются глубинные воды! Больше всего воды на нижних створах — против полуцирка, «медвежьей террасы» и в кривуне.

Но как узнать, где именно в русле выходят родники? Очевидно, по температуре. Чем ближе к выводящей трещине, тем теплее должна быть вода. Наша резиновая лодчонка, зеленая черепашка, как ее мы называем, то влезает на льдину, то соскальзывает в воду. Замеряем температуру поперек реки — составляем температурные поперечники — два, четыре, семь. Вдоль реки продольник — на несколько километров.

К местам сокровенным, где выходят источники субаквально, то есть подводно, подбираемся с термометром, как к редкостным птицам. Крадемся постепенно — ближе, еще ближе, еще... не упустить, поймать... Есть! Наибольшая температура. А по обе стороны ее спады. Потом где-то новый подъем температуры, еще одна «птица» поймана. Столько наловили невидимых «птиц»! Замельтешило на нашей карте — целые гнездовья нанесли на нее: у островов, под берегом, по стрежню.

Неожиданно рыбно стал помогать Марченко. Ревностно, не жалея сил. Лодчонка не очень устойчива, но держит на своих надутых боках здоровенных ребят — все они подобралась у меня ростом под сто девяносто и с соответствующим такому росту весом. Недаром в Чульмане называют их моей гвардией.

Еще осталось место на реке, особенно для меня притягательное, — это тихий омут у верхних гранитов. Выше уже река во льдах. Вертушка в омуте не вращается. Каким-то старым способом «масляных пятен» замерил Марченко невидимые глазу движения воды в омуте.

— Леша, Леша, вы чувствуете, что мы стоим с вами перед заветной дверью? Но «Сезам, отворись» здесь не поможет, слов заветных мало!

— Будем делать заветное дело, — весело говорит Лешка и тарашит глаза.

Теперь надо узнать, нет ли с верховьев реки подледного течения. Надо пройти линию шурфов поперек реки во льду выше всех полыней.

— Нереальная задача, — говорит Марченко мрачно. Лицо его делается сердитым и жестким.

У Марченко два лика внешних, и внутренних, видимо, тоже. Один — лицо разглаженное, чистейшее, почти без морщин, доброе, и сам он всем — друг. Все тогда хорошие люди, прекрасные специалисты. Лик второй — хмурый, злой, лицо старое, в обвисших тяжелых складках, даже устрашающее. И тогда все лодыри, профаны и как специалисты ничего не стоят. Смена ликов может произойти мгновенно.

— Представляете, сколько шурфов? — продолжает он. — Глубина не известна, хлынет весенняя вода, вся работа насмарку, только время потеряем, лучше проехать на новую разведку куда-либо. Три-четыре шурфа ничего не дадут.

— Но тогда задача остается невыясненной до конца! — говорю я.

Лешка смотрит на Марченко потемневшими глазами и выразительно переводит их на меня.

— А мы попробуем, — говорит Лешка и ждет от меня поддержки.

— Обязательно пройдем шурфы, Леша, это же будет главной нашей проверкой, у нас все есть — рабочие, кайлы, пешни. Марченко возмущенно выскакивает из палатки.

А почему три-четыре шурфа ничего не дадут? Начнем со среднего или одновременно и с боковых. Если на середине реки сплошной лед до дна, то у берегов русло может промерзнуть, когда у берега нет течения. Промежуточные шурфы тогда можно ставить реже.

Глаза Лешки горят, возбуждение его растет.

Наметили створ, места шурфов, расставили рабочих. На шурфах лучшие наши рабочие — Семен и Федот, оба местные, громадные, тридцатилетние, расторопные, покладистые. Смеясь говорят: «Кайлы, пешни в зубы, ноги на плечо»... Иначе и в самом деле не дойдешь — от лагеря до верхнего ледяного створа ходим по несколько раз в день.

Но, конечно, не все так уж гладко у меня. Неурядиц достаточно. Якутам-рабочим из колхоза не полагается спецодежда — с рейкой в снег они поэтому не идут, на резиновой лодке плавать отказываются. В работе не заинтересованы — деньги получает за них колхоз, им же засчитывают трудодни.

Дюканов, придя с источников, подсчеты, как полагается, сразу не делает, а, пообедав, залезает в спальный мешок и спит. Если попросишь все же их сделать, не откладывая, истерично кричит:

— Я устал, я промок, понимаете или нет? Я могу воспаление легких получить, черт возьми!

Никто здесь, однако, не простуживается.

Еще у меня есть Толик, которого надо беречь. Выражение лица то же, что и прежде,—мученическое. Толик — живое опровержение утверждения Аристотеля, что «все люди по природе своей жаждут знать»... Толик не жаждет ни знать, ни работать, ни даже улыбнуться.

Шурфы у берегов показали лед до дна. К нашей работе опять мирно присоединился отстранившийся было Марченко, стал проявлять интерес и инициативу. Предсказывал, где лед будет наверняка и поэтому там нет смысла закладывать шурфы.

— Как нет смысла! — раздражается Лешка.

Ему кажется, что из-за этих разговоров я остановлю работы и все сорвется.

— Нет же, Леша, мы проверим створ полностью. Основной поток воды может идти и извилистым ходом — и у берегов, и в середине русла.

Работа воодушевила всех. Из лагеря не один раз уже прибегает Федор — наш повар. По очереди прыгают в шурф Семен и Федот. Работают в слоистом зеленовато-голубом колодце, голов не видно, только вверх взлетают и соскальзывают с лопаты шелестящие ледяные осколки. Всегда мы ищем воду! А на этот раз найти её не хотим.

Вот уже звенит кайла о валуны. Уже прошли два метра. Последние удары...

— Дно! — кричит Федот и победно трясет шапкой. — Нет воды — дно! Кайла бьет по мерзлой гальке. Федоту помогают, он вылезает и быстро закутывает шею, с лица его льет пот. Лед лежит на дне реки.

Взрывчатку бы сюда, проверить бы, что там, в глубине, поднять бы смерзшуюся гальку и пески. Или пройти бы кайлой хоть двадцать-тридцать сантиметров еще. А вдруг там талик? А если талик, то может быть в глубине его вода... Я размышляю вслух с сожалением: рабочие замерзли, сумерки легли на белизну снегов. Завтра этого сделать нельзя — за ночь открытое дно промерзнет, и тогда не узнаешь, есть ли там близко талик.

Неожиданно Марченко хватается кайлу и спрыгивает в шурф. С ожесточением и без отдыха бьет он и бьет по тяжелейшей этой смерзшейся каменной твердыне. Молодым совестно, все его просят:

— Не надрывайтесь, пожалуйста, ну вылезайте же, давайте мы сами сделаем...

Один Леша спокоен, он считает — каждому свое, он важен и горд — лаборант, шурфы бить не его дело. Не постиг еще простых истин. Марченко рубит в укор Лешке и всем остальным. Из шурфа вылетают шапка, рукавицы, ватник. Все переглядыва-

ются — простудится человек. Что делать? Наконец Марченко выбрасывает и кайлу. Смотрит снизу — лицо усталое и удовлетворенное.

— Тридцать сантиметров прошел в гальке со льдом, не меньше. Все промерзло...

И мы сообща вытаскиваем его за руки наверх.

Марченко одевается и, не передохнув, — за папиросы. Так жаль его — всегда с непрестанным кашлем, в табачном дыму, в преодолении каких-то непонятных внутренних барьеров, в постоянном внутреннем неуют.

Над вечерними льдами ветер крутит искры папирос. Мы долго пробираемся по берегу. Федор встречает нас за сотни метров. Семен салютует ему кайлой.

— Лед, лед, лед! Дно — воды нет!

— Давай там побольше мяса, — кричит Лешка, бежит вперед, опережая всех, и подхватывает Федора под руку. — Какао, Феденька, ребятам, да и всем тоже, праздничек у нас! Ура! Здесь зимой рождается река Тимптон, ура!

В остальных шурфах тоже лед шел до дна. Да, тимптонские источники рожают здесь зимой всю эту реку...

Ночью ветер встряхивал и трепал полотняную крышу палатки. Я не спала: неужели в мерзлом трещиноватом дне реки, выше ледяных шурфов, где-то глубже есть все же талик и по этому талику подбрасывает Тимптон свою помощь полыньям? Пожалуй, если и подбрасывает, то мало.



Колька Шкиль

— Ну и что было дальше?

Он стоял у крыльца, я на крыльце. Средний рост, худенький, но крепкий паренек, в картузе не по времени, в изношенном ватнике. Смуглый, цыганистый, с мелкими чертами лица. Вид одновременно и доверчивый и пройдошистый. Двадцать пять лет не дашь.

— Ой, ну чо — куда не приду, никто брать не хоче, говорить, ты вже три года имев, тепер ишо у шахти порезавси на ножах, тебя возьми, ты обратно срок схватишь. Ишо нас прирежешь. В Алдан подавси усих обошов, а как у трудкнижке штампу увидють, так враз руками машуть — иди, иди отсюдова...

— А зачем вы в шахте резались и с кем это?

— Ой, ну я ж не хочив, то ж мой напарник, та злобный вурка пидначив мени и з кулаками лютовавси всегда, а я когда

там тэмно було и вин нож з сапога вытягнув и на мени з тем ножом кинувси, так чо я дурний, щоб он мени як поросся прирезав? Я тоже нож вытягнув, и мы каталися с имям и порезавси, головы об угли пообивалы, и начальник нас враз уволив и мени штампу поставив и никто тепер не берёт... Ну, никто...

— Я понимаю, Шкиль, ваше положение, но мне сейчас не нужны люди, скоро лето, я всех буду увольнять и оставлю только трех-четырех человек. У меня нет нештатных денег, я почти все уже истратила в конце зимы. Понимаете?

— Ой, ну як же ж, конечно, все понимаю. Я так и знав, чо вы мени тоже брать не захочите и чо мени робить не знаю, зовсім не знаю...

— Пойдите на прежнюю работу, там что-нибудь придумают.

— Ой, да чо вы, я ж казав, они мени даже бачить не хотят, иди и иди отсюдова, с тобой все чо то деется.

Он ушел, и я говорила себе, что поступила правильно. Денег почти не осталось. Все ушло на работу широким фронтом в конце зимы — на источниках.

В доме темно и тихо. Тепло. За стеклами окон висят и мажут черными шалами ели. В трубе гудит. Со мной кроме проводника из тайги приехал только рабочий Семен, он ушел в столовую. Проводник у себя в колхозе. На мое имя пришла посылка, из-за нее и приехала сюда, на базу, — наконец-то ленинградский завод выслал отремонтированный прибор СГ. Завтра куплю свежего мяса — и в тайгу, к своим.

На другой день, упаковывая выючные сумы, услышала стук — снова появился Шкиль. Небольшие черные глаза горят, лицо почернело и по-мальчишечьи заострилось. Мнется, смотрит то в сторону, то с отчаянием на меня.

— Ой, я пришов, я думав... може вы мени все же возьмете? Каку ни есть работу. Мне казали, вам надо мерзлу землю копать, я могу, бо воду мерять и чо ище прикажете. Говорять, езжай до дому, так у меня ж грошей нема, за них скильки робить надо. Дрова в столовой колов та вчера обед дали, а сегодни був там, говорить — ходи, ходи отсюдова подальше...

Я молчу, а потом повторяю снова, что мне никто не нужен, что денег нет. И вдруг подумала — со вчерашнего дня, когда ему дали обед в столовой, он ничего не ел. Дома у меня только хлеб и масло — я тоже обедаю в чайной.

— Идите, я дам вам поесть...

Он испуганно попятился, шархнул как-то задом, по ступенькам крыльца — вниз, чуть не упал. Закричал:

— Ой, не, не, не надо, я лучше пойду, зовсім пойду... Я думав, може, вы надумали и возьмете мени...

Он быстро повернулся и, перепрыгивая через черные проталины в снегу, пошел по улице, не оглядываясь.

В поселке мне говорили: «Слышали, вы Шкиля брать собираетесь? Того, что резался в шахте. Смотрите, его дружки за вами в тайгу пойдут, зачем вам это? После той поножовщины они снова дрались»...

Будь у меня деньги, я, может быть, и смалодушествовала бы и взяла его, хотя он мне не нужен. Может, он многое не говорит? В шахте на ножах резался. Потом дрался. Мало мне тех, прошлыходних тимптонских «работяг»... А мальчишечьи глаза его — домашние, детские.

Вечером Семен закрыл дверь и лег спать. Я листала записи, но Шкиль не шел из головы. А если он начнет с голоду воровать в поселке? Получит новый срок, а все будут говорить: правильно, что не взяли его. Ну, ничего. Все обойдется, теперь больше не придет. Где-нибудь да устроится, его ведь на шахте знают, может, погугать хотели, чтобы потише был, и все. Но на ухаля он не похож.

Я успокоила себя и легла спать.

Ночью комната остыла, и я поднялась, когда еще не брезжило за окнами. Света не зажигала. На улице слетал и ложился мягкий, пушистый снег. Выглянула в окно — на занесенном снегом крыльце темнеет небольшая фигурка. От плеча до плеча на спине пышный сугробик снега. Шкиль.

И как-то сразу я поняла, что этой ночью пришел он не работы просить, а потому, что ему в самом деле некуда больше идти. Может, он даже уйдет с этих ступеней, как только рассветет. Уйдет, не повидав меня... Это крыльцо — то единственное место, где он может находиться. И сколько времени он тут сидит? Всю ночь?

Я открыла дверь, упруго отодвинувшую нежную грядку белого пуха.

— Заходите, Шкиль...



Веселые проводы

Мое правило — как бы ни припозднились мы со сборами в тайгу — выезжать. Хоть после обеда, хоть к вечеру. Важно стронуться с места. Потом можно через час или два заночевать.

Вот и сегодня после обеда выехали на нескольких нартах и вдруг завернули к чайной. Остановив оленей, Пудов сказал: «Сейчас вернусь, прощаться надо». Казалось бы, с кем в чай-

ной прощаться? Прощав на морозе минут десять, вхожу в чайную. Оказалось, прощаться было с кем — в чайной целая толпа родичей. И видно, что Пудов прощался с ними до нас и не один час. Его ждали и отпускать теперь не собирались.

Влажная духота, накурено. Все в теплой одежде, только голы раскрыты, лица блестят от пота. Можно подумать, что у Пудова десяток жен, десятка два детей, несколько матерей, отцов и дедов. Уходим мы на месяц — повод для долгих проводов достаточный. Распознать здесь кто кому кто — невозможно.

На улице стоят в ожидании наши олени упряжки, дома уже окутываются рождающимися сумерками, лиловый воздух льется по сугробам, сугробы начинают слегка искриться под вспыхивающими фонарями, а провода в чайной в полном разгаре.

Потная подпоясывающая толпа ринулась ко мне немедленно, как только я вошла в чайную. Женщины — смуглые, узкоглазые, смеющиеся — повисли на мне гроздьями. Каждая дергала, теребила за руки, плечи, тянула за ворот. Я пытаюсь вывернуться, двинуться к двери, но за мной волочится эта громоздкая тяжесть. Мелькнула мысль — не выдержу. Улыбки сменяются гримасами, ласковое бормотанье — непонятными грозными выкриками.

Если бы ехала я с Пудовым впервые, не знала бы его ловкую хватку проводника и добрый нрав, я бы повернула события круче. Вырвать Пудова из чайной — задача главная. Выхать сейчас же.

Ура! Распахивается дверь — на пороге Семен, Колька Шкиль и знакомый геолог из Чульмакана. Разглядев меня внутри вращающегося клубка, они бросаются на выручку. Оторвать меня от мамок-бабок не просто. Я шатаюсь, сердце бешено бьется. Снятые с плечей руки мгновенно цепляются за шею, снятые с шеи — за голову, спасает пыжиковая ушанка, завязанная под подбородком.

Пудов, развалиясь, сидит на стуле и умиленно взирает, как родственники берут меня штурмом. Наконец освобожденная, я сердито кричу Пудову, что, если мы сейчас же не выедем, я сдаю оленей в колхоз и никуда не поеду вообще. Угроза, конечно, пустая, олени эти и сам Пудов из Золотинки — а это ехать и ехать, но сейчас на Пудова могут подействовать только начальственные интонации, смысл не дойдет.

— Немедленно, Пудов, слышишь? Быстро на нарты!

Всей толпой выходим в темноту. Но сесть на нарты не удается — поперек нарт уже лежат выбежавшие родственники. На средних нартах у нас привязан драгоценный прибор СГ, и я больше всего боюсь за него. «Семейству» ничего не стоит свер-

нуть его на сторону и раздергать веревки. Пудов, успевший было сесть на первую ходовую нарту, барахтается и пытается с нее встать, но и на его нартах, как и на остальных, лежат деды и мамки. Так хочется всем его удержать!

Колька Шкиль в новом ватном костюме, радостно возбужденный — необычная работа, ух какие провода! По моей команде он энергично таскает с нарт обмякших дедов, нороящих все же свернуть обратно. Он оказался мускулистым пареньком, этот Колька. Мешает ему только смех, смех просто душит его.

Два дня Колька в совершенной радости сбивается с ног со сборами, покупками, от каждого слова, не дослушав, бросается то туда, то сюда.

— Коля, не торопитесь...

— Та я ж хочив як швидче...

Он бегал в Чульман, таскал, завязывал грузы, колол дрова, топил печь, отпрашивался в баню, получал аванс, обедал в чайной, всему радовался, сверкал счастливыми черными глазами. Любое поручение — праздник. И великое счастье для меня — не пьяница.

Все же мы выезжаем. Под крики, наскоки, визг женщин трогаемся. Олешки крупно шагают среди сугробов улицы. Дома прощаются светлыми улыбками освещенных окон — последний свет жилья...

Олени мягко сбегают на лед реки, и через три минуты мы в белой-белой сумеречной тишине. Слева вздымается над поселком черная в ночи стена песчаников, летят из-под широких мохнатых оленьих копыт снежные комья, и белеют в темноте их «зеркальца». Пудов на нарте передо мной уже что-то напевает, и если бы не отдаленный стук движка какой-то геологической подсобки, еще приносимый ветром, все похоже на обычный наш пробег-возвращение по темнеющим алданским рекам из далекого маршрута в таежный лагерь...

Повернули в долину ручья Семеновского, прошли вверх часа полтора, прохлюпали несколько раз в темноте по мокрым наледям — вода широко плескалась и брызги летели как из-под тяжелой машины, заваливались на бок, налетая на ледяные бугры, — пение и воспоминания мешают Пудову ориентироваться.

Неожиданно стало светлее — за облаками невидимо засветилась большая белая луна. Мы цеплялись за ели, пробирались сквозь какие-то хлесткие кустарники и где-то на взгорке окончательно завязли в глубоком снегу. В отсветах снега, в бликах подлунных облаков — небольшая поляна, замкнутая громадными елями. Олени стоят полукругом по грудь в снегу. Нарт не видно, торчат только верхушки грузов.

Пудов поворачивает ко мне безмятежное лицо. Из-за крутого поворота оленей он оказался вплотную ко мне, и неожиданно кричит страшным голосом:

— Ты нятяльник?

Я спокойно:

— Начальник.

— Ты дорогу снаешь?

— Не знаю.

Он, тихо и меланхолично, подняв лицо к небу:

— И я не снай...

Я сердито:

— А кто знает?

Он, мечтательно глядя на верхушки елей:

— Тёрт те снает...— И сразу раздражающим голосом:

— Ты нятяльник?

— Не ори. Начальник.

И так раз пять. Выдержки мне в таких случаях не занимать. Вдруг в темноте разглядываю — средние нарты с прибором лежат набоку.

— Коля,— кричу я Шкилю,— скорее смотрите, что с прибором?

Прыгаю с нарты, сразу глубоко проваливаюсь в снег, разгребаю его руками, стремясь к прибору.

Колька мгновенно соскакивает, радостно голоса, тоже проваливается в снег, саженьками рвется к драгоценной для меня нарте. На размытое пятно в небе будто наползает темное одеяло, и уже ничего не видно. Олени сливаются со снегом.

Колька достигает нарты, но почему-то не пытается ее поднять, а поворачивается и восторженно вопит:

— Ой-ой-ой-о-о!

— Что там смешного? Поднимайте нарту!

От смеха он не может говорить и в изнеможении с размаху плюхается в снег так, что на поверхности остается только черная голова в казенной цигейковой шапке.

— Ой, я ж зовсім не бачу того прибору... мабуть він потявся...

— Как! — Кричу я в ужасе. — Где же он?

Заливаясь хохотом, Колька хватается за живот и проваливается в снег еще глубже.

— Ой, не могу, мабуть він зовсім пропав...

— Вы с ума сошли? Перестаньте смеяться.

Я рвусь по снегу, олени с упавшей нартой дергаются вперед, они связаны с той, что перед ними, и, видимо, тяготясь натяжением ремней, пытаются выправиться. Если прибор ото-

рвался, нарта сейчас его переедет. Меня берет зло на Кольку — дурак он что ли? До нарты, однако, уже добрался Семен, но он не может один ее повернуть, очевидно, держат олени постромки.

— Прекратите идиотский смех и живо к нарте! Помогите Семену... Семен, где прибор?

Сколько не сделано за этот месяц важных и интересных определений радиоактивности воды из-за поломки этого прибора. Завод задержал его на ремонте, и теперь мы снова можем остаться без него, а многие источники на маршруте мы посещаем всего один раз.

Всхлипывая и булькая смехом, Колька роется у нарты в темном снегу и наконец звонко докладывает:

— Ой, усе на месте. И даже не вольнойтесь...

Подымаем нарту. Прибор привязан, укрыт войлоком, как мы его и поставили днем.

— Ночевка!

В полной темноте поразбрасывали ногами, поутоптали снег для палатки, наломали немного лапника и устроились наконец на кошмах. Топится железная печка, собираемся спать. Пудов управляется с оленями. И вдруг вылезавший из палатки Колька возвращается и орет:

— Ой, яго же нема, та и оленей нема...

Выскакиваем с Семеном. Внутри темного кольца елей в снегу едва темнеют верхушки нарты. Ни одного оленя. Тишина.

— Вот черт его дери,— бормочет Семен.— Куда он подевался?

— Та, я думаю, він до чайної подався, иде его мамки и деды ждуть...

— Не может быть,— не верю я своим глазам. Неужели Пудов через все эти снега и наледи и ночь снова погнал оленей?

Без оленей нам отсюда не выбраться. А найдет ли он нас? И все же я знаю Пудова.

— Вот что. Ложимся спать, и если утром он окажется здесь, на месте, ни слова ему, понятно? И без смеха, Коля. И орать другой раз так не надо, ясно?

— Зовсім ясно...— весело откликается он. Смущения у Кольки никакого. Он живет вольготно. Полная отдача сил, полное удовольствие. Такой веселый парнишка оказался.

Утром, влезая на четвереньках в палатку, Шкиль громким шепотом сообщил:

— Спать на вулице у нартах и уси олени тут...

А оказалось, что у Пудова был день рождения! Ах, Пудов, почему не сказал?



В краю ледопадов

Вот он, Горбылях,— старая дорога на алданский Клондайк двадцатых годов, где мучились пешие и конные искатели золотого счастья, где едва не замерз Локшин со своим другом. Не доезжая до полыней трех километров, мы попали в наледную воду как в половодье.

Почти у цели увидели неожиданное зрелище — из льда реки вверх били фонтаны. Ледяная дорога гейзеров! Шальные переливистые струи, серо-металлические при выходе, белые наверху, прозрачные и сверкающие искрами в падении. Напорная вода — речная или от глубинных подмерзлотных источников?

Уже долина, круче склоны, и вот — в который раз — контакт песчаников и гранитов. Слово «контакт» — понятие соединительное. Контакт людей — потребность жизненно необходимая. На контакте различных наук делаются открытия. Контакт с природой благотворен.

А здесь контакт по смыслу не соединение, а соседство. И тоже, оказывается, благотворное — родит живую воду. Где контакты, там полыньи. Это уже не совпадение, а закономерность. Известно, что трещины и разломы вне мерзлоты обычно более обводнены, что по контактам часто идут разломы. Но что в мерзлоте такие места, то есть разломы, почти единственно возможные пути выхода глубинных вод — это пришло ко мне не сразу.

Сначала находила я на реке полыньи и контакты, наносила их на схему и для себя ставила знак вопроса — нет ли разлома, а много спустя, когда геологи провели на карте жирные линии трещин, убеждалась в их совпадении. А что все разломы и водоносные трещины оказались в долинах, это вполне естественно — сами долины разрабатывались водой чаще по разломам. Ну и где же еще выбирать на свет божий пленнице вечного холода — воде, как не здесь?

...Остров у источников в середине реки стоит как громадный зажатый льдами корабль в черных мачтах елей. Будто разорванные подвижками корабля дымятся вдоль его бортов черные полыньи. Деревья и кустарники у полыней и по берегам в густой серебряной мишуре, сверкающей на солнце. Морозные узоры заиндевелых деревьев празднично рисуются на синем стекле неба. Цветущие сады зимы. Да так ведь и должно быть: зима — пора ледяного цветения.

Розовые от солища склоны спускаются к полыньям, длинными косами стелются голубые тени. И вдруг, как только повернули мы к небольшому распадку, — необыкновенное... Ледопады. Массивные натеки розовато-белых и зеленовато-молочных льдов спускаются со склона крутыми ступенями. Громадные, будто заснувшие в падении, остекленевшие реки свисают с гранитных стен. И все пылает в последнем свете короткого зимнего дня.

Мы и наш оленный поезд в морозном дыму оказались уже как бы частью этого фантастического пейзажа.

Маленькие пудовские собачки, мать и сын, в черно-белых пятнах, уши торчком, в два раза выше их роста, привыкшие к порядку, звонким, нетерпеливым лаем вернули нас в реальность — считали, очевидно, что если остановились, то надо действовать, а не стоять.

— Кушать сильно хочет, — извиняясь за собак, сказал Пудов.

Спрыгнули с нарт, выбрали место для лагеря, и все пошло как всегда — переключка, рубка дров, полаханье костра, дым из трубы в оконце палатки, разгрузка нарт среди толкающихся оленей, не желающих уходить из лагеря.

Утром оказалось, что жизнь вокруг бьет ключом, вернее, ключами в полном смысле слова — несколько групп источников повыше лагеря выходят среди снега в глубоких проталинах. Ручьи пропадают внизу под громадной наледью. Наледь мощная, спускается к реке и сливается с речной наледью. Природа образования наледей обычно не едина: промерзнут ли частично подземные пути воды, встретится ли ей водоупорная порода, уменьшится ли количество наносов в русле реки — и выльется вода на поверхность земли или льда. И если мало воды и низка ее температура — появится наледь, много — возникнут полыньи в реке или незамерзающие ручьи.

Невидимые, шумят сейчас под наледями потоки. Вдоль склона, как громадные грибы, нанизанные на единый стержень, сидят ледяные бугры — видно, где-то под буграми проходит глубокая трещина, изливающая воду.

В русле три острова, один выше другого. Между островами — протоки. Они и есть наша цель — в них незамерзающие полыньи. Короткие, начинающиеся здесь речушки-полыньи протягиваются почти на километр, и рождает их глубинная подземная вода. Растущие всю зиму наледь и полыньи — два главных наших путеводителя, основные признаки выходов воды. Мы, мерзлотоведы-гидрогеологи, изучаем вечную мерзлоту и воду в ней. Пробы, пробы из всех проток, из всех ручьев, из наледей, из «окон» на островах, из источников, из ледопадов, из полыней.

Алексей смотрит заговорщически.

— Опять острова,— говорит он, выразительно тараща глаза.

Да, где источники поднимаются со дна реки, там острова. А почему? Наверно, потому, думаю я, что восходящие струи приостанавливают быстрый бег речных вод и река сбрасывает здесь свой песчаный груз. И еще, конечно, потому, что сами источники выносят наверх из трещин муть — взвешенные твердые частицы и отлагают их тут же. И явно: когда не было островов, воды изливалось больше, острова «приглушали» выходы, и значит, если больше потребуется воды, можно будет брать ее под островами. И значит, если где-либо в реке есть острова, надо смотреть, нет ли около них полыней, нет ли зимой подледного течения от поднимающихся источников.

Под наледью у лагеря слышен шум воды. Колька Шкиль с остервенением вонзает пешню в лед и быстро обкалывает прорубь. Такой правильный, будто руками человека, вырубленный во льду канал прямоугольного сечения и представить себе трудно. Быстрая желтоватая вода несется по каналу от береговых источников.

На острове, где тоже шумело что-то и дрожало под ногами, Колька Шкиль сделал прорубь и еле успел отскочить — вырвался на него бушующий пенисто-серый вихрь воды и свалился куда-то в глубину. Значит, под наледями на острове тоже выходы воды. Сейчас не снимешь эту наледь, как крышку с кастрюли, и не выяснишь, что под ней. Оставим до лета.

В один из дней в теплой искрящейся луже на льду под кустом я увидела весело крутящихся розовых веснянок. Надо нам торопиться — подпирает весна, вот-вот уже будет примешиваться к нашим родникам талая вода, и мерять их будет бесполезно.

Однажды Лешка пробрался по склону вверх и радостно замахал руками, крича,— нашел что-то совершенно удивительное! Стоит и ждет в позе оперного певца — такая у него повадка и посадка головы, и нога чуть вперед.

Подхожу к темной от влаги мощной лиственнице. Снег вокруг ствола протаял до земли, и там, в глубине, клокоча, подпрыгивает и как бы ластится к стволу родничок! Уходит родничок туда же вниз, под снег, исчезает и, конечно, сливается где-то с другими источниками, чтобы добежать с ними до реки.

— Почему же около дерева? — почти возмущается Лешка. — Ведь в стороне же свободнее. Это же против закона природы — тут дерево мешает.

Я смеюсь, потому что Лешка невероятно таращит глаза.

— Законы природы постижимы не с первого взгляда. Дерево не мешает — около него теплее: корни его рыхлят землю, ме-

жду корнями в грунте дольше сохраняется и не замерзает влага. Сейчас, весной, темный ствол, нагреваясь на солнце, оттаивает снег и отепляет землю вокруг, сюда переметываются поэтому те подземные потоки, что блуждают вблизи поверхности, ища выхода.

— Ну, ясно,— успокаивается Лешка. — Законы природы на месте.

— Источники под выворотнями в тайге помните? Это то же самое. Только те деревья уже упали, а эти пока стоят. Они и падают нередко потому, что их подмывают источники. Лиственнице свалиться легко, она не держится за землю, корни ее распластаны над мерзлотой. И ветер ее валит, и вода, тайга всегда полна ветровала, особенно на склонах. Это где-то там, далеко отсюда, красиво говорят: деревья умирают стоя. Лиственница, как и человек, чаще умирает лежа.

Почти все притоки реки выше полыней полны подледным журчаньем, иногда дышат легким паром узеньких полыней — будто где-то в недоступных глубинах греется для всех общий котел. То же и на островах — везде в промоинах выбиваются прозрачные струи.

Мелкие полыньи проток Лешке удалось замерить вертушкой, стоя в воде в высоких резиновых сапогах. А самая большая полынья на реке оказалась глубокой. Лодки нет, без замера этой полыньи наша работа неполноценна. Но я не могу никого заставить лезть в зимнюю воду при морозе почти в двадцать градусов. Все молчат, и немного погодя мы собираем вертушки и снимаем вешки со створа.

— Ой-о-ой! — кричит вдруг Колька Шкиль. — Так я же ж ползу у тую воду! Колы вам надо, я ползу. Чо я, згину чо ли в ей. У войну люди з ружьями та в одежке перебрадовали...

Я махнула Федору, чтобы оставил вешки.

— Смотрите, Коля,— говорю я,— здесь приказывать я не могу и не хочу.

Но Колька возбужденно топчется, порываясь броситься в полынью прямо сейчас.

— Так не же, ползу я и тое точно. Вы мени с вулыци узяли, може я б давно сгнув, а тут вам надо, та я стоять буду?..

Это меня уже смущает, и я останавливаюсь:

— Из-за этого, Коля, не надо. Вы вовсе не должны...

— Та я усё знаю,— нетерпеливо бормочет он, хватаясь за ворот. — Я казав, ползу, так я ползу. И даже не вольнуйтесь...

Мы разложили костер, разбили маленькую палатку, приготовили спальный мешок с химическими грелками, вскипятили чай. Горбыляхский мир завертелся вокруг Кольки — это был его

час, и он это понимал. Колька спустился в долину, ойкая, хоча и ежась от холода, что-то крича синими губами, замерил по стволу нужные глубины протоки и на каждой вертикали поддерживал вертушку. Со льда и обоих берегов сыпались наставления и требования. Колька, видимо, слушал крайне напряженно, потому что сделал все правильно.

Когда работы закончились и Колька, сидя в мешке, радостно орал и сверкал глазами, я достала заветную бутылку и налила в его кружку коньяка. Бутылку коньяка мы с Марченко купили в Чульмане месяц назад на всякий случай.

— Ой, боже ж мой, — поперхнулся чаем Колька, — та я ж не зная, чо вы мени вином понть будете, за это ж враз можно сызнова у воду лезти.

Коньяк здесь, конечно, был ни при чем, просто Колька не привык к вниманию.

Детально обследовали мы и ледопады — в ближайших долинах, особенно в той, к которой подъехали в первый день. По некоторым ледопадам, почти тут же застывая, стекала вода. Идя вверх по склону, мы нередко обнаруживали и незамерзающий родничок, что питал их глубинной водой. Что-то вертелось у меня в памяти, глядя на эти висячие ледяные языки, но что? Когда захотелось курить, я вспомнила...

...Чукотка, бухта Провидения, скалы над бухтой почти у выхода в океан. Начинающаяся зима, громады черных гор, припорошенные первым снегом, узкие, осыпающиеся склоны крутых каньонов. Здесь мне нужно обследовать источники. Летом источники падают в бухту водопадами, и нередко до глубокой осени проходящие пароходы берут из них воду.

По каньонам к источникам я лезу вдвоем с молодым рабочим-чукчей. Зовут его Асахтиках. Бухта внизу лежит как рельефная карта. Тоненькая ниточка прибоя оттеняет темный скалистый массив гор узкой белой оторочкой. Маленький катерок-кузнечик завез нас сегодня сюда на весь день.

Асахтиках по-русски не говорит, и лазаем мы молча. Но, увы, по-видимому, источники питаются грунтовыми, а не глубинными водами, они уже пересохла или перемерзли. Однако под осыпающимися темно-коричневыми плитками щебня где-то в глубине еще журчит вода. Возможно, небольшие межмерзлотные талички сохраняются еще долго, и ледопады будут поэтому кое-где какое-то время образовываться все ниже и ниже по склону.

Закуривая, я протягиваю Асахтикаху пачку папирос. Он берет ее всю, деловито достает папиросу, а пачку кладет себе за пазуху. Мы лазали целый день, все проверяли, нет ли все же

где-нибудь текучей воды, от которой нарастал бы лед. Все висячие ледяные языки нагло меня дразнили — страшно хотелось курить. Но Асахтиках был строг — только два раза неохотно вытянул он темными пальцами за кончик папироску и протянул мне, а потом, закуривая сам, отрицательно покачивал головой. Настаивать я стеснялась. Может быть, он думал, что я подарила ему эту пачку?..

После ледопадов Горбыляха мы много бродили по устьям его ближних притоков, чаще на нартах, но нередко и пешком. Везде лежали громадные и мощные наледы, почти всегда взломанные kloкочущими быстROTOками воды. Все говорило о том, что обширнейшие площади днищ окрестных долин насыщены трещинами и прогреты текучей водой, упорно рвущейся на свободу.

В палатку мы возвращались почти перед самой темнотой, уставшие и часто совершенно вымокшие.



Вечера на Горбыляхе

Не раз, кончив работы, уже в сумерки, а сумерки здесь наступают часов с пяти, присаживалась я где-нибудь на склоне долины на пне или завалившемся дереве. Совсем близко сидели куропатки, и замечала я их только по движению черных головок на белоснежье. Малейшее мое шевеление — и все черные уголки в снегу мгновенно замирали. Посвистывали рябчики. Ружей мы не взяли, и никто нас не боялся. Мне это нравилось. Хорошо, что для нас они не дичь, а просто живые лесные жители.

Однажды я подкараулила удивительный лунный день. Было неясное время перехода дня к ранней ночи, долина еще стояла в красновато-закатном свете, а снежные склоны затененного северного берега уже вошли в ночь, и между веток всходила луна. Тени от ближней сосны, что тихо поскрипывала под ветром, стали расти у моих ног. С сосны осыпался снег, зеленовато отсвечивали на склоне наледы.

А потом увидела я нечто и вовсе сокровенное. Несколько дней подряд почти рядом с лагерем начал вдруг подрагивать и собирался взорваться большой ледяной бугор, но, к нашему удивлению, через два дня он затих без взрыва. Сегодня, когда я пришла к нему вечером, он с тихим воркованьем, по-матерински поил из глубокой трещины в боку робкую серовато-зеленую змейку рожденного им ручья...

В одну из ночей мы проснулись от страшного грохота — на реке взорвался лед. Видно, сказалось дневное потепление, и лед не выдержал натиска притекающей воды — требовательно просились на свободу воды глубинных родников. Горы долго играли — перекачивали развалины эха. Никто из палатки не вылезал. Утром почти рядом нашли ночной гостинец — громадный куб зеленого сверкающего льда, будто обтесанного топором. Глыбы украшали склон и всю обширную наледь от береговых источников гигантскими изумрудами. Выше лагеря сверкающая зеленая цепочка уходила в тайгу.

— Так воны ж могли нас усих поубиваты, — довольным голосом оповестил Колька, стоя у глыбы. Глыба ему по грудь.

Вечерами, среди льдов, больше всего разговоров, естественно, о льдах, о вечной мерзлоте, наледях и оледенениях Земли, с которыми и мерзлота и вода в ней «кровенно» связаны, ведь великие, глобальные оледенения наступали тогда, когда на Земле менялся климат и приходил великий холод. Почему климат менялся через каждые двести-триста миллионов лет? Почему через такие же примерно сроки шло образование гор? Пока это точно не установлено.

Но двести миллионов лет — это и время вращения Солнца вокруг центра Галактики. Весьма вероятно, что оледенения возникали и потому, что Солнце в этом своем движении (и одновременно в беспредельном стремлении к созвездию Геркулеса), таская за собой нашу безотказно послушную Землю, приводило ее на пути страшного холода. Ведь причины оледенений до сих пор не разгаданы. На тех же путях могли встречаться Земле области и невероятной жары, и разрежения атмосферы, и высокой радиоактивности, когда вымирали целые группы животных и происходила заметная смена животного мира.

Великий движитель живой и мертвой природы — солнечная радиация. Она усиливает или ослабляет движение молекул в вечном круговороте вещества. Как говорил Чижевский — биофизик, математик, поэт и художник, — она подчиняет ритм движения вещества ритму звезд. В этих словах мне слышится удивительная гармония всех научных истин и самой высокой поэзии.

Активность солнечной радиации сильно меняется и через двадцать одну тысячу лет, что равно солнечному циклу, и через двести — триста лет, и в более короткие периоды и влечет изменения климата. С увеличением активности Солнца климат теплеет, повышаются температуры воздуха, в мерзлых недрах Земли как бы приоткрываются ледяные двери, соединяются разобщенные льдами водоносные пути, освобождаются скованные мерзлотой воды. Мерзлая толща уменьшается, «днище» ее повы-

шается, «тело» худеет, расширяются и углубляются талики, появляется много сквозных таликов — до теплых недр, до глубинной воды. Все больше источников, ликуя, бьет из земли.

Значительно изменяется солнечная радиация и через тысячу лет. А тысяча лет — это период колебания земной орбиты. Вот так все связано: пути Солнца — пути Земли — ледниковые периоды — климат — мерзлота — плен воды или ее освобождение.

— Придет время и даже при нас еще, — благодушно бормочет Марченко. Он сегодня не промок и поэтому почти весел, — вечная мерзлота потеплеет, температура воздуха-то все время повышается, углекислоты в ней прибавляется, человек выбрасывает столько отработанных газов и твердых веществ своими машинами, предприятиями, взрывами...

— Хах-ха! — подхватывает Лешка, — теперь-то я понимаю, что это за «потепление»! Например, где-нибудь в Анадыре на глубине двадцати метров сейчас минус пять с половиной градусов, да? А будет минус четыре, да? Спасибо, как говорится, за такое тепло!

— А все же, Леша, — вступаю я в разговор, — речь не о сегодняшнем дне, но когда климат теплеет — таликов-то прибавляется, мерзлота сверху и снизу протаивает больше, а на юге, где и вовсе исчезает, южная граница ее подвинется к северу, куда-нибудь вот сюда, к Алдану. Разница?

В единственной нашей палатке тесно и душно. Марченко постоянно курит, Пудов выворачивает свои меховые чулки. От всего этого хочется на воздух.

— Начитался я ваших книг, и потянуло в экспедицию, — продолжает Лешка, разминая ноги, — куда-нибудь подальше, на Индигирку, Колыму, на Анюй, остальные места не запомнил, вобщем туда, где лежат постоянные нетающие наледы. Не все же их тайны раскрыты.

Конечно, он поедет куда захочет.

Наледи на Северо-Востоке самые мощные, их там несколько тысяч. Источники там — на глубоких разломах земной коры. А у нас вот здесь, на юге Якутии, есть огромные территории без воды и речки промерзают.

— Езжай на очень интересную Кыра-Нехаранскую наледь, — говорит Марченко, — двадцать пять квадратных километров, толщина метра два в среднем, вот и развернись там во всю свою богатырскую силу.

Об этой наледи Лешка знает. Развернуться ему там, на Северо-Востоке, в самом деле есть где — около тридцати миллионов кубических километров льда. Во всей же Сибири — около пятидесяти.

— Есть хорошая тема, Леша. Поедете на наледи, исследуйте, как они обновляются. Сейчас считают, что лед нарастает сверху, а тает снизу. Но условия-то везде разные, и наледи по происхождению разные, так что только этой работы, крайне интересной, надолго хватит исследователям.

И еще мы вспоминаем, что из всей воды Земли только около трех процентов пресной... А из пресной воды — три четверти лед и снег, то есть всего ее два процента от всей воды Земли! А подземных льдов всего-навсего около одного процента от всех прочих льдов. А подземные льды и льдистая вечномерзлая порода — это наша плененная вода...

Неожиданно хлынула весна. В несколько часов все смешалось — будто получила природа приказ побыстрее переодеться и получше перед этим помыться. Выбирались мы по реке трудно, по снежному месиву. Иногда шлепали по воде чуть не по колено. Поверх льда разлились громадные озера талой воды. В озерах вниз головой колыхались снежные вершины, выступы черных отогревшихся скал и плыли высокие крутые облака.

Рядом с нартами бежали собаки. Маленькие лапки их мелькали так быстро, что казалось, рядом катятся два детских велосипеда.

Хитроумные пудовские собачки вспрыгивали на нарты и примащивались на них с краешку, как только мы подходили к ледяным разливам. Пудов сердился, кричал на них по-якутски, собаки явно понимали и отворачивались от него, но с нарт слезали редко и неохотно.

— Смотри, — смеялся Пудов, — совсем не слюшай!

Неширокая речка Олонгро, приток Горбыляха, вздулась темно-желтым крутым горбом и неслась как из турбины. Первая оленья упряжка едва не захлебнулась. Дно оказалось ледяным — ноги оленей разъезжались, они упали на колени, и упряжку понесло бы, если бы мы не вытянули ее назад за нарты.

Что же делать? Ждать, идти выше по течению или переправляться здесь? Решили переправляться. Пудов верхом на олене спустился в речку и, взяв в руки поводок, потянул за собой одну нартовую упряжку. На том берегу нарту поставил за куст, привязав к ней конец. Каждую следующую нарту переправляли на растяхках — пять человек держали канат. Нарты заливало, люди ложились на выючные ящики.

В одном месте остановила я наш нартовый поезд. Меня интересовали раздробленные стены песчаников и россыпи их под склоном, захлестываемые речными волнами. В глубину осыпи и трещины как-то очень зримо уходила вода. Я вспомнила Тимптон во время разлива, когда вода с бульканьем погружа-

лась вот так же в пустоты над выходами источников. Прощай, пленница! Когда-то еще придется тебе блистать на солнце. Может, через тысячелетия!

Наверху над долинами, на взгорьях, где сосны и где давно уже стало тепло, нас встретил тонкий и чистый хрустальный звон. Капельки талой воды, что видели мы вечером на кончиках сосновых игл, замерзли ночью. Теперь ветер шевелил их гроздь, и они тихонько позванивали. Мелодии неотвратимой радости обновления сопровождают нас долго, пока не начинает припекать солнце, и тогда постепенно, робко и осторожно распространяется вокруг тонкое шелестение-покрапывание — извечный разговор воды с землей.

И так доверчиво-оживленно усиливается это перешептывание, что кажется, будто наполняется им до предела все вокруг, и тогда понимаешь мгновенно, что неспроста все это, что Земля под ногами уже не прежняя, а совсем новая, неизвестная, потому что завершила планета еще одно свое вращение и вынесла нас в жизнь на следующий, загадочный пока круг.

Май в Чульмане робок, но неуступчив. Каждый день ощущаю завоевание весны. Цветет багульник мелкими бело-розовыми цветочками, не как в Забайкалье — там он лиловый. Запах сильный, единственный, стойкий — не забудь, не забудь, не забудь...

Корочки подтаявшего и оледеневшего снега лежат под соснами и елями праздничными кружевными воротничками. Сосны отозвались на призыв солнца — зажгли зеленые кончики, и на лиственницах набухли и рассыпались по веткам бледно-зеленые звездочки мягких молодых иголок. Деревья разворачиваются в ненавязчивом благодеянии. Не забуду, не забуду...

Оголившиеся сырые бугры в желтой прошлогодней прели листьев, игл и травы. Вокруг кедрового стланика, когда трогаешь его лапы, пробираясь сквозь него, вспыхивают желтые ореольчики пыльцы. Мы покрываемся пылью и чихаем. Ветер поднимает запахи земли, смешивает их с ароматами мокрой коры и зеленого цветения деревьев.

Какие люди нужны этому краю? Какой герой? Нетерпеливый, горячий, может, и со срывами в характере, но полный стремительных идей и быстрых решений? Или уравновешенный трудяга, упорный и неторопливый, исполнитель чьих-то замыслов?

Много раз думалось мне, что дом мой там, где я нахожусь, и что поэтому дальше уезжать не надо. Что-то в этом не так. Может, казалось так потому, что домом в моей душе всегда был путь?



„Генеральский“ дом

Последние недели, переезжая на нартах из сугробов одной долины через распутицу речных устьев в другие, я неотступно думала: где же нам спокойно разобраться с полученными материалами, с образцами и пробами, где снаряжаться в летние маршруты?

Нас около двадцати человек, и вот-вот придет шофер, а с ним канистры, бензин, скаты, покрывашки...

Когда в марте мы появились в Чульмане, это было всего на несколько дней, мы ютились кое-как и торопились разехаться как можно скорее.

А теперь еще экспедиция «подбросила» мне временно газовика из газового отряда. Газовик пишет диссертацию и не прочь «прихватить наш район», а у нас появилась возможность с его помощью проникнуть в тайны растворенных и свободных газов в подземных водах.

Газовик был сухощав, неразговорчив и ироничен. Он привез и молча поставил в середине груды нашего имущества свою громоздкую аппаратуру — нечто вроде макета средневекового замка из стеклянных трубок, зажимов, краников и шлангов. В трубках тяжело поблескивала ртуть. Газовик требовал для своего «замка» отдельного помещения, пугал рабочих, что ртуть — страшная вещь, спать рядом с ней почти смертельно и запрещается техникой безопасности.

Я сомневалась, что в своем отряде имел он отдельное помещение — все мы теснимся в переполненных алданских поселках в частных квартирах-комнатах, но я взяла его довод на вооружение — пробивать глухую стену в поисках помещения.

В двух километрах по Дороге к югу от Чульмана на широком плато, где машина может нестись как по каменной скатерти, стоит несколько рядов двухэтажных заколоченных бревенчатых домов. Когда-то это были дома какого-то начальства.

Видные со стороны Дороги, дома уходят в глубь лиственничной тайги, уже погустевшей от поднявшегося подлеска. Надо же — стоят пустые дома!

На дома никто не покушался: ни поселок, ни экспедиция. Я — покусилась. Захватить бы. Много раз бродила вокруг домов. Один дом — одноэтажный коттедж. Вот бы его для нас.

Начала обычным порядком: исполком, наша экспедиция, местное алданское начальство. Безуспешно. Отвечают — не располагаемся. Посылаю в Москву телеграмму. Ничего.

Однажды днем я сказала Кольке Шкилю и Федору:

— Обоим — срочное задание. Знаете те дома наверху в тайге, над поселком? Здоровые такие, двухэтажные, бревенчатые?

— Ой, ну ясно же знаем, — радостно закричал Колька, пока вопрос этот только доходил до Федора.

— Так вот, самый дальний от Дороги дом — одноэтажный, стоит почти над обрывом, над долиной ручья. После обеда, только без шума, тихо, пойдите туда, обойдите дом, посмотрите лучше, что там на чем держится. Понятно? Подергайте, попробуйте. Придете — скажете. Уговор — ничего не ломать.

— И даже не вольнойтесь, — заверил Колька.

В душе почти каждого человека кроется детская потребность в авантюре. У одного она глубже, у другого ближе. Один скрывает и стыдится, другой до старости радуется, что сохранил.

Задание обоим пришлось по душе. Вернулись они, когда совсем стемнело.

— Ну что? — я кивнула на тонкую стенку к хозяевам, чтобы пока без лишних разговоров. Федору Кольку не дал, конечно, и рта открыть.

— Ну, чо, — косясь на стенку, заговорил он тем театральным шепотом, который у великих артистов достигал галерки. — Ходыли мы вокруг твоей хаты, ходыли, в окна дывылись, всё подряд тягали, как вы наказывали. Та тэ ж доски хлипкие, як трава, воны враз отлипаются, бо до них ище и рукам не дотроняешься...

Я посмотрела на Кольку с сомнением, и он обиделся.

— Та кажи им, Хфедор, бо мени не верить.

Ну ладно.

— А войти туда можно?

— Ну, як же не можно. Зовсим свободно. Через окно.

Можно подумать, что это обычный способ входа в квартиры.

— Мы ж вошли бы, дак вы заборонены — не троньте...

На следующий день приехала последняя наша группа с севера района, и появился шофер с машиной.

После обеда я посвятила всех в план «захвата» дома. Прием старый — быстрота и натиск. Быстро погрузились в машину, выехали за поселок, поднялись в гору, свернули к коттеджу, остановились. На землю с машины посыпались все так, будто брали на бордаж вражескую галеру. Подбежали к дому. Доски действительно «отлипали» как по заветному слову, возможно, не без вчерашних стараний Кольки и Федора. Кто-то уже влезал в окно, кто-то радостно сообщал, что дверь открывается и ломать ее не надо.

Не прошло и пяти минут, как со стороны Дороги не было видно никаких следов набега. Дом светился электричеством.

Через полчаса всю топилась печка, кипел чайник, варилась каша. База была создана.

Пять комнат и кухню мы вывели, вымыли, расставили раскладушки, набили в стены гвоздей, навешали на них плащи и ватники. В отдельную комнату водрузили «средневековый замок» газовика.

На третий день я пошла доложить о случившемся в райком. Как-то обернется все там, чем кончится? В райкоме делами правил Пал Палыч. Невысокий, спокойный. Говорит тихо, медленно. Пал Палыч выручал меня не раз. Прошу в исполкоме оленей — оленей нет. Иду в райком — олени появляются как из-под земли. Прошу рабочих в колхозе, отвечают — нужны самим. Иду к Пал Палычу — рабочие приходят. Но правило у меня всегда было твердое — идти к нему в последнюю очередь.

Деревянный дом у реки, стены в конопаченной брусчатке. Пустой коридор. Кабинет. Стучу. Пал Палыч за столом. Как всегда, приветливо:

— Здравствуй, здравствуй, как дела? Зачем пришла? Что надо?

Он пишет и, отложив ручку, продолжает разглядывать бумаги.

— Ничего, Пал Палыч, — я вздыхаю. — Вернулись из маршрутов, май будем здесь на камералке. Перевалы в снегу, на реках ледоход. Очень у нас тесно, Пал Палыч, даже повернуться нельзя, не то что работать. Нас много...

— Да, тесновато вам, — говорит он неторопливо и продолжая читать. — Много вас.

— Работать невозможно...

— Н-да, н-да... Совсем невозможно.

— А там, наверху, Пал Палыч, над поселком, дома стоят пустые. Заколоченные.

— Есть дома наверху, есть. — Он перебирает бумаги.

— Один дом там одноэтажный, просторный такой, хороший...

— Хороший дом, очень хороший. «Генеральский».

Я помолчала, Пал Палыч просматривал бумаги. Сказала почти грустно:

— Он очень слабо забит, Пал Палыч, можно сказать, почти не забит...

— Да, слабовато забит дом, слабовато...

Вид у Пал Палыча серьезный.

Решившись, говорю с отчаянием:

— Я въехала в него, Пал Палыч... — И жду.

Пал Палыч взглядывает на меня и смешливо шурит.

— А я знаю. И правильно сделала.

Уф! Конечно же, ему сразу доложили. Как могло быть иначе? Поинтересовался:

— А вошла как? Как в дом-то вошла?

И с прежней интонацией отчаяния — неловко сознаваться в несерьезных поступках представителю академической экспедиции — выдыхаю:

— Через окно, Пал Палыч... Доски отодрали.

Он тихонько посмеивается и одобрительно кивает головой.

— Молодец. Не порезалась о стекла-то?



Летучие мыши

Северный край наших работ даже летом иной, чем тимптонско-горбыляхский юг, а осенью тем более. Холодный на гранитах и сланцах, где высоты нагорий более тысячи метров. Мелкие вры рек, развалистые широкие долины, почти нет тайги. Железо, слюда.

В слившихся долинах неспешно, почти переплетаясь, бегут иногда по две-три речки вместе, в траве и низких берегах, почти неотличимых от поймы. Пойма и междуречье расшиты изумительными узорами каменных колец. Морозное пучение все по той же сетке морозобойных трещин вытащило наверх камни и выложило их четкими четырех-пятиугольниками. Ручьи промыли камни до искрящейся чистоты и петляют по ним с легким курлыканьем.

Вдалеке острыми вершинами и куполами упираются в небо горы. Виднеются хребты Суангин, Западные Янги. Морщины гор почти все лето, как старую печаль, хранят прошлогодние снега.

Для летних работ на севере обменяла я временно свою большую грузовую машину на «гвоздодера» — приткую полулегковушку ГАЗ-69. На ней мы сворачиваем с Дороги в тайгу, скачем без троп-дорог по кочкам, по ернику, по прелому валежнику, болотцам и пенькам — и летят во все стороны из-под колес и пеньки и палки-сучья: все слабенько держится в подтаявших мхах. С ходу переезжаем мелкие речки с плоским каменистым дном. Валерий, наш шофер, бывший лейтенант-радист, тоненький, невысокий, подтянутый, выжимает из машины все возможное.

Марченко с газовиком занялись подводными газифицирующими источниками. Жидкая грязь кипит в источниках от газов, как

манная каша. Кое-где маленькие гейзеры вскидываются вверх через каждые пять-семь секунд.

Ближе к горам берега речушек поднимаются выше. На косогорах среди высокой травы мы с Алексеем обнаружили будто кем-то брошенные и забытые «матрацы»... из песка. И размер соответствующий и даже простежка с ямочками. Лешка стал в позу:

— Ну, мерзлота, и в голову бы не пришло!

Пески подняты на поверхность все тем же морозным пучением. «Стегает» матрацы предрассветный пятиградусный мороз не чем иным, как... льдом. В каждом стежке вырастает к утру кучка ледяных стебельков-игolocек. С восходом солнца они тают.

Как-то Лешка, ходивший в маршрут один, радостно сообщил:

— Что я вам покажу! Отсюда недалеко. Склоны террасы совсем лысые! Да какие! И прямо видно, как они лысеют.

Что за лысые склоны? Колька говорит обычно про деятельный слой, что он полон всяких «финтифлюшек» — пятен, колец, бугров. «Матрацы» вон появились, а теперь и еще что-то новое.

Пошли смотреть. И правда — посреди травянистого склона видны сухие глинисто-песчаные голые участки диаметром метров от пяти до двадцати. На лысынах тут и там словно разбросаны кем-то пучки травы — где лежащие плашмя, где растущие, где рассыпанные по травинке — головой вниз по склону. Кто творил суд и расправу? Может, ветер принес сюда эти пучки травы? Хочу сдвинуть ногой один из валяющихся пучков — не выходит. Схватываю рукой — оказывается, он растет в таком виде и его держат корни!

Кое-где кочки развалены, обнажили глинистую сердцевину. Среди больших лысин стоят и совсем целые кочки с травяными султанчиками наверху, но нахохлившись и недовольные, ожидающие своей участи, но не сдающиеся.

Вот, значит, как — кочки разрушаются от пучения и создают глинистые пятна. Там, где лысины небольшие, их совсем не отличить от обычных пятен-медальонов, а происхождение-то совсем разное!

Через день Лешка привел меня к обрыву над рекой.

— Еще одно произведение мерзлоты, — говорю я, — знаменитые «кипящие котлы».

В срезе грунта виднелись причудливо изогнутые слои земли разного цвета и оттенков. Будто в самом деле кипел втихомолку под поверхностью земли невидимый котел, и перемешивались в нем все слои и застывали потом в сложных изгибах какими-то

веерами, черно-желтыми, белыми, оранжевыми, — тут и перегной, и пожаром прокаленные почвы. А когда-то это были слои ровные, мерзлые. Они оттаивали, прогибались, переключивались, насыщенные водой, и тогда-то и создавалась постепенно эта многоцветная объемная пластика.

По таким котлам, их называют криотурбациями, можно устанавливать границы былых владений вечной мерзлоты, потому что они образовались там, где мерзлота протаяла. Их немало в Прибалтике и в северных странах Европы.

Сколько же еще неизвестных нам диковинных творений вечной мерзлоты можно встретить! Страна мерзлоты обширна, и в каждом ее уголке до поры до времени что-то еще таится от глаз мерзлотоведов. Не надо только проходить мимо.

— Не прохожу, — гордо говорит Лешка и выставляет ногу вперед.

Алексей втянулся в нашу работу «с головой и длинным носом», как он сам заявляет, отступать теперь некуда — будет мерзлотоведом, собирается в заочный институт. А почему бы и не в университет — ему ведь только двадцать восемь!

Несмотря на ледяные почвы, когда мы страшно мерзнем, днем стоит экваториальная жара, жалят комары, и маршрут в десять километров по мшистым подушкам в накомарнике кажется в сорок...

В просторных долинах было еще много многолетних бугров пучения со льдом — гидролакколитов. Мы их вскрывали иногда, убеждались — сверху лед, узорчатый, столбчатый, под ним вода. Вода быстро поднималась, успокаивалась от колыхания и тут же зеркально отражала травы и облака. В пустые, треснувшие и застаревшие гидролакколиты мы входили как в заброшенные погреба. Внутри них с потолка обычно капала вода, ритмично и медленно набирая силу. Казалось, вернулись мы в пещерный век, в оледенения, прячемся от диких зверей, и цивилизация снится только нашим пещерным фантастам.

Мы ставили палатки в ерниках (леса здесь почти не было), над берегами тихих рек. Деревья виднелись где-то вдалеке, лиственница кое-где толпилась только на островах, высоких и крутых, как ковриги хлеба. От ночных морозов кустики березы уже давно трясали на ветру красными и оранжевыми монистами.

Вечерами к лагерю подходили полудикие молодые олени. Осторожно вытягивая шею, с любопытством заглядывали через кусты вниз, в мою палатку — она ближняя к реке, откуда приходят они по воде. Олени выросли в тайге, кроме двух-трех оленеводов никого еще не видели. Появлялись они в ернике как прилив, с тихим шорохом затапливали кусты, увеличивая их высо-

ту. Стояли будто на цыпочках, готовые взметнуться ветром при малейшем движении. Чтобы свидание длилось дольше, я «каменела» насколько могла. Олени тоже стояли тихо, и бывало слышно, как под берегом легко побулькивала в родниковых воронках вечерняя вода.

В густых сумерках к палаткам прилетали летучие мыши. До этого мы их нигде не видели. Мыши бесшумно кружились над палатками и костром. Летали они над самой головой, и случалось, задевали волосы.

Но где же прячутся здесь и спят летучие мыши? Пещер нет, в пустых гидролакколитах лед и холод. Наверно, в дуплах деревьев.

— Маленькие ушастики, а слышат звуки с частотам до десяти тысяч герц, — сказал как-то наш шофер Валерий, когда мы сидели у костра. Он молчальник и в разговор вступает редко. — Локаторы у них великолепные. А что они тут едят?

Что могут есть мыши, никто не знал. И что они вообще едят? Я знала только, что в мире летучих мышей около восьмисот видов.

— Ой-йой! — закричал Колька, вылезая из палатки с сапогом в руках и пузырьком касторки. — Я знаю, что те летяги едят. У нас на Украине не могу сосчитать их. Усех вредяков едят на поле. Как есть усих, что и птицы не жрут.

Кто-то сказал, что летучие мыши питаются комарами. Вот это хорошо!

Увидев Кольку с сапогом, все вспомнили наш отъезд с базы.

Мы загружали своего «гвоздодера», когда я сказала, что надо бы купить касторки для сапог.

— Николай, — тотчас крикнул Марченко Шкилю, — живо беги в аптеку, купи пузырьков двадцать касторки. На всех.

И вынул деньги.

Колька засуетился, бросил какие-то ящики, выхватил у Федора на ходу мешок и помчался.

— Коля, не говорите, что для сапог, а то не дадут! — крикнула я вдогонку.

«Гвоздодер» стоял у дверей. Валерий шустро бегал вокруг, закреплял имущество, зажмурившись тряс головой, когда кто-то хотел прикрутить ящик на нос машины. Наверху рос второй этаж. Федор, пользуясь тем, что машина не олень, тащил то лишнее ведро, то кулек картошки.

Колька вернулся и выложил Федору пузырьки с касторкой.

— Молодец, — покровительственно кивнул Лешка, — мне прошлый раз дали только один.

— Та мени не давали, та я просыв...

Уже закрыли окна, подмели пол, мы с Марченко присели над картой, чтобы решить, где лучше сворачивать с Дороги, когда вбежал Федор и крикнул, что нам не разрешают выезжать.

Я выбежала на улицу.

Перед фыркающим носом машины раскинув руки — только через мой труп — стояла невысокая женщина в берете и возмущенно звала начальника.

— Где же вы лежите? — кричала женщина непонятные мне слова.

— В чем дело? — задала я «оригинальный» вопрос и увидела под коротким пальто белый халат.

...А было так. Колька пришел в аптеку и спросил касторки. Ему дали один пузырек.

— Ой, — сказал Колька, сразу схватившись за уши, смеясь, жмуря цыганские глаза и потаптываясь от неловкости. — Ой, мени мало, мени двадцать надо. На усех велели.

— Зачем берете? — строго спросила дежурная в очках. Она нас знала.

— Живот болит.

— У всех двадцати болит?

— А як же. Уси лежать, дыхнуть не могут. Три дни у койках, як камни, валяються. Маються.

Касторку дали и позвонили в поликлинику...

Мыши летали долго. Костер догорал, сильно похолодало. А в палатке казалось еще холоднее. И вдруг откуда-то сверху блаженно потянуло теплым, будто южным ветром. Ветер шел все шире и был необыкновенно душистым.

Всегда немного тоскливо от того, что ветры прилетают оттуда, где мы не были, и летят туда, куда мы никогда не попадем...



Что под нами

Лешка ездил в Чульман и вернулся рассерженный и обиженный.

— Маркелов кричал: «Не понимаешь, говорит, и не надо, передай и все. Скажи — до водоносного горизонта в скважине сто пять метров, мощность горизонта двадцать, производительность десять кубов в час...»

— Спасибо.

— Что «спасибо»? Я говорю ему: горизонт — это линия, какая может быть мощность?

Марченко усмехается: Маркелов объяснять не любит.

Горизонт! Поэтический символ, им всегда тешились поэты. Граница неба и земли, неба и воды, тасжных далей и неба... Он делит мир на землю и вселенную. Как может он иметь все эти скучные названия — мощност, производительност?

Гидрогеологи нарушили условности геометрические и поэтические — у них горизонт не линия. Водоносный горизонт — это водоносный пласт, объем воды, что лежит в глубине в порах и трещинах проницаемых пород, и, конечно, он имеет мощност, то есть высоту, и производительност — сколько можно из него откачать насосами.

До «горизонта» гидрогеологов в усилиях постижения наших тайн Лешка еще не дошел, хотя читает все, что есть у нас из книг, — «Мерзлотоведение», «Гидрометрию», кое-что по геологии. Выхаживает километры, составляя планы и схемы, ведет глазомерную съемку, работает с нивелиром. Расспрашивает. С Маркеловым вышла осечка. Новизна жизни и желание испытать себя, мне кажется, — это главное, что привлекает его к нам и к нашей науке. Ну и романтика ночных костров и блужданий в тайге — ходить он не боится.

— Меня интересует мерзлота, — говорит Лешка. — Удивляет! А вода? Вода для меня была где? В водопроводном кране, а в Алдане — в бочках. А тут из первых рук — из земли, в источках. Как она в мерзлоте существует — для меня загадка, это меня давно интересует. Одолеем!

— Ой-йю, Леха, — ежится Колька Шкиль, слушая Лешку и таская за ним нивелир, — ты скоро все узнаешь, будешь большой начальник и зовсим мени сотрешь, як мы удвох останемся. Пропайду.

Да, я собираюсь осенью оставить Алексея и Шкиля на зимовку в Чульмане с проводником и оленьими нартами, чтобы они регулярно, каждый месяц, объезжали источники и вели наблюдения. Лешка молод и силен и, видимо, понимает, сколько понадобится ему упорства, терпения, знаний и одержимости, чтобы из кулинару стать гидрогеологом-мерзлотоведом.

Марченко иногда кое-что Лешке объясняет. К сожалению, часто мирный их разговор кончается вспышкой. Марченко не мерзлотовед, но он гидрогеолог и сразу же уводит разговором Лешку в Донбасс или Казахстан, где работал, Лешка же упорно тянется к воде в мерзлоте. Сердитый кашель Марченко и быстрые шаги Лешки да еще хохот Кольки — частые завершения их бесед.

— Встретил я в чайной человека, — говорит как-то Лешка, подсаживаясь ко мне. — Работал за Якутском. Мерзлота там, говорит, метров четыреста. И сразу под ней напорная вода.

— Ну и что?

— Чего ж она мерзлоту снизу не протаивает?

Протаивает. Но ничего быстро не делается. Я рисую Лешке схему. Пусть представит, как эти «теплые» напорные подмерзлотные воды, подобно согнувшемуся гиганту, что пытается разогнуться и поднять на своей спине непосильную тяжесть, давят снизу на мерзлую громаду. И местами оттаивают ее и создают там, на нижней ее поверхности, талики. И по таликам внедряются в нее. Талики растут вверх, а навстречу им спускаются талики из-под рек, а также те, что прогреваются сверху водами надмерзлотными и поверхностными.

Воды ручьев и рек, ночной росы и талых снегов, туманов и мелких осенних дождей несут в земные недра свое тепло. И воды же выносят на поверхность тепло глубин.

И сверху вниз и снизу вверх вода просачивается там, где ей легче всего пройти, — по трещинам, по рыхлым породам, чаще начиная путь в глубину — под реками. От движения воды такие талые проходы — «трубы» разветвляются, где-то они и соединяются между собой. Создается как бы невидимый межмерзлотный таликовый «каркас».

Этот талый «каркас» греет мерзлую толщу вроде водяного отопления. Таликовые «трубы» то расширяются, то сужаются, промерзают и закупориваются льдом. Наблюдения, бурение, иногда расчеты выявляют законы странствий воды в мерзлоте. Не всегда инженеры могут рассчитать движение воды в мерзлых породах, потому что не везде есть единая их связь, а законы и формулы предполагают именно ее непрерывность.

Но в системе «водяного отопления» мерзлой толщи иногда встречаются «печки», что дополнительно помогают ему. «Печки» — это те места, где температура пород почему-либо повышена: идет распад радиоактивных элементов или протекают химические реакции с выделением тепла, бушуют подземные пожары углей, живут выделяющие тепло бактерии. Тепло этих «печек» пополняют два основных источника тепла, что есть в природе, — тепло солнечной радиации и недр Земли. В таких местах воде легче проникать через толщу мерзлых грунтов. Но, к сожалению, «печки» редки.

Самые же мощные глубинные отопители — это горячие газы и горячие воды, что поднимаются из недр. Талики вокруг их путей обычно обширны, это настоящие тепловые оазисы. Тепло недр во многом определяет закономерности развития толщи вечной мерзлоты. До сих пор еще точно не знают ученые, почему приток тепла из недр Земли не везде одинаков. Однако по крупным разломам, в руслах рек он обычно больше, чем в других

местах. Участок с повышенными тепловыми потоками известен при впадении Алдана в Лену.

Как-то мы разговорились о водах, что лежат намного глубже толщи вечной мерзлоты. В некотором роде жизнь их похожа на ту, что за пределами Страны мерзлоты или в обширных многокилометровых таликах. Везде наиболее свободны воды грунтовые — близка поверхность, а значит, облегчена связь с водой ручьев и дождей. Те воды, что лежат глубже, сжаты водоупорами. Протискивается вода по порам и мельчайшим трещинам страшно медленно — сантиметры в год! Миллиметры в сутки — хорошо, а метры в сутки — редкость, это уже в породах сильно трещиноватых. В карстовых пустотах несутся стремительные потоки. А в глубинах глубин лежит навечно спрятанная, неподвижная, застойная вода.

История происхождения подземных вод больших глубин не разгадана еще до конца. Ученые считают, что, по-видимому, некоторые воды, так называемые захороненные, образовались там еще тогда, когда породы, что вмещают их теперь, только отлагались. Миллионы лет назад. Или вода осталась там с тех пор, когда сушу оставляло заливавшее ее море — вода недр сильно минерализована, обычно это почти рассолы. Считают, что там есть и воды из остывших паров магмы — ювенильные, девственно-чистые. Больше всего проникает в недра вод атмосферных.

Все, даже рабочие, всегда с удовольствием участвуют в таких беседах, не скупятся на вопросы, и всем хорошо, если не смотреть на страдальческие глаза Кольки Шкиля. Колька обычно ерзает и тоскливо смотрит на дверь. Лешка же с миссионерской неумолимостью держит его подле себя, считая, что единственный его в предстоящую зиму помощник должен хоть что-то понимать.

Каждый раз понемногу, получают короткие рассказы о чем-то одном. Вот сегодня, например, мы говорим о напорных водах. Глубинные, напорные, артезианские воды... Сжатая непроницаемыми пластами вода недр становится напорной и приобретает силу преодолевать препятствия. Проникать на высоты до этого недоступные.

Напор — это великий движитель в природе. Слово «напор» как образ поэты и писатели явно взяли у гидравликов, у гидрогеологов: творческий, жизненный напор, показатель жизнелюбия, жизнестойкости. Наверное, можно говорить и наоборот — о глубинном таланте, часто скрытом в человеке.

Напор зависит от того, как высоко подняты крылья складок пород. Чем выше они подняты, тем больше напор, он будто рождается там, в этих крыльях. И еще важна для него среда — материал крыльев — порода. Пробиваясь вперед, вода теряет силы на

трение и напор и как бы растрачивается по дороге. Термин «потери» удивительно удачный. Напор уменьшается на величину потерь. Иногда обессилев, вода не доходит до поверхности земли, ей нужна помощь — насосы. Где препятствий мало, вода несется по скважине вверх и взвивается в небо фонтаном. Громадные запасы нескрытых вод лежат в земле. А сколько неоткрытых талантов!

На другой день я пошла к реке, на буровую к Бугримову, старому мастеру, что бурит в Чульмане глубокую скважину. О мерзлоте, воде и скважинах Бугримов говорит как о живых людях — их надо понимать, звать, когда не тревожить зря, когда требовать и даже опасаться.

— Расторопное вещество, — уважительно отзывается он о воде.

Куда уж расторопнее, думаю я, размывает целые материки и уносит в океаны. Создает облик планеты.

— К примеру, такие вот скважины разведочные, — говорит Бугримов, — бывают как «бабки-угадки», что мы задумали, то и дают. И мерзлота в них четко кончается и внизу воды полно. Качай, не ленись, сутками, неделями. А бывают упорные, будто черти за нос водят нас, куда ни сунемся — в мерзляк попадаем. Или уровень падает, падает — хлоп, и воды нет. Вломились, значит, мы туда, где мерзлота для себя водички припрятала, исчерпали — все.

Бугримов добродушно смеется, встает, покряхтывает, идет к скважине, что-то там укрепляет, чистит. Мы с ним соратники, мы оба за освобождение великой пленницы для людей. К источникам

Бугримов относится восторженно, но отчужденно, как к красавицам-недотрогам, с которыми все неопределенно и сложно, а скважины для него — свои бабы, уютные жены, от которых и забота, и удобство.

— Если уж попадешь на воду где тебе надо, то она вся тут, на месте, ни откуда ее волоочь не надо. Вот эта — разведочная, а худо-бедно задаром дает восемь кубов в сутки, в морозы под пятьдесят — плохо ли?

Мы помолчали с Бугримовым, сидя на деревянных щитах, потом заговорили о том, что удивительно схожа жизнь воды в артезианских бассейнах с судьбой человеческого таланта. Почему источник выбивается? Потому, что есть расселина, или потому, что напор его, сила его так велики, что он сам эту расселину находит?

Талант, как и глубинная вода, если сам не проявится родником или если не открыли его люди, как артезианскую воду скважиной, останется в «земле» навсегда. Есть, конечно, богато ода-

ренные люди, у них талант брызжет, как родник из расселины, с искрами, с большой отдачей.

Чтобы понять талант человеческий, тоже нужны специалисты, особые искатели, благожелательные и бескорыстные. Они и выводят на поверхность «артезианскую воду» возможностей человека. Помогают преодолеть тяжкий пласт равнодушия и косности, лени, зависти, инерции и эгоизма.

Мы осмотрели с Бугримовым скважину. Толстенные трубчатые керны известняков с глубины более двухсот метров лежали в ящиках матово-серые, слегка зернистые. Та самая «пеленочка», которую когда-то, как балагурил Ухов, неумело подстелил бог в «колыбельку» — на дно Чульманского артезианского бассейна и «по недосмотру» — только на северной его половине (южная-то размыта!).

Скважина спокойно изливала около стакана воды в секунду через невысокий ржавый патрубок. Бугримов любовно хлопотал у скважины.

— Подумайте, — восхищенно говорил он, перебирая керн из руки в руку, — вот этот кусок отлагался больше двухсот миллионов лет назад, а мы видим его своими глазами. Ну в обрывах, в обнажениях тоже, конечно, видим ископаемые всякие, но тут, можно сказать, сами, почти руками с места взяли оттуда, где он родился.

Что еще происходит под нами? Сейчас почему-то полюбили слово «вакуум». Слово научное, техничное. В энциклопедическом словаре о нем сказано: «Это разреженное состояние газа, которое может быть получено с помощью специального насоса. В высоком вакууме существует такое разрежение, когда длина свободного пробега молекул больше размера сосуда с газом. Средний — когда сравнима с ним. Низкий — когда меньше его».

Журналисты слово «вакуум» употребляют неправильно — вместо слова «пустота». Полагают, что это одно и то же, но интереснее, научнее, современнее.

Но вакуум не пустота, это напор, только отрицательный. Он втягивает, засасывает, заполняет себя чем-то — он активен. Он может многое изменить в состоянии мерзлых или талых пород.

Вакуум внутри мерзлых толщ — активная сила движения подземных вод. Он бывает причиной образования некоторых видов подземных льдов. Течет вода по трещине, заполняет ее всю, то есть работает, как говорят инженеры, полным сечением, и из боковых трещин засасывает воздух, там-то и образуется разрежение — вакуум.

Или, иначе, замерзает вода в рыхлых песках или суглинках, увеличивается в объеме, лед раздвигает грунт, уплотняет его.

Сила давления такого льда в замкнутом пространстве огромна — до двух тысяч килограммов на квадратный сантиметр. Лед завоевывает себе «жизненное пространство». А когда он тает и вода занимает меньший объем, в создавшейся «пустоте» возникает вакуум. Если под вакуумом окажутся переохлажденные трещины, втянутая вода превратится в лед. И путь воде к свободе будет закрыт.

Для пресной воды мерзлые породы практически непроницаемы. Пока... они не оттаяли. Но и наоборот, водоносные слои, промерзая, становятся водоупорами. Таких превращений вне Страны мерзлоты не бывает.

Когда-нибудь люди научатся использовать те изменения, что происходят в мерзлых недрах при похолоданиях и потеплениях климата. И будут они видеть эти недра насквозь.

Приятель Маркелова, завернувший как-то к нам в «генеральский» дом вместе с ним, когда мы «камералили», услышав от меня нечто подобное, возмущенно вскричал:

— Вы нас в грош не ставите. Мы — геофизики, почти подземные боги, а вы этого будто не замечаете. Ваш загадочный ледяной ларец — ваши мерзлые хребты и долины мы давно уже начали «просвечивать». Как это мы не видим, что под нами? Геологи километровые толщи бурят? Бурят. До семи километров почти дошли, правда не здесь. Они же дают геологические разрезы на сотни километров. А мы? Своим электрическим зондированием выявляем уже ваши талики и мерзлые «острова» среди таликов, и верхнюю и нижнюю границы вечной мерзлоты отбиваем. Сейсморазведка, электрическое профилирование вам небезызвестные. Ну?

Он оглядывал всех грозно. Никто ему не возражал. Но все знают, что в мерзлоте все это очень еще ненадежно, требует проверки бурением, шурфовкой. Нам же еще ничем попользоваться тут не пришлось. Вот аэрофотосъемка в других районах мне помогла, а здесь ее пока не было до нас. Она так хорошо показывает летом цветущие луга на таликах, а зимой — наледи и полыньи. Кому-то после нас работать будет легче. Мы же начинали, когда и геология района ясна не была, и речки кое-где на карте пунктиром показаны...

С геофизиками расстались мирно.

— Мы только на вас и надеемся, — сказали мы кротко, прощая их до дверей.

— Что делается под нами! — говорит Лешка. — А мы ходим не чужая по всем этим водоразделам и долинам. Жизнь наша коротка, пока она пройдет, там (показывает на землю) ничего не изменится.

Вот и не так! Век наш короток, верно, но человек даже на коротком этом пути вольно или невольно многое меняет, то, что создал великий творец. Убеждаться человеку в этом приходится с радостью или отчаянием. Вскоре пришел случай показать это Леше.



Наперегонки с эпохами

Марченко шагает по опавшей листве навстречу и издали манит меня рукой. Легко и приятно ходить по осенним водоразделам.

Мы только что приехали от фонтанирующей скважины. Скважина поднимает из песчаников сульфатную воду с глубины триста метров, по дороге прихватывая ее и из других водоносных горизонтов, что поближе. Очень красив излив воды из скважины — сквозь живой серебристый его цветок просвечивает невысокий патрубок. От цветка идет легкий запах сероводорода. Зимой над скважиной нарастает большой ледяной гриб, от тепла и брызг воды гриб украшается крупными снежными листьями.

Сегодня Марченко настроен просто и дружески.

— Идемте, я покажу вам интереснейшую вещь, впервые здесь видел — дующие скважины.

Пошли через красно-бурые заросли березовых кустиков. Стало совсем холодно и зябко, когда вступили в редколесье полураздетых худощавых лиственниц. Над скважиной на корточках сидели геологи из Чульмакана. Из земли торчал небольшой кусок трубы. Мы нагнулись, я подставила руку — недра дышали прохладным, незнакомым подземным ветром. Откуда и когда залетел он туда, где бродил, пока не привелось ему выскользнуть через этот руками человека сотворенный выход?

Ветер выносит песок и легкие камешки. Песчаную метель подхватывает начинающаяся снежная. Поднимешь голову — мутно-белая мгла падает сверху, будто рождается на глазах. Я разорвала обрывок бумаги на мелкие кусочки и попыталась бросить в скважину. Все они тут же вылетели обратно.

Для нас эта земля под ногами как сплошной монолитный массив, а там оказывается столько ходов, соединенных в какие-то свои пути, и на этих путях мечутся песчаные вихри. «Дующих» скважин не так уж много, пути подземного ветра в мерзлоте могут быть закупорены льдами. Как намерили наши коллеги из

Якутска, температуры пород здесь, в долинах, минус два градуса, на водоразделах — меньше градуса.

Воздух в землю проникает всюду, где можно, — через разрушенные, открытые ветрам вершины, водоразделы, склоны, заваленные глыбами, через пустоты пещерных выходов, по промытым речной водой ходам, переждав сначала, когда выйдет наружу вода. Да частенько приглашает его в гости верный слуга недр — вакуум.

— Идите на сорок пятую, — говорят нам с Марченко геологи, поднимаясь на ноги и собираясь уходить. — Там все идет наоборот — скважина втягивает воздух. — И хохочут. — У Маркелова из рук зажженная сигарета сиганула в дыру и пропала, видно, грешники у Аида сидят без курева... Подкиньте им там парочку папиросок!

Пошли искать сорок пятую. Как-то Марченко задал Алексею вопрос, отчего движется вода? Лешка обиделся.

— Ясно отчего, вниз — от силы тяжести, вверх — от напора.

— А еще?

Алексей молчал.

— От изменения атмосферного давления. Давление меньше — уровни воды повышаются. А еще? От вакуума в породах. А еще от давления при промерзании. Особый, криогенный напор, мерзлотный. А еще? От насыщения воды газами. Вода становится легче и поднимается.

— Уф! — Лешка не обижается.

Сорок пятую нашли не сразу. На ней никого уже не было, и мы без уверенности (она ли?), на авось вынули деревянную пробку. Под руками сразу заныло и засвистело — земля ответила одичалыми голосами. Воздух потянуло внутрь довольно сильно. Бумажки и снежная крупа завилились и унеслись в глубину. Папиросы для грешников Марченко пожалел.

— Обойдутся воспоминаниями, — сказал он, усмехаясь.

Но нам до темноты привелось увидеть и услышать еще одну необыкновенную скважину — с водопадом. На спуске в лошину заметили Маркелова. В распахнутом ватнике он шел согнувшись и устало тащил мензулу и две лопаты. Мы помогли ему. Рассказали, где были, о верхней «дующей» и о сорок пятой, заинтересовались, есть ли у них еще такие?

— Пожалуй, еще только две, да вот одна здесь недалеко, к тому же водяная, по вашей части. Идемте.

Удивительные воздушные насосы действуют в глубинах пород — стремительно летит струя воздуха по какой-то трещинной магистрали, вероятно, очень извилистой, и на ходу, между делом отсасывает мелкие воздушные струйки из соседних трещинок,

потому что от его движения за ним следом создается разрежение — вакуум. Подобным образом работает и водоструйный насос — эжектор.

Скважина притулилась на дне распадка. Распадок начало уже заметать снегом. Стоило нам открыть скважину, как послышался гул и шум падающей воды. Похоже, вода сливалась с большой высоты. Скважина заметно втягивала воздух. Подземный водопад! А как их много в открытых и неоткрытых еще подземных пещерах. Скважина пересекла водоносную трещину, и вода стала проваливаться вниз, найдя где-то там себе пути не менее просторные. Здесь воздух снаружи, очевидно, засасывает падающая вниз вода: как и воздух, она создает над собой разрежение. Вот так и получается у них там в глубинах — за водой и воздухом, как хвост, таскается вакуум и каждый с его помощью перетягивает один другого. Иной раз бывает осечка — машина останавливается: занесло воду в слишком холодные промерзшие щели, и образовался лед. Пробка.

Сегодняшние необыкновенные скважины были нам с Марченко вроде награды за многочасовое наше хождение. А ходили мы по таким же, как и эти, разведочным скважинам, смотрели, где и как они располагаются. И вот для чего: кто-то стал утверждать, что на водоразделах и возвышенностях вечной мерзлоты нет и не было, а есть и была она только в долинах, вроде тут особый тип мерзлоты, особый район. Но климат-то, думала я, не тот, чтобы мерзлоты не было, температура среднегодовая минус десять градусов!

— Ну, какая вам разница, — говорили мне, когда я выражала свое несогласие и даже возмущение. — Как люди хотят, так пусть и думают и пишут, одни так, другие эдак.

Но важна истина. И вот оказалось, когда походили мы по этим водораздельным просторам, что «сидят» скважины чуть ли не бок о бок, их много. Проходились они, как и полагается в вечной мерзлоте, с горячей промывкой — недели и месяцы в мерзлые трещиноватые песчаники нагнетали горячую воду, чтобы не прихватило инструмент. После такой «бани» мерзлота, которой здесь всего-то наверху метров тридцать — сорок, конечно, была уничтожена, и вполне естественно, что в этих отогретых скважинах намеряли положительные температуры. Каким же им еще теперь быть?

Талики есть и были раньше, но в отдельных местах, и это другое дело. Но как доказать, что мерзлота была? Может быть, остались где-то следы от первой разведки, той, до проходки этих скважин?

В архивах среди кучи разрезов, профилей и длинных поясни-

тельных записок нашлась небольшая карточка этих самых мест на восковке — рабочая схема. Горизонтали — чернилами, скважины — красным карандашом. Приписка внизу: «Мощность мерзлоты до тридцати метров». Вот оно. Была!

А может, и живые люди есть, что вели ту первую разведку? Очевидцы. Разузнала и выяснила — есть такой Ипатьевский, теперь старик, бывший бригадир первых разведчиков, живет в поселке Кирпичный Завод.

В рубленом домике, где-то в ложине, кряжистый старичок в черно-серых кудерьках встретил приветливо. Кудерьки в бороде, в усах и вокруг лысины. Глаз не видно в глубине почти сомкнувшихся век. Ипатьевский оживился — наскучался на пенсии, стосковался по своей нужности кому-то. Весело кивал головой, вспоминая подробности разведки. Оказывается, его бригада проходила не только скважины, но даже и шурфы.

— Жгли костры, или все было в таликах? Говорят, что на водоразделах мерзлоты никогда не было вовсе?

Ипатьевский изумляется.

— И кто это мог сказать?

Он смотрит иронически и начинает мне объяснять, что такое мерзлота.

— Бурили в рыхлых до двадцати с лишком — из мерзлоты не вылезали, шурфы проходили по десяти метров глубиной — все в мерзлоте. Кострами не пользовались, потому как внизу не повернуться, дымно, не вылезешь. В трещинах иней и лед. Эх, милая, разные люди бывают, разные, — он косится на Марченко.

Марченко насупился, почему-то принял свой устрашающий вид, и старик думает, что я привела с собой кого-то из тех, кто считает, что мерзлоты на водоразделах нет.

Вот теперь и есть Лешке ответ на его замечание о скоротечности нашей жизни и о том, что за наш короткий век никаких перемен в недрах земли произойти не может. Может! Человек успевает вершить даже геологическими судьбами. Чтобы сами по себе оттаяли те тридцать метров мерзлоты, нужны были бы, может, сотни и тысячи лет. Глобальные изменения климата. Смена эпох.

А человек вырубает тайгу, бурит скважины, сажает их одна к одной, льет в них кипяток и проделяет за климат и геологическую историю всю работу за какие-то несколько лет. Громадные массивы протаяли — разведка-то обширнейшая, за это время можно даже сотни метров сделать тальми, а здесь всего было тридцать, и, конечно, растопили они мерзлоту, как выражается Леша, запросто. Получилась искусственная подземная деградация мерзлоты.

Есть такой термин «культурный слой». След жизни человека на земле. Раскопки на окраинах древних городов всего мира вскрывали десятки метров этого культурного слоя. В Новгороде археологи обнаружили одну над другой несколько мостовых. А вот здесь человек поступает совсем необычно. Он не наращивает слои земли, а просто протягивает в недра свою руку и ускоряет ход эпох.

Что только руке человеческой не подвластно! Остановить наступление пустыни, повернуть вспять реки, прорезать в сухой земле каналы, вдохнуть жизнь в бесплодные земли.



Езда на леших

На севере Алдана ноябрь — это зима. Но мы еще в поле, нам надо провести предзимнюю разведку источников. Если окажется, что кое-какие протерзаны уже сейчас, то не надо будет тратить на них дорогое время весной, когда одна за другой вскрываются реки и мешают шальная талая вода. Временная северная база у нас — на окраине поселка Таежный. Выезжаем в маршруты нередко только вдвоем с Марченко: сейчас с работами широко не развернешься, а замерить расходы и температуры воды можем и сами.

Олешки наши пробраться к источникам по заваленным снегами долинам не смогли, и мы стали искать других, покрупнее и посильнее. Нам назвали некоего Мишку из поселка Кирпичный Завод. Сказали, у него олени как лошади, свезет хоть на небо, хоть под землю. Мишку нашли. Невысокий, крепкий, растрепанный, страшно ругательный мужичонка. Заключили договор — по любым сугробам до самых источников.

Мишка пренебрежительно сплюнул:

— Нужлишь пехом, со своими-то оленями? Ясно, до самых.

Леглиер, Медведевка, Сивагли, Тит, Муркегу... Еще и еще десятки рек и ручьев.

Дорога пересекает водораздельные пространства, налево и направо от нее в близких километрах начинаются истоки многих рек и ручьев. Неглубокие долины, плоские возвышенности. Но высота местности над уровнем моря до полутора километров. Алданское нагорье. Вдали хребет Западные Янги в зимнем сверканьи. Ветер уплотнил снег в долинах, только распадки и наветренные склоны в глубоких сугробах.

Олени у Мишки в самом деле как лошади — выпрыгивают из

снега громадными прыжками вместе с нартами. Деньги за оленей Мишка берет страшные, но у меня нет выхода.

Иногда мы ночуем у охотников в избушках, продымленных, закопченных и жарких, завешанных лоснящимися ватниками и плащами, ружьями и патронташами, заставленных кадками и ведрами. Сидим за столами из досок, пьем черный, как деготь, чай. Я расспрашиваю об источниках — где, какие, когда видели, сколько примерно воды, как добираться.

Мои расспросы у Марченко вызывают бешенство. Разговаривать с охотниками он не дает, кричит, что эти сведения он уже имеет, собирал когда-то, и именно об этих источниках, и я могу взять их у него.

— А я хочу слышать из первых уст сама, мы с вами можем сверить результаты, разве плохо, если они подтвердятся? А вдруг что-то новое?

Когда мы заведомо знаем, что проверить услышанное не сможем, мы в своих работах пишем: «По опросным данным». Так вот эти «опросные данные» я получаю сейчас с превеликим трудом. Лучше бы ездил одна.

Охотники обычно сразу замолкают, криков Марченко не понимают. Давясь табаком, он стремительно выскакивает из избушки на мороз. И выхожу, и упрашиваю — боюсь простудиться. Возвращается угрюмо, на меня не глядит, подолгу не разговаривает.

До временной нашей базы на Таежном в темноте не всегда удается дотягивать — путь трудный. Тогда мы ночуем в будках на Дороге.

Самое мучительное в поездках здесь — это бугры. В Якутии бугров разного рода великое множество, и это естественно, потому что где же им еще и быть, если возникают они от пучения грунтов, насыщенных замерзающей водой. Здесь пучение сильное — под ногами граниты, наносов в реках мало, снизу мерзлота, воде спрятаться некуда.

Стекая по днищам рек, вода растит в их устьях сезонные гидролакколиты — громадные бугры пучения. Летом бугры тают, на их месте образуются провалы, ямы, широкие извилистые канавы. Местность разворочена так, что кажется, будто вылез из-под земли подземный великан и ушел куда-то. Сейчас все эти провалы, едва прикрытые снегом, как ловушки для оленей с нартами.

В тот поздний вечер, почти ночью мы возвращались с Эрги. Все обследовали, замеры, сфотографировали. Сквозь начинающуюся метель кое-где еще слабо помаргивали крошечные звездочки, когда мы пересекали холмы. Земля темнела через прибитый ветрами снег. Из снега торчала замерзшая колючая трава и

оголившись, обледеневшие кусты березки. Обычно путь по любой основной реке — это непрерывное пересечение разрушенных гидролакколитов в устьях ее притоков.

Олени ныряли в канавы, совершая истинно фантастические прыжки, и как они не поломали себе ноги — тайна их судьбы. Что наши ребра остались целы — чистая случайность. Марченко, сидя на задней нарте, бормочет проклятия. На передней в полный голос без передышки надывается Мишка. Подстегивая себя и разъяря собственным гневом, ежеминутно поминая близких родственников, Мишка клянет сумерки, метель, ямы, оленей и больше всего нас.

— Мать честная курица лесная, дернул меня черт... мне бы в голову не пришло залезть в эти капканы... У-ох! Мать честная курица лесная... без совести люди... чтобы живого человека и зверей мучить...

Мишка прекрасно все понимает, но другим он быть не может. А завтра, встав и накормив оленей, как ни в чем не бывало запряжет их и, изобразив на злодейском лице приятную улыбку, пригласит садиться.

На узком, прыгающем островке нарт, крепко держась за их передок, я стараюсь чем-то отвлечься, чтобы не слышать криков и бормотания. Не обращаю внимания и на то, что по голове моей с двух сторон, как цепами, молотят рогами олени Марченко.

Была у меня давняя мысль создать альбом гидролакколитов с фотографиями, с деталями крупным планом, чтобы были видны и трещины, и излив воды, с ландшафтами, с описаниями. Постоянные гидролакколиты, особенно гигантские, — явление не только чрезвычайно своеобразное и интересное, но еще пока и загадочное — никто не знает точно их происхождения, несмотря на вроде ясную схему действия.

Постоянные гидролакколиты как древние старики среди вот таких, как здесь, сезонных младенцев, на которых мы мучаемся. Что такое одна зима жизни этих по сравнению с сотнями или тысячами лет жизни тех, могикан — мгновение! Они стоят как памятники природы. Могикане тоже питаются глубинными источниками, но более мощными, указывая геологам своим присутствием на разломы. Внутри у них тоже лед, но подо льдом напорная вода и чаще всего неистощивающийся ледяной «корень» — промерзший источник, некогда их питавший.

Но ледяные старики могут внезапно ожить, если что-то изменится в их окружении. Например, построят люди дом рядом или начнут взрывать грунт, копать, бурить. Тогда прогретая солнцем и водой земля раскрывает ледяные печати. Из бугра может хлынуть вода. Иногда люди этому радуются, нередко даже умыш-

ленно «расшевеливают» бугры, а часто и огорчаются, если вода или наледь от нее затапливает дома и дороги и коржит их.

Мои раздумья прерывает рывок нарт назад, хрип не то оленя, не то человека, моя упряжка внезапно валится ко мне, Мишкины олени исчезают в яме. Оказалось, что свалился Марченко, но успел схватиться за нарты, затормозил наше движение, и мы надолго завязли в трещинах, я — наверху, Марченко и Мишка — в ямах. Олени хрипят, тянут ремни связок. Мишке надо вылезать, распутывать, развязывать каждую нарту, вытаскивать все на ровное место (а где его найти) и связывать все снова.

Когда поехали, «ариозо» Марченко и Мишки — дуэта у них не получалось — звучало громко. Голова Мишки то пропадала где-то внизу, и тогда олени взвивались вверх и рога их танцевали на еле светлеющем еще небе, то олени исчезали, и тогда по небу металась широкая фигура Мишки.

Возвращаю себя к прерванной мысли. Хорошо бы сделать альбом гидролакколитов всего мира, поместить все характерные их типы в разных породах, они ведь бывают даже в скальных. Обильно растут они не только у нас — в Якутии, на Дальнем Востоке и Тянь-Шане (на высоте три тысячи метров, где есть вечная мерзлота), но в особенности в Канаде, на Аляске и в Гренландии. Эскимосы там называют их пинго.

В Канаде чуть ли не заповедники этих пинго — местами приходится по одному на квадратный километр! Нередко из пинго изливаются источники, чаще минерализованные, бывают и «минусовые», то есть криопажные вроде наших, о которых рассказывал Севастьян. В Гренландии через пинго даже изливаются глубинные артезианские воды...

Неожиданно метель разошлась в пургу. Почти вслепую долго выбирались на Дорогу, а выбравшись, «засвистели» по ней в унисон с пургой. Тут я вспомнила обещание Мишки прокатить нас как на леших. Оленей быстро завьюжило, шерсть их забило колючим снегом, и мы в самом деле летели как на неведомых зверях.

До Таежки не дотянули. Мишка не раздумывая осадил оленей у будки Тит. Крохотный домик в одну комнату, передняя метров шесть. В комнате будочник с семьей, в передней на полу уже пять человек, застигнутых, как и мы, пургой. Шофер ли дальше не повез, пересадку ли надо кому, пешком ли на ближнее месторожение собрался человек — у каждого свое.

И мы страшно рады, что хоть у самого порога, где дует и несет из-под двери снегом, нашлось нам троим метра два квадратных. Крыша, пол, тепло. А бывало, что и возвращались обратно в метель, в мороз, если не было места, и мчались к себе на Та-

ежку, путаясь, пробирались сквозь пургу, не чувствуя ни лица, ни рук, ни ног.

Человек не всегда понимает, что должен ценить и когда давать себе волю радоваться. Главное — не откладывать радость! Пусть малую. Горе нам откладывать не приходится — оно сваливается на нас камнем и застигает врасплох. Даже малыми печальми мы разрешаем себе болеть, а почему-то радостей ждем только больших, а малых как-то не замечаем.

Мы развернули два спальных мешка, загородили ими порог и сели, чтобы подремать до утра. Но радость наша не кончилась — будочник принес всем горячего чаю...

Путники, странники, бродяги-искатели неизученных земель и собственной судьбы хорошо знают, что такое кров в непогоду и кружка горячего чая! Будочники — особые люди. Не спрашивая, кто мы, что мы, откуда и куда идем, видя нас в первый и, может, единственный раз в своей жизни, почти каждую ночь стесняя себя, привечают они всех. И я не помню, чтобы брали они с кого-нибудь деньги. Не знаю, обязаны они это делать или нет. Хочу думать, что не обязаны, и я принимаю от них благо как дар их души. И лучше отплачу я за этот их дар другим людям тем же, потому что деньги по сравнению с таким даром — ничто.

...Домик нашей временной базы на Таежке мал, но тепел. Он на отшибе, почти на выходе к Дороге, и овеивается всеми ветрами. Я люблю ветры. Дома за стеной они дарят уют, на воле — надежды.

В тот день мы с Марченко приехали с Муркегу, почти превратившись в сосульки. Мишка говорил: темнеет, сушиться некогда, топлива все равно нет — кругом ни кустика, надо выбираться, пока не пропали.

Дома ждали, топились печка, был готов ужин и раскладная чистая кровать. Когда я почувствовала все это, то поняла, что я счастлива. Но тут же усмехнулась: неужели человеку так мало надо? Как далеко это от состояния той высокой природы чувств, что обычно называют счастьем. Тогда что это? Удовольствие? Больше. Блаженство? Не то. Не придумали пока люди другого слова, равного по силе ощущений.

Но дело ведь не только в тепле и в доме. Часто мне бывает здесь очень тяжело, но почему-то не променяю я эти тяготы, еду на леших и этот домик и всю нашу походную неустроенность на налаженный московский быт и нарядную улицу Горького. Не променяю прожженный у костра спальный мешок и заледеневшие ватные брюки на стеганое шелковое одеяло и вечернее платье. Всему свое время — в этом все дело. Так что же? Может быть, любить и иметь и то и то — это и будет счастье?



Московские каникулы

Зимой был отпуск, Москва. Москва — это не только свидание с родными и друзьями, не только отдых и развлечения. Здесь многое надо успеть узнать, посмотреть, послушать, почувствовать.

Разве не любопытно, какими идеями сейчас занят мир, какие новые гипотезы родились, какие окрепли или сникли и потерпели крах? Надо поинтересоваться, что говорят в научных институтах, в научных обществах, а самое главное, в кулуарах после заседаний. Обычно это самая увлекательная часть вечеров — разделившись на группки «по интересам», все обсуждается горячо, даже страстно. Живая беседа иногда уводит далеко от основной темы, в области не менее привлекающие и совсем неожиданные.

Надо побывать и на художественных выставках, подышать всегда желанным воздухом консерватории. И еще надо неспеша побродить по Москве после долгой разлуки, почувствовать ее заново.

Конечно, хотелось узнать прежде всего, что нового стало известно о мерзлоте, в гидрогеологии и в родственных ей науках. Наша наука о воде в вечномерзлых породах — криогидрогеология — совсем еще юная. Первые мысли о ней появились в последние дни кануна нашего столетия, а первые ее шаги — во второе его десятилетие. Она родилась на стыке геологии, географии, мерзлотоведения и геофизики. «Своих» гипотез у нее почти нет, а вопросов нерешенных — множество. Ее гипотезы — это гипотезы, родственные ее «родителям». Поэтому я не могу в интересах к своей науке отстраниться от геологии, ибо мерзлота — это порода с замерзшей, замерзающей и оттаивающей водой, а геология — наука о Земле, а Земля — космическое дитя, и дитя это находится под неусыпным надзором и влиянием космоса и Солнца. Естественно, что необходимо услышать кое-что и о космосе.

Почти каждый вечер я отправляюсь на какой-нибудь доклад. Часто мне сопутствует Аркадий, иногда Севастьян, и, конечно, мы всегда встречаем там весельчака и балагура Ухова. Он же считает своей святой обязанностью извещать нас о том, где и что можно послушать.

В последние десятилетия в науке произошел взрыв — люди поднялись в космос, спустились на дно океана и пробурили сверхглубокие скважины. Из космоса Землю увидели по-новому, разглядели ее неразличимый с поверхности каркас. Оказалось, что каркас как бы просвечивает сквозь многокилометровый слой ле-

жащих на нем пород. И чем выше «взгляд», тем глубже он проникает в недра Земли.

В средних частях дна океанов нашли грандиозные разломы земной коры. Оказалось, что эти разломы, или рифты, как их называют, разбивают Землю на гигантские плиты. Сбеднясь, разломы протягиваются более чем на семьдесят тысяч километров, опоясывая Землю. Вдоль разломов породы собираются в складки и растут подводные хребты. По разломам дна океанов раздвигаются, изливается магма, создается новая земная кора, а «излишек» земной поверхности уходит в глубину, под материки...

Об этой ведущей в геологии всего мира гипотезе мобилизма (движения материков) — глобальной тектонике плит — мне хотелось услышать что-то новое. Хотя в начальной своей идее гипотеза не нова и относит нас еще к началу века, но свежие данные совершенно ее изменили и возродили в другом облике. Устоявшиеся мнения о возрасте Земли, ее строении, происхождении материков и океанов, горных систем и впадин перетряхиваются теперь, как старая одежда.

Для нас, мерзлотоведов, очень важно, что эта гипотеза дает свое объяснение следам древних оледенений и вечной мерзлоты в Африке, Южной Америке и Австралии. Эти континенты входили в южный материк — Гондвану, что лежал где-то вблизи Южного полюса и был захвачен глобальным оледенением триста — четыреста миллионов лет назад. Естественно, становится понятным и другое — полярные острова и те участки суши, где сейчас встречается, например, уголь (Шпицберген, Тикси), требовавший для своего появления тепла, грелись когда-то под солнцем тропиков. И уголь, получается, не что иное, как «штамп» былой «прописки» этих мест в жарких странах.

Почему перемещаются материки, пока окончательно не установлено. Гипотезы среди прочих причин указывают на вращение Земли и его изменения, на большую роль космических влияний.

Мы с Севастьяном идем на один из докладов по улице Горького. Скоро стемнеет. Зима в Москве выдалась снежная, скамейки на бульварах стоят в пышных шубах до земли. Улицы и дома от наступающих сумерек уже приобрели непонятную отчужденность. Площади будто затаились, и, кажется, совсем замкнулись в себе памятники...

В витринах вспыхнул прозрачный, слегка притушенный стеклами световой туман. Площадь Маяковского еще просторна от светлого неба, и памятник поэту рисуется на его фоне массивной темной глыбой. Совсем неожиданным оказался Зал Чайковского — легкий, будто полный какого-то внутреннего свечения, подобно большой, необычной раковине. Похоже, что стены излу-

чают розоватый воздух. На капителях — сиреневый иней, по фризу — лиловый снег. Густой золотистый свет идет из-под колонн. Внизу шевелится толпа, как водоросли на морском дне. Дом полон ожидания и высокой радости.

Переменчиво замелькали бело-красные конфетти огней автомашин, каких-то фонариков, полосок света, повелительно стали помаргивать светофоры. В домах вспыхивают окна — желтые, розовые, голубые, прозрачно-водянистые от ламп дневного света.

Все параднее и торжественнее улица. Приближается ее крайний и высокий час — перед тем, как зажгутся фонари...

Сквозь серые, замершие и какие-то уже отрешенные деревья все увереннее проступает спокойное дыхание вечера.

И вот зажигаются фонари... И жизнь мгновенно меняется. Все становится ярче, определеннее, но проще.

Севастьян знает, что час этот я очень люблю, и идет рядом молча. Сегодня мы слушаем горячее обсуждение другой гипотезы — о расширении Земли. Гипотеза по идее тоже не нова, но открытия последних лет осветили и ее по-другому.

— Мне очень нравится, — говорит Ухов, увидевший нас в аудитории, когда уже шли выступления, — что геологи во всем мире наконец проснулись. Все волнуются, и это хорошо, а то они очень долго спали. Смотрите, что делается!

Страсти в самом деле разгорались. Почему Земля расширяется и расширяется ли она? Приверженцы гипотезы говорят: это происходит потому, что со старением гравитация ее, то есть земное притяжение, уменьшается и масса разуплотняется. Поэтому Земля должна увеличиваться в объеме... За истекшие двести миллионов лет диаметр Земли увеличился на две тысячи километров, по сантиметру-полтора в год. Проверено, что расстояние между Европой и Америкой увеличивается ежегодно даже на величины значительно большие, Атлантика расширяется!

А кто-то не соглашается, говорит: да, океан раздвигается, но это потому, что материки-то движутся. Споры, споры...

Кажется, Нильс Бор сказал про какую-то гипотезу, и это всем очень понравилось, что она недостаточно сумасшедшая, чтобы быть действительной. А вдруг эта, о которой сейчас речь, все же окажется достаточно сумасшедшей? Тогда снова иначе надо посмотреть нам на те же оледенения в предшествующие эпохи и на историю возникновения и уничтожения мерзлоты. Как блуждало в этом случае по растягивающейся планете ледяное пятно? Как менялись места пленения свободолюбивой живой воды? И что было в этом наиболее характерного?

На следующий день — небольшая уютная комната одного из научных обществ. Все друг друга хорошо знают. Докладчик очень

хочет, чтобы слушающие убедились — Земля — это не что иное, как кристалл с четырьмя, восемью или двенадцатью гранями. Землю надо представить как мячик в сетке, сплетенной так, что образуются треугольники. Если присмотреться — треугольники соединяются в пятиугольники.

Докладчик напоминает, что начало мысли идет еще от Платона. Платон будто бы говорил, что, если на Землю посмотреть сверху, она похожа на сшитый из кусков мяч. Суть идеи в том, что строение земной коры подчиняется влиянию единого электрического поля. Узлы и ребра внутри многогранников — это места проявления внутренней силовой решетки. В них идут все активные процессы. С ними будто бы совпадают и Срединно-океанические подводные хребты, к ним приурочены месторождения полезных ископаемых, исторические центры цивилизации, вулканизм, аномалии животного мира. В них происходят и некоторые непонятные явления...

Докладчика поддерживают, кто-то выступает против, на него яростно нападают, но интерес к происходящему всеобщий. Ухов смеется, кивая на защитников.

— Ох, уж эти мне последователи, нет на них преследователей! Это по классификации ученых. Не знаете? После расскажу.

Через неделю маленький, лысый, очень серьезный человек в другом научном обществе сообщал о том, что, судя по космическим снимкам, невидимые силовые поля проявляются не только на теле Земли, но и над ней, в атмосфере, где временами возникает подвижная, тоже ориентированная решетка из облаков и туманов. То есть существует как бы единый процесс и общая упорядоченность всего окружающего — от малого до крупного. Та же закономерность предполагается и во всей Вселенной и тем более на других планетах, и это подтверждается исследованиями и снимками...

И тут же выступает другой докладчик — молодой человек, напругенно-величественный, похожий на актера древней трагедии. Он утверждает, что основной элемент первоначала не квадрат, не треугольник, а круг. Овал. По эллипсу движутся планеты, круги выявлены на Марсе, Луне, Земле — кольца, круги, дуги островов в океане. Он упоминает, что и физики сказали по этому поводу свое слово — в таких кольцевых структурах происходит местное образование тепла, и очень сильное...

Конечно, почти все докладчики рассказывают обычно не о своих гипотезах, гипотезы эти в большинстве случаев блуждают уже по всему миру, но все же о таких, борьба против и за которые продолжается.

Мы, гидрогеологи-мерзлотоведы, не можем не интересоваться

и космическим мерзлотоведением. Известно, что льды есть на планетах солнечной системы. Лед на полюсах Марса — теперь это уже точно установлено — водяной и имеет температуру минус семьдесят градусов. Из космической пары Сатурн — Юпитер кроме метеорного вещества выбрасываются и льды. Водяной лед есть и в кольцах Сатурна. Полагают, что некоторые спутники Сатурна частично или полностью покрыты льдами, так же как и Нептун. Загадочные бродяги-кометы состоят почти целиком из льда и таскают за собой длинные сияющие хвосты. Многие не сомневаются, что есть и ледо-каменные и ледяные метеориты.

Не так далеко то время, когда каждая из наук внесет свой вклад и поможет изучению скитаний воды внутри планеты. Многого тогда прояснится и в условиях жизни воды в мерзлых породах.

Какая из гипотез скажет окончательное слово о происхождении оледенений и вечной мерзлоты, а следовательно, и о древней истории существования подземных вод в ней, пока неясно. Какие ритмы охлаждения и прогревания Земли особенно влияли на перестройку условий движения воды в мерзлых, промерзающих и оттаивавших породах и как могло это отразиться на том распределении подземных вод в мерзлых толщах, которое существует сейчас? Этим будет заниматься наука палеокриогидрогеология. И людям для их же блага будет когда-нибудь легче помогать пленнице вечного холода выбираться на свободу.

Прощаясь после одного затянувшегося доклада, Ухов вспомнил о своем обещании рассказать нам о классификации ученых. Он снял перчатки, поднял вверх ладони, как факир, и прищурил один глаз, как всегда, когда хотел чем-нибудь удивить.

— Ученые по отношению к современным гипотезам, в какой бы области они ни провозглашались и кто бы их ни изрекал, разделяются на следующие типы: тип первый — провозвестники; эти создают новые гипотезы, из старого принимают целесообразное, отбрасывают устаревшее. Подтипы — буйные и тихие. У буйных главное — перекричать противников, у тихих — удар врагам готовить втайне.

Я рассмеялась.

— Это вы придумали, Ухов?

— Что вы! У меня математический склад ума. Я не смогу. Это справедливая и уже одобренная классификация.

— Так что дальше?

— Тип второй — ниспровергатели: все гипотезы недодуманы, лучше их разбивать, пока не поздно. Подтип — завистники. Тип третий — последователи, восторженные доброжелатели: все поддерживают, популяризуют. Иногда так срastaются с какой-ни-

будь чужой идеей, что обижаются, если ее приписывают не им, а другому. Тип четвертый — консерваторы. Эти говорят: «Пока в учебниках все без изменения, ничего в мире нового нет»...

Все посмеялись и признали, что большая доля истины в этом есть.

Был у меня и такой вечер — Большой театр и вечернее платье, о котором даже думать не хотелось на Таежке, а здесь быть в нем — радость, как и радость чувствовать через тонкую туфлю ковер под ногами. Яркий, теплый свет люстр и бархатная глубина ложи и третий антракт из «Кармен», столько раз слышанный и каждый раз воскрешающий тоску о чем-то таком прекрасном и недостижимом, что, кажется, получив его, согласишься потерять, лишь бы знать, что оно было...



Самое лучшее

Чтобы почувствовать Москву полностью, я хожу поздними вечерними улицами. Ночные города — это прекрасная и завлекательная поэма, и каждый читает ее на своем языке. Ночью нет суетливой толпы. Дома и площади незащищенно открываются по-новому только для тебя.

Я иду в тишине и пустоте улиц старыми переулками Москвы. Сейчас это заповедная зона — Петроверигский, Спасоглинищевский, Армянский, Чистые пруды. Кое-где небольшие палисадники. У подвального окна дома асфальт растрескался, приподнялся, и из трещин торчат голые прутья тополя. Тополь — мое любимое дерево. Я люблю его за силу жизни, упорство и настойчивость, за титаническую сопротивляемость и победительное самоутверждение.

И вот уже ночь в Москве, тихо, огни на улицах притушены. Я дома, в своем старом переулке, пишу, читаю и почему-то думаю о тех, кто в эти мгновения в полном одиночестве, далеко от людей находится во власти стихии. Я уверена, что в мире таких наберется немало. Кто-то с аквалангом проникает в черные провалы трюмов затонувших кораблей, кто-то в глубине северной тайги бедует без пищи и огня, кто-то изнемогает в душной сельве среди ядовитых насекомых, кто-то гибнет в волнах бушующего моря... Помочь бы им! Будет, наверное, время, когда вместо часов на руке у каждого засветится универсальный приемник-передатчик, и молниеносная международная помощь найдет человека на любом меридиане.

Я люблю слушать голоса старого переулка по вечерам. Пере-

кликаются дворники, лают собаки — их выводят гулять. Без собак вечерние переулки мертвы. Я знаю всех здешних собак и хорошо различаю их лай на слух. Задиристо лает маленький черный Чарльз-Кинг — страшно любопытный и настойчивый, прилипающий ко всему подряд, так что хозяину на каждом шагу приходится его оттаскивать как пудовую гирию. Чарльз подпрыгивает и возбужденно нюхает воздух.

Выдержанно и раздельно, будто говорит, полагивает овчарка из соседнего подъезда — исключительно чтобы возвестить о себе. Низким голосом без лая ворчит очень старая дама-бульдог из дома Веневитинова, где Пушкин читал Бориса Годунова. Тонко и долго-призывно взлаивают изящные, поджарые бело-рыжие колли. Колли так узки в телах, что, когда девушка ведет их с двух сторон, мне всегда кажется, что она спешит на вокзал с чемоданами...

После собак долго и жалостно, как тысяча брошенных матерями младенцев, кричат кошки. К рассвету такое впечатление, что их заживо раздирают пополам. Выглядываю на балкон — сидят рядом на низкой крыше, не отрывая друг от друга глаз, боясь пошевелиться, полуповернувшись в закаменевших, страшно неудобных позах. Кошачьи голоса, наверное, единственные в мире, которые свободно могут выражать интонациями сильнейшие эмоции при совершенно равнодушных мордах. Поищите еще таких артистов!

Молчат улицы, крыши, неподвижны верхушки снежных деревьев в садике напротив. За ними на фоне глухого неба виден слитный частокот — колокольня Ивана Великого и Спасская башня со светящимся красным рубином. Поднять бы крыши домов и заглянуть бы в мысли и души людей.

Алексей прислал мне свой дневник: «... в октябре вода в протоках Горбыляха начала пениться и пузыриться от газов, температура ее все повышается. Как же так — наступает зима, а температура воды все выше? В ноябре добраться до нашего створа не удалось — вся река поверх льда залита наледной водой. В декабре в сорок шесть градусов мороза олени выбивались из сил, падали. Речная наледь растет и перекрывает наледи от береговых источников, а они сами больше километра длиной... На наледи выросли совершенно зеленые и прозрачные, как стекло, ледяные бугры со слонстым льдом высотой больше двух метров, но не на тех местах, что в прошлом году. Вертушка в воде полыней при пятнадцати градусах мороза замерзает. Отогреваю ее факелами и сразу в воду — видел, как делали на метеостанции в Алдане.

Из-за снега и наледей олени по несколько дней оставались без корма. Искать ягель и добираться до него не могли...

Перед моим отъездом в Москву из Чульмана расставались мы с Алексеем и Колькой Шкилем очень тепло и даже трогательно. Я оставила с ними нашего нового проводника Ваньку и четыре оленьих нарты. Каждый месяц ездят они по источникам, замеряют расход, отбирают пробы. Когда давала я Алексею последние наставления, все вроде походило на посвящение в рыцари.

— В ваших руках разгадка не одной тайны, Леша. Вы можете нам постичь то, что происходит в невидимых недрах Земли.

Говорила ему и еще что-то — о деле для него теперь кровном, о честности перед собой, о главной оценке всего и всегда — собственной.

На зиму я поселила их у Терентьевны. К Терентьевне пришло горе — получила она извещение, что далеко на Индигирке умер ее хозяин. Мы сидели и молчали. И вдруг Колька серьезно и грустно сказал:

— Не все разом, мамаша... Не все разом. Не огорчайтесь...

Терентьевна быстро вскинула свое темное лицо, посидела окаменев минуту, потом медленно подошла к Кольке, худая, высокая, иконописная, наклонилась и тихонько поцеловала в голову.

— Роденький мой. Какое слово сказал. Никто такого утешенья мне не дал, один ты. И все правда — не все разом, по очереди, глядишь, и моя незадолгом... — и сморгнув ресницами слезы, улыбнулась. — Живите, родные, живите у меня, как свои будете.

И еще сказала я Лешке, прощаясь.

— Поделюсь опытом. Если будете себе говорить, что то, что вы делаете, трудно, не под силу, надоело, если будете все проклинать или откладывать, никогда ничего у вас не получится и ничего не завершите. Если вы что-то уже делаете, значит, начали, в пути. А если так, то не очень теперь все и трудно. И еще запомните — откладывать ничего не надо. «Завтра» может не быть — не для вас, а для дела.

Кто-то сказал самые прекрасные слова: дорогу осилит идущий!..

Пора к себе на Алдан — остро ощутимо уже стало для меня здешнее безвременье. Я нужна там, там меня ждут, и это хорошо. Как хорошо, когда кто-то и где-то человека ждет!

Алексей со Шкилем носятся сейчас по зимним ледяным рекам, нарты их заливают стилой наледной водой, и ветер срывает палатку. А у меня на столе стоят крупные белые цикламены. Глубокая белизна этих цветов напоминает мне первозданную чистоту снегов далеких таежных рек.



Совершенно нормально

Если вы с вечера заперли квартиру изнутри на замок, заложили поперек двери концами в стену железный болт в два пальца толщиной, проверили все запоры, а в два часа ночи просыпаетесь от того, что в соседней комнате кто-то осторожно ходит, — что вы почувствуете? А дом в тайге, в двух километрах от поселка. Да хоть бы и в поселке...

Я села на раскладушке и прислушалась. Явно кто-то ходит — дошел до двери, вернулся назад, приблизился к окну, постоял, опять пошел...

Что ему здесь, собственно, надо? Ценностей никаких. Ничего, кроме раскладушек, образцов пород, книг и мелких личных вещиц рабочих вроде застиранных рубашек и трусов. Даже ватники в тайге, потому что ночи холодные. Может, кто из тех, что интересуются паспортами, деньгами и продуктами?

Вот опять ходит. Ну, конечно, в чужой квартире, куда попал без приглашения, необычным путем, как-то не принято сидеть или лежать. Обычно ходят. Слегка заколыхались половицы под моей раскладушкой. Тут уж сомнений никаких, не обман слуха.

Подождать, посмотреть, как повернутся события? Спрятаться — может, уйдет? Но у меня скверная привычка идти навстречу опасности, если встреча неизбежна. С тем, кто там ходит, она неминуема, потому что если есть здесь что-то, то оно в моей комнате — сейф. Значит, тот придет сюда.

Ожидать от него я могу чего угодно. Лучше пусть мой приход будет для него внезапным. И потом, если даже он соберется уходить, я должна знать, что он взял, не ломать же потом себе голову.

Я встала, надела зимнее пальто, только что присланное из Москвы для Якутска, и отправилась смотреть, кто там ходит и как он попал в комнату.

Тихо вышла, сделала несколько легких шагов по коридору и широко распахнула дверь. В середине комнаты на цыпочках, закусив губу, вытянув шею и испуганно моргая глазами, стоял страшно лохматый Марченко. Лицо разглаженное, чистое.

— Ух! — я прислонилась к косяку. — Откуда вы взялись? Как вы сюда попали?

Он молча, как будто мог кого-то разбудить, показал на окно. Форточка!

— Бог мой, но как вы могли пролезть в эту форточку?! И зачем? Почему не постучали в мое окно или в дверь?

Большой и довольно широкий Марченко пролез в форточку! Правда, форточка немного шире обычной, она квадратная. Но все равно эти чудеса только для цирка. Читала, что были случаи, когда человеку грозила смертная казнь и властелин-самодур предлагал ему для сохранения жизни сделать невозможное, например проглотить украденный громадный кусок золота. Человек глотал и даже оставался жив...

— Я не хотел вас будить и боялся испугать...

Мы сели, закурили и долго смотрели друг на друга. Я — все еще не веря, что передо мной Марченко, а не бандит и что он в самом деле влез в форточку. Он — казня себя за то, что все же разбудил меня, будто это главное!

— А вы не боялись, что у меня разрыв сердца будет, когда я услышу шаги в соседней комнате?

И тут же поняла, почему он об этом не подумал — он бы не проснулся! Почему он пришел ночью, один? Пятьдесят километров. Только позавчера все они ушли туда, и через пять дней за мной должен был прийти проводник Ванька с оленями. Оказалось, что сгорел лагерь в первый же день их прихода на место, то есть вчера. В лагере оставался один Ванька. Устраивая для оленей дымокуры, он обычно подпаливает сухие кочки, мох, сучья, даже поотставшую кору на деревьях и не следит за огнем. Запрещали ему делать это много раз, но проверять бывает очень трудно. И очевидно, как всегда, он лег после этого спать.

Все были на работах. Почувствовав запах гари, подумали, что это дымокура, потом побежали, но пожар уже кончился. От лагеря остались только резиновые сапоги, кем-то заброшенные на дерево. Сгорели палатки, спальные мешки, продукты, одежда. Немного наскребли они на дымящейся земле полуобгоревшей крупы.

Ванька объявился в лагере несколько часов спустя; якобы он искал убежавших оленей. Может, олени и убежали от пожара раньше, чем он проснулся. Ванька изобразил буддийское удивление, говорил, что он ни при чем.

Впервые в нашем доме Ванька появился так: вошел в комнату и остановился посередине — невысокий, почти маленький, помедвежьим округлый, с круглым и смуглым, лоснящимся лицом, круглой головой, левая рука на перевязи. Что-то от большого дитяти. Сказал:

— Я — Ванька.

Колхоз прислал мне его в проводники. Ванька — эвенк, но, как и большинство из них на юге Якутии, говорит не по-эвенкийски, а по-якутски. Сирота, без семьи и родных, вырос в чужой дальней юрте, где-то в глубине тайги. Не очень сообразителен, но хитроват и практическая сметка есть. В первом же бою, уже в конце

войны, был ранен, и рука его навсегда повисла. Председателю колхоза легче всего отдать нам именно его, я это понимаю, и, кроме того, председатель считает, что наша работа легкая и Ванька справится.

А у нас не так уж легко для него. Мне хотелось бы крепкого, расторопного и во всем сведущего проводника, чтобы его и распросить и поездить с ним в разведку и чтобы оленей летом он выючил крепко и зимой хорошо бы грузил и увязывал нарты. Мои горожане не помощники — стоят и смотрят. А как Ванька будет с одной рукой? Но что делать, не отсылать же его обратно, жалко парня...

Марченко был страшно зол на Ваньку и кричал, что отдаст его под суд. Идти с ним утром не захотел, а вышел сразу, к ночи. Шел напрямик, по компасу, без тропы. Все же он молодец, Марченко. Ни ночь, ни тайга, ни бездорожье — все ему нипочем. Доказательств Ванькиной вины нет, и все угрозы Марченко бессмысленны. Потом были милиция, акты, допросы, разговоры с Ванькой, поездки на склад за имуществом и продуктами. В бухгалтерии на мне «повисла» большая сумма денег...

Летний Горбылях — край сказочный и необыкновенный. Оазис и раздолье сквозных таликов. Теплая, даже жаркая страна — в восемь часов утра двадцать восемь градусов! Зимой в царстве льда и представить невозможно все эти роскошные луга. Буйство цветов на островах среди ерника и елей, на поймах и по склонам. Высокотравье, красные и желтые ирисы, оранжевые лилии, зонтичные, медунница, лютики и еще какие-то удивительные пестрые цветы. Эти с приближением вспархивают и улетают — бабочек множество.

На острове из-под земли бьют фонтанчики — похоже, что фильтруется речной поток. На террасе, где лагерь, скипидарно резко пахнет елью, багульником и сырыми мхами. Среди кочек в два метра высотой, с голубикой, елочками и кустами березы наверху родниковые воронки по полтора метра в диаметре. Кочки омываются бегущими вниз по склону потоками воды, вода на глазах выжимается буйной силой снизу между гранитными глыбами.

В воронках через «кипящий» песок брызжет вода и выходят газы. Песок так взрыхлен, что рука свободно идет в глубину. Над потоками колышется громадные папоротники.

Из-под корней редких здесь деревьев тянутся полоски сухих руслиц — над ними когда-то зимой стоял Лешка в безмерном удивлении. Похоже, вся твердь земная под ногами сочится, каж-

дый камень уже не камень, а едва прикрытые двери бездны, живая ткань, отдающая сок Земли,— все пропитано им и он изливается щедро и благодатно.

Но северной экзотики Горбылях не потерял — на километры по берегам реки и на перекатах, как гигантские белые киты на мели, лежат остатки наледей в несколько метров толщиной и сверкают молочным глянцем. От наледей тянет холодом. Под жарким солнцем над самыми источниками в трещинах кочек белеет лед. Темные суглинки в шурфике совсем рядом с родниковыми воронками переслоены льдом, как конфеты «раковые шейки» темным стекловидным сахаром. На длинных наледных полях спасаются от оводов и комаров олени.

Робинзоны наши построили из корья большой прохладный шалаш. В шалаше нет комаров, и робинзонам потом все завидовали.

Широкие разливы реки спрятали раскрывавшиеся зимой тайны проток — полыньи. Неистово со всех сторон с утра до позднего часа кукуют кукушки. Что-то утерянное, невозвратно-щемящее в этих «ку-ку».

В ближайшей наледи у нас комфортабельная кладовая. Если уж работаем на холодильниках, можно позволить себе питаться свежим мясом. Привозим его с собой, покупаем у охотников. Речки вокруг кишат рыбой, но мы заняты, а Ванька единственный раз поймал громадного тайменя длиной в метр, поймал в маленьком ручье рядом, и, хотя я ему заплатила, ловить больше не стал.

Ночи в палатке стыло-холодные, и мерзнем мы хуже, чем зимой, потому что зимой у нас печка. Я летом всегда в отдельной палатке, здесь же со мной и прибор СГ. В инструкции к прибору сказано, что низкие температуры снижают точность определений, и я, боясь этого, укрываю прибор на ночь своей одеждой.

Дымокуры Ванька ночью не разводит, и на рассвете ошалелые от оводов олени мечутся, задевая стропы палаток и выдергивая колышки. Едва не унесли с палаткой спящего Кольку. Колька барахтался и вопил: «Хто, чего, спасите», — думал медведи...

Самое интересное, «горбыляхское» было в реке. Узнала я об этом еще в Москве, получив из лаборатории анализы наших проб воды. Пробы эти, отобранные Алексеем зимой на горбыляхских протоках, задали нам совершенно неожиданную загадку. Мне не терпелось здесь, на месте, решить ее. Недаром Леша удивлялся повышению к зиме температуры воды в протоках! Анализы показали, что с наступлением зимы речные, обычные гидрокарбонатные воды реки, что мы всегда пьем, сменяются в протоке на сульфатные и повышают при этом свою температуру. Но сульфатных вод в гранитах быть не должно. Такие воды в глубинах Чульман-

ского артезианского бассейна — там песчаники, угли. Граница бассейна отсюда более чем в шести километрах. Так откуда же они здесь?

Искать воду в вечной мерзлоте не очень просто и еще сложнее понять иногда ее пути. И методики ее поиска пока точной нет, она создается на ходу.

Может, южные гранитные берега когда-то надвинулись на песчаники и перекрыли его на этих шести километрах? Поэтому из-под гранитов по разломам теперь поднимаются сульфатные и более теплые воды бассейна?

Марченко возмущался, сердито двигал усами, делал самое страшное выражение лица, бормотал, что все эти предположения чепуха, если сульфатные воды здесь есть, значит, так и положено тому быть.

Но быть не положено. Позднее геологи уточнили — надвиги здесь были обнаружены.

Но почему сульфатные воды проявились только зимой? Очевидно, потому, что летом мощные воды реки несутся с громадным гидродинамическим напором. Напор подавляет небольшие сульфатные струи и как бы запирает для них днище реки. Зимой же, когда протоки осушаются, гранитное ложе приоткрывает свои двери для этих пасынков долины и потихоньку выпускает их на волю.

Как-то заехав в Чульман, я зашла на буровую к Бугримову. Скажина по-прежнему выдавала по стаканчику воды в секунду. Рассказала Бугримову о летних работах, о сульфатных водах на Горбыляхе, о том, как не хотелось начинать мне разведку еще на одном месте в другой стороне от Чульмана — трудно добираться, но все же начали, и результаты оказались интереснейшими.

Бугримов рассмеялся.

— Вы-то ладно, много уже там поработали, а ведь как бывает: лежит золото перед человеком, и ничего он еще не наработал, а не хочет. Человек по природе ленив, это я вам точно говорю. Ему бы волю и денег вволю — ничего бы не делал. А все, что человек сотворил на земле, все от слова «надо». Вот кто умеет сказать себе «надо» и послушать сам себя, тот в выигрыше.

Мне всегда хорошо с Бугримовым. Он из тех людей, около которых тепло. А человеку всегда нужны рядом добрые глаза и добрые руки. Вот такой Бугримов. Верный старик. За словом «надо» — начало. Старый русский почин, про который говорили — лиха беда. А начнешь, дальше само идет. И бывает потом хорошо, удовлетворенно, будто поднимаешься на какую-то ступеньку перед собой и оттуда все лучше видно. Кажется, так я говорила и Лешке.

Вроде это расходится с теми хорошими словами, что главное в человеке — желание. Оказывается «надо» и «хочу» равно необходимы нам, как необходимы мать и отец.

Когда моих ребят в Чульмане спрашивают:

— Как дела, таежники? Говорят, вы там тонули, горели, падали куда-то, чего то еще с вами было. Теперь как?

Колька Шкиль за всех кричит:

— Ой-йю, и кто это вам набрехав? Усе совершенно нормально...



Две Мулатки

Эту историю, сидя в кабине моей грузовой машины, рассказал мне геофизик Деев. Грузовик прикнулся к обочине дороги недалеко от будки Беркакит. Шофер, расставив циркулем ноги, стоял на полотне, дожидаясь коллегу и намереваясь перехватить его для помощи.

— Мы с Эммой тогда только что поженились. Это была наша с ней первая экспедиция. Она была похожа на мулатку — загорелая, с длинными, чуть косо поставленными глазами. Ветер и призывы быстро восстанавливают в женщинах лучшее, что дала им природа. Я думаю, им это нужно больше, чем нам. В Эмме появилась гибкость и быстрота движений, которых я давно не замечал, они утратились в городе. Я сказал ей это. И еще я сказал:

— Знаешь что? Назовем эту речку Мулаткой — в твою честь. Она пока безымянная, эта маленькая таежная речка. На карте ее нет, а мы напишем это название, так и пойдет. Пусть это будет подарок тебе.

За двумя перевальчиками, километрах в двадцати, на другой реке у нас осталась лодка с мотором, два ящика с образцами, два тюка с теплыми вещами и продуктами. К условленному месту на Лене, а до нее отсюда сотни две километров, катер нашей экспедиции должен был прийти недели через две. Не застанет нас, придет еще через две, потому что за это время нас могут «подобрать» газавики. Так мы договаривались.

Эмма, лазая по крутым склонам, неожиданно повредила ногу — прыгнула с пня, мох под ее ногами сорвался, так как под ним лежал лед, зацепилась за невидимый корень, упала лицом вниз, а заземленная нога вывернулась. То ли вывих, то ли растяжение, не знаю, нога опухла, вправлять и распознавать я не умею, Эмма тоже. И мы засели. И грянули холода. Ночи — стынь.

Кусты почернели, трава пожухла как-то сразу, все стало коричнево-бурым, и небо провисло пластами грязной шерсти.

— Твоя Мулатка мне не нравится, — сказала Эмма.

Я наломал и наколол горы валежника. Хорошо, что не было дождей, даже стало ясно, но начались морозы. Эмма попробовала было идти, прошла несколько шагов, опираясь на мою руку, поблуднела, и лицо ее покрылось каплями.

— Не могу, — и она тяжело опустилась на кочку.

Начался октябрь. Первый заход катера мы уже пропустили, оставался только контрольный. Надо выбираться. Одному мне вещи не осилить, даже если Эмма пойдет самостоятельно, с палкой.

— Как-нибудь, — говорила она, — доползу.

— Двадцать пять километров не проползешь. Да еще в гору, да через два перевальчика, хоть и небольших.

Мы просидели на берегу этой чертовой Мулатки почти две недели. Продукты растягивали почти до блокадной нормы. Снега не было, но стало солнечно, ночные холода усилились. Морозы в два — пять градусов чепуха, но ветер крутился ужасный, и неподвижно сидящей Эмме было нелегко. Я все же был в работе. И думал не раз: а вдруг речки станут?

С большим трудом мы все же двинулись. Подъем на первый перевальчик стоил нам невероятных усилий, хотя опухоль ступни уменьшилась. Наступать она как следует не могла. А спуск для нее оказался еще мучительнее!

Мы переходили жесткие подмерзшие уже мари, в которые коварно проваливались ноги, и Эмма жалобно кричала. На пятый день настал час, когда мы подошли к месту, где осталась наша лодка.

Но лодки не было — берег обрушился, и развал земли тянулся от обрыва до самой воды. От берега к воде наискось лежала громадная ель. Ее падение все и сделало. В обрыве был грязный подземный лед; очевидно, его размыло водой в последние паводки. Это и послужило причиной обвала берега.

Как ни был я потрясен случившимся, я не мог не показать Эмме на этот подземный лед в обрыве. Очевидно, когда-то завалило землей речную или береговую наледь или снежник.

На бечевнике между глыбами мутно блестящего льда и слякоти расползающейся земли валялись кое-какие вещи. Я подобрал ящик с образцами, один из двух тюков с теплой одеждой и один из двух рюкзаков с продуктами. Не было пилы и некоторых мелочей. Но главное — не было лодки.

В первый момент удар не показался мне страшным. Суть катастрофы дошла до меня позже. И все острее сверлила

мысль — идти с Эммой сотни километров и переходить десятки рек с ледяной водой невозможно. Ждать ледостава? Холодно и голодно. И что он даст — ледостав? Ждать, когда нас станут разыскивать? Я согласен надорваться, но не допустить этого. Но надо подбодрить Эмму. Не показывать беспокойства.

Я сказал весело:

— Ничего, топор есть, палатка есть, продукты еще есть. И ружья есть.

И тут вспомнил, что ружья я не нашел. Оно оставалось в лодке, прикрученное и связанное со всем грузом. А на Мулатку я вместо ружья взял палатку.

— Начались морозы, и идет октябрь, — говорила Эмма и ежилась.

— Не пропадем. Топлива кругом полно, жаркий костер обеспечен, а за три недели с голоду умереть невозможно. В крайнем случае начнем голодать и избавимся от всех болезней, возможных и невозможных.

И вдруг произошло неожиданное — вода в речке начала подниматься. Без дождя, без снега. Она покрыла береговые валуны и полезла выше. Ей же, черт возьми, положено спадать, тащить к морю последние свои крохи, покрываться льдом, но не подниматься же, как в паводок!

Я пошел вниз по берегу посмотреть, в чем же дело. Заготовил для Эммы дров, разжег пожарче костер и двинул. И почти тут же, когда за изгибом реки скрылся костер, я у самой воды в полузамерзшем песке увидел чуть удлиненные волчьи следы. Хотел вернуться, но подумал, что на громадный костер серый вряд ли пойдет.

Пошел дальше. Речка бежала рядом проворно — по-летнему. Потом она немного поворачивала на север, и тут я увидел в воде длинный белый предмет. Он неподвижно лежал на дне. Я подошел ближе — белое тянулось из реки и подходило к берегу. Это был лед. Лед лежал плоской плитой и, казалось, прирос ко дну. Почти все валуны вблизи берега были покрыты сероватым, лунно блестящим льдом. На выступах камней под водой сидели громадные снежные хризантемы.

Я сломал палку, подобрался ближе и ткнул ею в ледяную массу. Палка прошла насквозь легко — лед оказался пористым и был насыщен водой. Вдруг вода забурилась, что-то заворчалось в глубине, я аж подпрыгнул, и в хаосе пузырей наверх выскочили две громадные ледяные туши.

Да, это был донный, или подводный, лед. Я знал, что он существует, деталями не интересовался и встретился с ним впервые. Эмма до нашего знакомства, мне было известно, работала

по искусственным подводным льдам в лаборатории в Ленинграде.

Дальше вниз под водой высвечивались пышные белоснежные кораллы. Было это умопомрачительно красиво. Я вспомнил, Эмма говорила, что в Ленинграде были даже аварии от закупорки этим красивым льдом приемных решеток водопроводных станций. Я-то видел только шугу на реках и в море, видел «сало» на поверхности воды, густые «снежки» в воде от падавшего снега, но все это было не то.

Я бил палкой по лежащим на дне пластинам льда, отковыривал снежные кораллы, все всплывало с шорохом и ворчанием и сплывало наверху в ледяной покров. Я порадовался: река, возможно, скоро станет, и мы пойдем по льду. Плохо, тяжело, долго, но лучше, чем сидеть. Рыхлые ледяные пластины и глыбы все всплывали вокруг, будто я их потревожил. И забавно, что глыбы эти по краям или ребрам, как когда-то подушки у купчих, обросли кружевами-оборками из пластинчатых кристаллов. Кружева-оборки висели лохмотьями сантиметров по шесть и больше. Лед продолжал всплывать. Я прикинул — высота глыб до метра. У берега кое-где лежали крупные ледяные «крабы», или еще неизвестные биологи существа, с клешнями из кристаллов — валуны в ледяных корках. От течения казалось, что клешни шевелятся.

Еще ниже по течению дно реки было выстлано льдом, местами лед вылезал на берег, и речка текла по ледяному руслу. В одном месте река прихватила своим разливом кусок подмытой маревой кочки с осокой на макушке. Осока в воде проросла сверху донизу насквозь округлыми пластинками льда до сантиметра в диаметре. Я подбил одно такое «произведение искусства», и оно раскололось, как стеклянное. Пластинки тоже были прозрачны и тверды, как стекло. Какое разнообразие! То мягкий лед как снег, то мох, то кораллы, то твердые ледяные плиты на дне, а тут тончайшие изделия из стекла.

И вдруг я увидел большое нагромождение льда поперек реки. Оно вылезало со дна и создавало ледяную плотину. Здесь были крепкие и рыхлые куски. Все это, очевидно, и подняло реку и вызвало наводнение без дождей. Вода хлестала сквозь плотину и местами обрушивалась через верх водопадами.

Я поспешил к Эмме.

Немного не доходя до лагеря — ближе, чем когда я уходил, опять увидел следы волка, и сердце мое упало. Следы крутились на илистом песке и уходили на галечник. Я побежал и, если все в порядке, решил Эмме о следах не говорить, чтобы не беспокоить.

Вид у Эммы был испуганный.

— Я думала, с тобой что случилось. Мы должны немедленно убираться отсюда, если не хотим пропасть. Может начаться ледостав.

Я рассказал ей, что видел, добавил — ледостав не худшее, что нас может ждать. Ящики мы оставим здесь, спрячем, а зимой, мы или еще кто заберет их. Палатку, мешок и продукты понесем. Она топор. Но мою жену не надо было подбадривать. Ей и до меня приходилось не раз бывать в передрыгах.

— Мы пробьемся, это факт, — сказала она. — Мы же вдвоем. Ноге лучше.

Я сдвинул костер и перенес на его место палатку.

Вечером, лежа в мешке, Эмма просветила меня относительно донного льда. Этот лед, по ее словам, есть везде: в Европе, Америке, в Сибири, чуть ли не все речки там полны им. Кто бы подумал! Иногда донный лед — чистое бедствие. От осенних затворов в реках почти на всю зиму вода поднимается и затапливает поймы. Толщина льда на решетках водопровода — надо же — достигает полутора метров, и бывает, что поднять его крапом невозможно — лопаются тросы.

Двести с лишним лет пытались люди разрешить загадку образования этого подводного, или, как его иногда называют, внутриводного, льда. Вот какая история! Сколько было гипотез и как ошибались даже известные всему миру физики! Мое авторитета задержал разрешение проблемы чуть ли не на сотни лет.

То считали, что главное — это радиационные излучения — что снег или лед заносится внутрь с поверхности воды, то что лед как бы растет снизу, на дне. Но опыты показывали, что боковое промерзание очень мало — километр за тысячу лет. И на Ангаре, например, такой лед образуется за какой-нибудь час. Вот и увяжите все это! Главное же — полагали, что кристаллизация внутри воды невозможна.

Сотни исследователей во всем мире дни и ночи вели наблюдения — за температурами воды и воздуха, ставили тысячи опытов в лабораториях. Как много трудились люди, чтобы докопаться до тайны и выразить в конце концов суть ее в нескольких строчках: донный лед образуется внутри воды от ее переохлаждения, от сильного перемешивания при ветре, особенно если есть какие-либо ядра кристаллизации — пыль, песок или тот же снег...

Скрытая теплота, что выделяется при кристаллизации, уносится вихревым течением. Кристаллы оседают на дне и выступающих предметах. О, я видел все это собственными глазами...

Ночь была трудная. Я несколько раз вылезал из палатки, перетаскивал костер дальше, а палатку — на место костра. Хорошо, что мы разорились на двойной пуховый спальник. Спать, однако, почти не пришлось.

Эмма вспоминала и об опытах с переохлажденной водой. Для меня эта переохлажденная вода была новостью. Хуже всего, оказывается, кристаллизуется дистиллированная вода, в ней из этих самых, как она говорит, центров кристаллизации. Поэтому они ее и применяли для своих опытов. Переохлаждали они что-то до минус двадцати четырех градусов. Другим как-то удавалось даже до тридцати шести — это пресную-то!

Эмма хотела потащить меня и дальше в дебри пересыщения растворов, зарождения кристаллов и проблемы переохлаждения жидкостей вообще. Все это, конечно, интересно, но я чувствовал, что мы вот-вот совершенно заledenеем, и занялся костром поосновательнее. Предутренние часы мы просидели у костра.

Утром я пошел мерять температуру. Намерял всего минус восемь десятых градуса! Всего! Воздух минус четыре. Ветер сильный.

Позже Эмма показала мне на реку.

— Там что-то плавает посреди речки. Пойдем поближе.

Глаза у нее что надо, не то что мои. Мы подошли к самой реке.

— Черт те что, — сказал я. — Камни. Ей-богу, плавают камни. Как это — плавают камни? А вокруг ледяное месиво.

— Значит, здесь тоже донный лед, — отозвалась Эмма. — И еще глубже, и ты его не видел. Он накопился там, выныс и вынес наверх камни. Это обычно.

Такая работенка у этого льда, оказывается, тоже возможна. Он натаскивает из таких поднятых со дна камней целые острова, а другие острова растаскивает и уносит, меняет дно реки и контуры берегов. Тоже мне творец!

Я надел другие очки. В середине реки крутилось что-то темное и длинное. А Эмма закричала:

— Наша лодка! Это наша лодка! Значит, ее не унесло. Ну, она лежит килем вверх. В середине я вижу красный мазок — тебя остался сурик после разметки ящиков и ты без толку мазнул по днищу, помнишь?

Эмма глубоко дышала от волнения, потом она схватила меня за рукав и сказала шепотом:

— Если ты достанешь оттуда лодку, я буду уверена, что с тобой в жизни не пропаду...

Вот оно что. Я должен ей на втором году супружества доказывать, что она со мной не пропадет! Но самое главное, что дон-

ный лед вытянул вверх нашу лодку! Значит, ее перевернуло, и она сразу пошла на дно, иначе ее унесло бы течением.

Я развел два громадных костра. Эмма села греть для меня мешок и белье, а я влез в воду как был, во всем, завязал только потуже веревкой голенища резиновых сапог и прыгнул в воду на спасение себя и своего счастья.

Течения почти не было, да еще плотина его притормозила. Холод полностью сковал меня в самый трудный момент, когда я, обхватив лодку заледеневшими руками за край, попытался подтащить ее к себе. Лодка не двигалась. Ее держала ледяная каша. Вода была мне чуть выше пояса. Я набрал воздуха, собрал все силы, навалился грудью на лодку и стал толкать ее в сторону берега. Тяжелели льдины, но они же держали лодку на плаву. Когда лодка задела дно, я не выдержал и выскочил на берег. Отдышался, коченея, и вдруг понял, что если сейчас же не влезу снова, я ее там и оставляю. Не решусь лезть во второй раз ни за что. И я снова вошел в воду, рванул лодку что было силы и наполовину выволок на берег. Мотора, конечно, не было. Весла мы, уходя, спрятали в кустах, и они были целы.

У костра я снял сапоги. Мне казалось, что сердце у меня превратилось в лед, как у того мальчика в сказке. Потом я стащил одежду и забрался в нагретый мешок. Эмма налила в бутылку от коньяка горячего чая и убеждала меня, что это чай с коньяком.

Пока я лежал и приходил в себя, Эмма взяла топор и, прыгая, с палкой направилась к лодке. Стала обкалывать те спасительные куски льда, что вытащили лодку вверх. Она сильная, моя жена. Но лодку надо было еще перевернуть и посмотреть, что там внутри. Когда я тащил ее, засунув руки под борт, мне показалось, что льда там нет.

Через три часа мы с огромным трудом перевернули вдвоем лодку, свернули наш ледовый лагерь, погрузились, я навалил на корму запас сушняку (неизвестно, где мы остановимся) и столкнул лодку в воду — времени терять было нельзя.

И тут случилось странное — лодка почти мгновенно обросла льдом снова, правда не сильно.

— Я этого боялась, — сказала Эмма. — Нам надо постараться проскочить ту плотину, пока она не обросла совсем.

Но еще более невероятное творилось сзади. Я обомлел — за лодкой в воде прямо на глазах возникал ледяной туман. Вода густела и превращалась в ледяную кашу.

— Гребь, гребь, — кричала Эмма. — Гребь скорее, потом я тебя сменю.

Я налег на весла и с ужасом увидел, как весла покрываются

сопнищем острых иголок. Иголки торчали на веслах, как колючки на кактусах, только их становилось с каждой секундой все больше.

Гребя, я согрелся и наслаждался теплом, но грести было невероятно трудно. Потом все произошло быстро и непонятно. Мы с Эммой все осознали позже. Мы как-то пропустили ледяную плотину — вода шла поверх нее — и небольшой водослив среди белой мешанины не заметили. Днище заскрежетало, лодку свернуло на бок, с кормы в реку полетел весь сушняк, Эмма закричала, нас подбросило и почти тут же выпрямило по ту сторону плотины. Лодка шлепнулась там, как на поролоновый матрац, и прошла даже без моих усилий метра полтора. От одного весла отлетела половина лопасти. Я начал выгребать так, как будто с неба каждую секунду могла упасть железная завеса и отделить нас от мира.

Через полчаса льда под нами поубавилось. Вечером у костра я сказал:

— Я назову эту лодку тоже «Мулаткой» — мы поработаем на ней еще года три.

— Ты назови ее «Две Мулатки».

— Почему это? Кто же вторая?

— Ведь Мулатка — прежде всего память о реке. За речкой право первенства, за лодкой — незабываемые дни.

Я согласился, но задумался.

— А тебе не кажется, что в этом названии есть какая-то двусмысленность?

— Не больше, чем в твоём предложении вообще. Я-то русская. А лучше назови ее «Две Мулатки и серый волк».

И посмотрела лукаво.

Вот оно что. Понимаете?..

А по дороге все еще не прошла ни одна машина. Мы вылезли из кабины и закурили.



Тихилер

— Ну, ну, Тихилер... — Ванька седлает для меня нового красивого оленя. У оленя белая полоска между глаз и белое пятнышко на правой ноге.

— Сытой, сёрт...

Ванька упирается коленом в ногу оленя, притуркивается к нему здоровым плечом и затягивает ремешок на седле. Не то уговаривает, не то угрожает.

Тихилер поступил ко мне уже тогда, когда я перестала падать с седла. А до этого было так:

— Ива-а-н! Сто-о-ой! — Это орал во все горло Колька Шкиль. — Начальник упал!..

Сколько раз говорила ему, что мир оповещать об этом событии не надо. Так в средневековых городах глашатаи выкрикивали королевские указы, извещали о празднествах, казнях и приезде знатных гостей.

Одной рукой Ванька седлает неважно. Рывки оленя при ходьбе растягивают слабо завязанный ремешок, и седло сползает под брюхо оленя. Вместе с седлом валюсь на бок и я, хорошо, если еще в мох. Ванька далеко впереди, а я с наблюдениями и зарисовками оказываюсь обычно в самом хвосте. Ванька заворачивает своего оленя назад, потому что, кроме него, никто с оленьими седлами справляться не умеет.

Иногда бывало иначе — на полном ходу олень вдруг замирает как вкопанный, нагнув голову и вытянув вперед морду. Я мгновенно лечу через опущенные рога туда, где он что-то увидел. Думаешь — невесть что, страх какой, а всего-то навсего сидит перед его носом на траве овод или оса. И, конечно, опять:

— Ива-а-н! Сто-о-ой! Начальник упал!

Злейшие враги оленей — оводы. Оводы прокусывают кожу, откладывают под ней личинки, личинки разрастаются до величины арахисовых орехов в скорлупе и по форме напоминают их. Снятые шкуры оленей изнутри иногда бывают почти сплошь усыпаны ими.

Олень, не замедляя хода, и в полутьме шагает через валежник, ямы, колдобины, провалы во мхах или «окна», заполненные водой, и как-то мгновенно, чуть нагнув голову и шумно нюхнув ноздрями, распознает, глубоко ли, можно ли вступить, и спускается тогда или обходит стороной, не сбавляя скорости.

Олени хорошие и трогательные существа. Они невероятно, как-то фанатически терпеливы и безгневны. Не требуют от человека даже главного и единственного, что он дает, если захочет, — соли. Тихо берут ее с руки теплыми бархатистыми губами.

Доверчивы они настороженно, не привыкли к ласке, не принимают ее и не принимают от человека, как лошадь, — лошадь ждет ласки, если хозяин к ней хорош. Похоже, олени всегда боятся человека, в ужасе дергаются на каждое непривычное для них движение.

Отставать мне приходится часто — я же на маршруте, а отставание дается нелегко — олень не лошадь. Надо искать кочку или упавшее дерево. Только приладишься — он сдвинулся, встряхнулся — его едят оводы и комары, а то и совсем ушел.

Догонишь — вокруг ни пня, ни кочки. А караван уходит и уходит. И от всех ушедших оленей остается только неясное шевеление кустов где-то впереди и мелькание व्यюков — похоже, пробирается вверх по склону скрытая зеленью гигантская подрагивающая змея.

Лошадям в этих местах не пройти — поломают ноги, измучаются и измучают людей. Как-то роюсь в архивах, я наткнулась на любопытный документ — акт возврата лошадей, взятых на длительный срок в экспедицию. Три четверти лошадей пали. Оставшиеся, как написано в акте приемки, годились только «для ходьбы в ненагруженном состоянии по ровной дороге со скоростью не более трех километров в час»... Бедняги, они могли еле еле тащить только себя!

В темноте ездить верхом на олене мука. Седло вертится на лопатках оленя, олень идет, лопатки шевелятся. Ничего не видно, тем более сверху, а олень, не задерживаясь, то опускается, просто как-то сваливается с берега в быстрый клокочущий ручей, заваленный валунами, то быстро взбирается из воды на крутой берег, и надо моментально все это уловить и сохранить равновесие. Мотаешься в седле как ванька-встанька. Днем можно хоть заранее предугадать что-то и сбалансировать. Потом привыкла. Ездил три года.

До Тихилера у меня был небольшой, кроткий олень со странностями — то стоит он крепко и идет хорошо, то, едва на него сядешь, морду опустит, задние ноги расставит, вот-вот ляжет.

— Вань, а чего он так стоит?

— У, — отвечает Ванька, неодобрительно разглядывая меня вместе с оленем. — Ти кирепко тэзолый.

— А-ах! Это я-то? Что же, ты легче меня?

Беззвучно смеется.

— У. Конесыно.

Меня всегда угнетало поведение моего оленя, и я попросила Ваньку сменить его в колхозе.

— Этот олень коросый, — убежденно говорил Ванька, уводя оленя. — Кирепкий.

И подумав:

— Только спина сылабый...

Все хохочут. У ездового оленя ничего «кирепкого» не остается, если спина «сылабый». Ванька улыбается вместе со всеми. И появился Тихилер.

Множество речек, подъемов, спусков, зыбких болотцев с оттаивающим дном, скользких наледей, каменистых водоразделов прошли мы за эти годы с Тихилером. Я принооровилась к его шагу, к его праву, стала узнавать по движениям, когда его за-

едают оводы и моя ветка уже не спасает. Тогда я слезаю, беру палку или щепку и выцарапываю иродов из его подглазьев. Тихилер, не дожидаясь этого, тянется к кустам и трется об них мордой, но помогает это мало.

Сидящих на траве или кустах оводов Тихилер хватает ртом, долго и брезгливо, рывками, трясая головой, жует, выплевывает и потом еще долго, не отрываясь продолжает на них смотреть. Тихилер честно стоит при посадке около пня секунд десять — пятнадцать, а затем независимо от результата уходит не оглядываясь, очевидно считая, что если седок за это время не влез, то и везти его не стоит. Но я наловчилась...

Что может быть прекраснее хода свободного оленя, идущего по лесу! Великолепная голова с теплыми красивыми глазами гордо, как лесную царственную корону, несет бархатистые ветви. «Знаешь, это у Земли такие красивые и теплые глаза. Олень взял их себе у Земли, — говорила мне однажды старая якутка. — Сколько оленей, столько глаз у Земли»...

Пятна солнца на нем, на траве, на кустах, и сам он как куст и выходит из светотени навстречу как будто рожденный землей, солнцем, ветвями и всем прекрасным, что создала природа.

Когда приближается на пути тайга и мы входим в тень деревьев, я замираю и с восхищением смотрю, как проходит мой Тихилер под нависающими ветвями. Голова его как у индийской танцовщицы — влево-вправо, вниз — под ветки. В одном сантиметре от каждого самого маленького листочка пронесет он рога. Ни одного не заденет! Как определяет он расстояние? Ведь нет у него глаз на верхушках рогов да и рога его растут — они то маленькие, то большие.

Однажды после небольшой остановки показалось мне, что садиться на Тихилера рискованно — седло мое как-то вертко крутится на оленьих лопатках даже от слабого прикосновения. Как же ехать?

— Ванька, — спрашиваю, — а удержусь я на нем?

— Удержисси, наверное, — говорит Ванька с сомнением. Хотя слово «наверное» Ваньке очень нравится и употребляет он его к месту и не к месту, здесь гадательный смысл его вполне ясен — не удержусь.

— Но оно же вертится.

— У. Сего его вертится? Сымотри, — протягивает здоровую руку и колышет седло туда-сюда. — Пианый сидеть мозет.

С трудом удерживаюсь в седле. На берегу ручья со всего маху лечу с оленя и падаю спиной на две огромные лесины, преградившие путь. Страшная боль. Ощущение, что переломила позвоночник. Еле прихожу в себя и поднимаюсь.

— Вот что, Ванька, если это такое хорошее седло, бери его себе, а мне давай свое.

— Нелися. Твоей седло мой олень — нелися.

— Тогда давай мне своего оленя с седлом. Давай, давай, нечего! И сиди на моем седле хоть пианый.

Ванька щурит глаза и улыбается своей сонной улыбкой. Неохотно слезает со своего оленя, но отдавать мне его не собирается, тянет к сосне и привязывает. Потом снимает седло с моего оленя, неловко бросает его одной рукой на кочку и садится рядом.

— Что же ты делаешь? Зачем ты его сбросил?

— Синить надо, — говорит он и не то хитро, не то виновато косит на меня глаза. — Сыламалси...

Вот как! Седло сломано, я разбила спину, а он целый день бездельничал и не починил. Чувства ответственности у Ваньки почти нет, и видно, что меня ему совсем не жаль. Ванька — сплав простодушия, хитрости, безусловной честности, лени и доброты.

Как-то в Чульмане, когда он потерял свое полотенце, я подарила ему новое, хорошее, салфеточное. Стало жалко — все утилируются полотенцами, а Ванька рукавом. И почти в тот же день пришлось мне Ваньку искать — запропастился. Искать известно где — в чайной. Ванька пил чай, сидя на полу с какой-то бабкой и стариком. Дед, щуря узкие глаза, вытирал моим полотенцем сапоги.

К седлу Ваньки всегда приторочен какой-то наглухо завязанный мешок. Загадка этого мешка страшно интересует всех, особенно Лешку и Кольку Шкиля. Серьезный Федор к таким делам равнодушен. Зимой Ванька на этом мешке сидит на нартах, первым тащит его в палатку, спит на нем. На вопросы Ванька отмалчивается с блаженной полуулыбкой...

Особенно трудно в маршрутах вьючным оленям. Они идут связанными и даже головой помотать как следует не могут, чтобы отогнать оводов и комаров. Под глазами у них густые, серые копошащиеся кучки, из-под кучек — ручьи крови. Возьмешь палку, подойдешь — терпят, когда вдавливаешь палку в морду и отдираешь истязателей. Но все это ненадолго, над каждым живым существом висят и двигаются за ним черные тучи.

Когда мы больны, мы меряем температуру, идем к врачу и получаем бюллетень. Животные, если больны или недомогают, не могут сказать об этом. На них так же грузят, их погоняют как здоровых и требуют от них полной отдачи, кричат, а бывает, и бьют за нерадивость. Они терпят. Случается, падают.

Однажды в сильную жару, замученный оводами и обессиленный, упал один из наших вьючных оленей. Он лег прямо на тропе, где стоял, в подтаявшую лужицу воды и вытянул по земле голову. Ванька тихонько пинал его ногой в бок. Олень не шевелился. Пришлось его развьючить и груз разложить на других. А те бедняги и сами еле тащили, хотя мы всегда загружаем по норме.

Мы ушли, олень остался.

— Ванька, что с ним будет?

— Нисево не будет. Потом приедет.

Обратно мы этим путем не пойдём. Найдёт ли он дорогу?

Ванька оленей никогда не бьёт. Но, как и у большинства местных жителей, у него ни к оленям, ни к собакам и вообще к животным внешне любовь не проявляется. Пришел олень на третий день к ночи, на очередную нашу стоянку.

Как-то мы свертывали лагерь на берегу какой-то неприметной речонки, заваленной наледями. Я отвела своего Тихилера от других оленей и повела к палатке, чтобы седлать. Увидела, что Ванька с трудом тащит из кустов какого-то другого оленя, олень упирается, и Ванька, тихонько толкая его коленом, раздельно покрикивает:

— Ну, Ти-хи-лер...

— Ванька, то не Тихилер, Тихилер у меня! — кричу я и подхожу к нему с Тихилером.

Ванька молча, как-то особенно выразительно на меня смотрит, и улыбка у него на этот раз не обычная, а значительная — для моего внимания. Впервые вижу у него такую улыбку. И я понимаю...

— Ти, хилер... он — холера? Да, Ванька?..

Он молчит, улыбаясь, меня вдруг страшно это веселит, и я ничуть не огорчаюсь. Мой Тихилер все равно останется Тихилером!

Над «ти — хилером» потешался за обедами, ужинами и в маршруте весь отряд много дней.

— Ой-йо! — вопил Колька, держась за живот. — Воны, значит, у яго уси тихилеры!

После этого все стали то и дело кричать друг другу:

— Ти, хилер, верни мне мои резиновые сапоги...

— Ти, хилер, чего сверху камни бросаешь, не видишь, что ли, я внизу.

— Эй, чертов тихилер, чего остановился на дороге, не пройди!

Безобидное ругательство облегчило жизнь моим ребятам — я же мешала им отводить душу!

Ванька ходил героем, молчал и улыбался.

Как-то об этом узнали и другие отряды экспедиции. Уже много времени спустя один из моих знакомых экономистов, встретив меня на улице Алдана и рассказывая о каком-то зловредном пройдохе, доверительно сообщил:

— Это такой, я вам скажу, тихилер, что слов нет... — и засмеялся. — Знаете, что это значит? То, что это идет от моего Тихилера, он, конечно не думал.



Магистраль

Мы шли без троп, по пятнистым гарям и ветровалу, пересекали речки, где близко к берегам подступали суровые глыбы гранитов в разлапистых зеленовато-бурых лишайниках, поднимались на водораздельные хребты, и перед нами открывались хорошо видимые сверху горизонты во всей своей чистоте. И хотелось угадать, почувствовать, где среди этих гор и долин лежат тоненькие и почти невидимые ниточки человеческих следов.

Я подолгу иду пешком, вверх и вниз по каменистым склонам сквозь осеннюю пестроту громадных березовых и голубичных букетов. В долинах жарко, можно идти в одной ковбойке, дует просторный ветер и нет комаров. Четкий ритм ходьбы и широкий шаг по камням настраивают на дальние маршруты. Тихилер привязан где-то далеко позади к последнему вьючному оленю. Вдруг вспоминаю, не потерялась ли моя серая курточка, притороченная к седлу.

Колька Шкиль бросается с расспросами, видя мой расстроенный вид. Но курточка цела, и я радостно говорю:

— Боялась пропадет, а я и не узнаю.

Колька тоже радостно машет руками:

— И даже не вольнуйтесь! Как пропадет, мы вам враз скажем!..

И тут же пристыженно трет уши и кричит:

— Ой, як же я!

В Кольке уйма непосредственности, не каждый сохранил бы ее на его месте.

Я карабкаюсь по каменистым склонам и думаю о всех них, моих спутниках. О Марченко тоже. Он идет со всеми и что-то увлеченно рассказывает. Человек он со срывами — то добр, то беспричинно зол, ко мне иногда непонятно мстителен.

Колька Шкиль для меня ясен. Хорошей бы ему судьбы на будущее! Рабочие наши народ неплохой, ждут каждый год нашего приезда, с другими отрядами работать не идут.

Алексей свою жизнь повернул крепко, что будет дальше — сказать трудно. Незадолго до выхода в тайгу у нас произошло событие, едва не изменившее наше налаженное бытие. В чульманской чайной мы с ним встретили капитана дальнего плавания. Капитан был не стар, сухощав и носил бородку, что встречалось не часто. Он плавал на торговом судне в Южную Америку и Африку, возил каучук и кофе из Бразилии, арахис и апельсины из Африки. Буднично рассказывал, как трудно сейчас быстро поесть в порту Марселя — загородили вокруг заборами, а в Рио и вовсе порт далеко. Лешка смотрел на него горящими глазами.

Узнав, что Леша бывший шеф-повар алданского ресторана, капитан неожиданно, покосившись на меня и извинившись, предложил Леше уйти с ним коком в Южную Америку, если это, конечно, не нарушит наши планы. «Как не нарушит! — вскричала я. — Мы же работаем!» Замутив голову Леше и введя в панику меня, капитан встал из-за стола, распрямился, учтиво попрощался, выразил сожаление, хотя Лешка ни слова не сказал ему в ответ, только что-то бормотал неясно, упомянул, что проживет в Алдане в гостинице несколько дней, сел в кабину грузовой машины и уехал.

Искус для Леша был велик. Видимо, мучился он весь день и вечером ушел вниз по долине ручья. Я волновалась, и мне еще было очень важно, что он решит, насколько сильно повернул он себя внутренне, придя на работу к нам. Я думала, что он пропал по долине всю ночь, но оказалось, как сказал потом Колька, что почти тут же вернулся и лег спать. А наутро, не помня капитана, сноровисто стал собираться за оленями в колхоз. Мне он только сказал: «Будем сначала искать живую воду»... Вот таков он, Лешка...

Минут за пятнадцать до остановки на обед Федор вынимает обычно из вьюка ведро, вешает его на последнего оленя и зычно всех оповещает: «Э-ей, гри-и-бы, гри-и-бы! Начали!»

Все рассыпаются между деревьями, ведро за несколько минут наполняется доверху. Однако в ведре набирается немало сомнительных — мы не ахти какие знатоки грибов, можно отравиться, тем более что здесь есть грибы, нам незнакомые.

На остановке, пока кто-то разжигает костер, Федор берет первого попавшегося оленя, привязывает его к дереву, садится рядом на землю, вываливает грибы и все сомнительные протягивает по очереди на ладони оленю. Когда-то давно этому научил меня Пудов. Олень у нас главный «эксперт», «дегустатор» и «санитарный врач», за ним решающее «слово».

Олень, не торопясь, вытягивает к ладони голову, не мигая

смотрит на нее сквозь светлую щетку ресниц, потом неожиданно шумно выдыхает из ноздрей воздух, и гриб, кувыркаясь, летит с ладони. Несъедобный!

А если, слегка переступая ногами, олень вплотную приближается к руке губы и после раздумья осторожно берет гриб и съедает, вся подозрительная кучка переносится в ведро для варки.

Мы пересекли несколько долин и невысоких перевальчиков и уже должны были выйти на ту тропу, что приведет нас к цели — к новым источникам. Но стало похоже, что заблудились. Ванька не может найти эту тропу, он забыл даже, когда шел по ней — летом ли, зимой ли на нартах. А нартовый путь, особенно случайный, лукав: один проехал левее, другой правее. Ванька ерзает в седле, бормочет и встревоженно оглядывается. Я уже еду верхом. Пешие нас догнали, никто не понимает, почему мы давно идем так бестолково и медленно. Леша, сдвинув на лоб шляпу, подступает к Ваньке.

— Ты что, друг, дорогу что ли не найдешь? Куда идти не знаешь?

Ванька смущенно улыбается.

— Тыропы не витать, а три гора есь, — и показывает рукой на три остроугольные вершины, вздымающиеся вдали прямо над серединой той долины, вдоль по склону которой мы продвигаемся.

Снова идем. Я напряженно вглядываюсь в землю, в траву, во мхи. И вдруг что-то замечаю. Сказать сразу, что именно, не могу, но что-то есть. Вроде и камни так же остроугольны под ногами, как прежде, кое-где в лишайниках и лежат как обычно, и между камнями тот же крепкий непримятый грунт с редкой травкой, и все же что-то не то...

Пошли немного быстрее. Через несколько оленьих шагов опять бессознательно ощущается это неясное, с чем-то схожее. С чем? Какая-то еле заметная, редкая, но все же повторяемость, чего — не пойму. Плоскости камня или еще чего?

Неожиданно слышу — Ванька тихонько напевает. Вот теперь все ясно!

— Вань, это что — тропа? Тропу нашли?

Ванька не отвечает и ускоряет ход оленя. Окликаю дважды. Он оборачивается и говорит укоризненно:

— Ты сё? Совсем силипой си то ли? Сам не видишь?

Чинопочитания у Ваньки никакого.

— Тыропа! — сердится Ванька громко. — Какой тыропа? Не видишь — магистраль...

Ох, Ванька, я искренне смеюсь и кричу всем, кто идет позади.

— Э-ей! Мы на тропе, тропу нашли. Ванька говорит, что это магистраль!

Нас догоняют, и Ванька торжественно и гордо подтверждает: «Магистраль!» Какой смысл вкладывает он в это слово, не знаю, но произносит его безупречно. Такого веселья у нас давно не было. Никто из идущих никакой разницы под ногами не замечает — как шли ровными каменистыми верхами без тропы, так и идем. Мне с седла все же заметнее то почти неуловимое, что стало отличать путь.

Настроение поднялось. И погода легкая и радостная, и дорога приятная, несмотря на подьемы, и комаров нет. Все перекликаются и балагурят. Кричат Ваньке:

— Вань, а Вань, значит, на шosse вышли?

Очень довольный, Ванька молчит.

Внизу в долине ветер стих. Мы долго перебирались через ручьи и болотца и снова взбирались наверх. Шли склонами, глухими распадками, по темным густым кустам. Слетали порывистые ветры — тепловатые с водоразделов, сырые и прохладные — из долин, остро свежие — с горных вершин. Ни о какой тропе уже снова речи не было, но направление было верное. Ребята сзади кричали:

— Вань, а Вань, есть магистраль, а? Вань, а теперь по шosse идем или нет?

Ванька не отвечает, но идет уверенно. Ему-то в самом деле на земле больше написано, чем нам.

Был необычайно теплый вечер, почти единственный за все время. И когда мы, усталые, остановились на ночлег на берегу реки среди сосен, рябин и берез, впервые не захотелось ставить палатки. Как на эстраде, мы расстелили их на высокой террасе над рекой в несколько слоев прямо на плотную и сухую землю и легли сверху. Костер потух, из-за высокой гряды зубчатых гор вылезла громадная красная луна. Луна стояла долго и казалась неподвижной. Она неторопливо полоскала в речке свои великолепные лохмотья и, как одеялом, покрывала нас густым красным светом.

Подо мной земля, надо мной небо. Как это хорошо!

Чем больше наша жизнь прорастает машинами, небоскребами, синтетикой и тем хаосом звуков, которыми сами мы наполняем землю и космос, тем больше влечет нас к тишине, простым истинам и первородным стихиям — к воде и снегу, к ветру, небу и ничем не прикрытой земле...

Я просыпалась не раз. Луна так же, чуть сместившись, висела красным шаром. И я засыпала вновь, как в сказочном лагере шемаханской царицы, ощущая неповторимость этой ночи.



Долины хитрого колдуна

На широкой пойме в сгущающихся сумерках — стога, стога, стога... как на картине Левитана, что висит в кабинете Антона Павловича Чехова в ялтинском его доме над камином, — подарок художника. Разве только здесь чуть-чуть светлее. Олени с вьюками один за другим спускаются в долину. Мы с Ванькой делаем небольшой крюк — я хочу посмотреть на стога поближе. Подходим к стогам и ждем, когда подтянутся остальные.

— Копны сена! — удивляется Леша. — Вот не ожидал. Откуда здесь?

— Невероятно, — говорит Марченко, осматривая стога.

Я слезла с оленя, Ванька не спешил — что около копен задерживаться?

— Вань, а ты видел когда-нибудь здесь стога? Вот такие? — спрашивает кто-то.

— Не, мы не хотели тут, не витал. Алтан есть, — он машет рукой на север, — мыноко. У. Там тепыло.

Да, удивительно, но к северу, где на реке Алдан много таликов и песчаные берега, — богатая растительность, а здесь, к югу, в горах значительно холоднее.

Обошли один стог вокруг. Копны как копны — сухое сено обдергано, обчесано со всех сторон, с макушки до земли. Похлопали по копне — что-то плотновато наметано. Даже твердость какая-то под рукой. Наверное, промерзло ночью; хотя и август, а ночами морозы. И вдруг в каком-то углублении в копне вижу — лед. Ну и неожиданность! Такая знакомая, привычная копна, а оказалось то же колдовство. Так бывает во сне: встретишь какую-то милую, приятную бабушку, говоришь с ней, говоришь и вдруг видишь — из-под длинной-длинной юбки — копыто. Или хвост. И сразу все понимаешь...

Так что же это такое — копна или лед? Лед в копне? Что еще за фокус? И хотя темнело, пришлось быстро развьючить одного оленя и вынуть кайлу. Попытались растаскать «сено» — не удалось. Оказалось, это не сено, а засохшая на корню трава с дерниной. Дернина поверх льда? Ледяной стожок под толстым земляным одеялом? Да, одеяло сантиметров в сорок. А на стожке наверху очень мило, будто так и надо, — кустики голубики. Значит, стожок стоит давно. Что все это значит?

Пошли к следующему стогу. Льда ни с одной стороны нет, все как полагается — сено. Подойди мы к нему первому, так бы, может, и уехали, думая, что увидели копны, разве что из-за

твердости посчитали их мерзлыми. Но мы и этот стожок копнули. Лед. Подошли к третьему. Этот и не скрывал вовсе своей наготы. Обращенная к реке и солнцу сторона стога сверху до низу — сплошной лед. А четвертый уже не стог, а ледяная остроконечная глыба, прикрытая только обрывками толстого одеяла. И хорошо видно, что «сшито» одеяло из слоев черного ила, полуистлевших обломков веток, песка и мелкой гальки, а поверх укршено еще высокой травой, теперь засохшей.

И тогда поняла я тайну этой заколдованной долины — она так именно и выглядела, и серпок в небе для убедительности показался над темными и замершими в этом уединении стогами.

А было, наверное, здесь так: в какую-то зиму с лютыми морозами после осеннего многоводья образовалась в долине громадная речная наледь. Промерзавшее русло реки все подавало и выжимало наверх воду, и наледь была так велика и обширна, что захватила всю ширину реки и всю пойму... А в прохладные лета тепла было мало, и наледь не таяла и не таяла. И река в половодья натаскивала сюда все, что где-то насобираала по пути, и оставляла все на наледи, на ледяной уже пойме.

На наносной земле выросла трава и кустарнички. Река же в разливы потихоньку размывала то, что раньше нагромодила, — из года в год приводила пойму в прежний вид, но до конца еще не успела, и вот стоят теперь эти ледяные останцы, прикрытые обрывками когда-то богатого одеяла.

Тонкий серпик месяца светил высоко и отчужденно. Появился густой белый туман. Он полз между стогами к нам, протягивая вперед длинные колеблющиеся языки.

— Ой-йой, — сказал вдруг Колька, на этот раз нормальным голосом, без крика, оглядываясь и ежась, — надо отсюда тикати...

Далеко в такую темень уйти нам не пришлось, поднялись немного повыше и кое-как разбили лагерь среди кустарников на сыроватых мшистых кочках...

Было жарко. Для обеденного отдыха мы выбрали единственное дерево, еще издали нас поманившее. Дерево стояло почти на краю невысокой и наклонной речной террасы. А когда расположились под деревом очень удобно на глыбах розового чистого гранита, как на стульях, то увидели, что стулья наши как бы бордюром окаймляют длинную, метров в двадцать, овальную яму. Яма глубиной метров в пять выложена по дну такими же глыбами, а у верхнего конца что-то вроде болотца, у нижнего

же, где мы сидим, глыбы эти вылезли наверх. И похоже, что все они собираются постепенно, друг за другом, когда-нибудь сюда наверх пожаловать.

В яму немедленно спустился Шкиль.

— Тай здесь крышу изделать, и будет хата на зиму, — прокричал он снизу.

— Замерзнешь в этой хате, смотри, там и вода на дне, — Лешка спрыгнул в яму и показал — по иловатой подстилке медленно сочилась вода.

Пятнами выделялись вокруг глыб наледные поляны — зимой здесь лежали наледи. Пожухлая трава и угнетенный среди окружающей зелени кустарник показывали их границы. По-видимому, вся наклонная терраса, прикрытая теперь сверху землей и растительностью, была сложена такими глыбами. Обманчиво-неподвижные, постепенно выкарабкиваются они снизу на поверхность. И помогает им некто другой, как слабенькие струйки воды. Замерзнут — поднимут глыбу на сантиметр, а то и меньше, и год за годом громадины лезут выше и выше.

— Короли и народ, — театрально поднимая вверх руки, говорит Леша. — Кто поднимает вверх королей и президентов? Маленькие струйки, незаметные человечки!

На Тянь-Шане такие дрены с глыбами называют выползающими валунами. Американцы именуют их стентропарами.

Колька шагает по сухому руслу неширокой речки в узкой долинке с крутыми склонами и плоским дном. Русло во мхах и высокой траве, заросло елью и лиственницей, завалено глыбами серого и молочно-белого кварца. Слышен шум воды.

— Та шуму много, а воды немає, шо це за река?

— Что-то очень много кочек, — говорим мы с Марченко.

Стоят громоздкие кочки почти до самого каменного русла. Странно. Зовем Кольку, чтобы долбанул кайлой ближайшую зеленую — на пробу. Колька ударяет слегка, чтобы кочка не развалилась. Но кайла только сдирает с какой-то твердыни слой мха с толстой иистой подкладкой. А под подкладкой — лед!

Колька бьет с размаху раз, еще, много раз — лед и лед, пробил полметра льда — и вдруг кайла со звоном отскакивает: под толстой ледяной скорлупой — гранитный валун!

Другая кочка, третья, четвертая. Все валуны в ледяных оболочках и мхах, как в капсулах. Так замаскировались, что и не подумаешь их тут искать. И как это они исхитрились?

Ванька повел оленей поверху искать ягель — видит, что дела здесь не на пять минут.

А вот это что за кочка? Оказался тоже гранитный валун, обтянутый мхом, но по тонкому земляному слою. А другая кочка так и была обыкновенной илисто-песчаной кочкой. Еще одна моховая — с ледяной начинкой, и только.

— А вот это что за зверь? — кричит Лешка в азарте. — А ну, Коль, тюкни!

Колька вместе с кайлой со всего маху проваливается в мох — кочка оказалась моховой, сверху в густой траве.

Марченко, разохотившись и не расставаясь с папиросой, шагает от одного бугра-кочки к другому, пытается без кайлы разгадать «кто есть кто» и очень сердится, что не угадывает. Он зовет Кольку к себе, я и Лешка к себе. Кайла одна, и она у Кольки. Колька страшно доволен — рвут на части и без него ничего не могут.

Вечером у костра разговорились об обманчивой этой долинке. Прикинули, что валуны в ледяных капсулах обычно ближе всего к руслу.

— Надо же, — удивляется газовик, опять приехавший к нам отбирать пробы, — под совершенно одинаковой внешностью такое все разное. И никогда не подумаешь... Впрочем, так всегда и в жизни бывает. Ох, ох, ошибки от этого, ошибки. — И косится почему-то на Марченко. — Но все не так уж плохо в смысле интереса — погадай, а вдруг узнаешь! Иначе скучно.

Марченко от возмущения сопит, нахмурился, пострашнел, но молчит. Ему не нравится все, что говорит газовик, и, хотя газовик работает с нами редко, Марченко не может не показать ему своей неприязни. Газовика он недолюбливает с тех пор, как тот привез к нам свой ртутный замок и до этого еще потребовал себе отдельную комнату.

Так откуда валуны в ледяных обоямах? Откуда?

Появились они, наверное, от брызг речных потоков, когда потоки несутся ранней весной или поздней осенью и окатывают заолодевшие валуны. И еще от ночных туманов и росы, от долгих морозных ночей. Ветры припорошили потом льды пылью, на пыли выросли мхи и трава, и мох не дал солнцу растопить этот лед. А долина к тому же затененная.

Мы увидели их еще издали.

— Эх, песку-то сколько навезли, как для строительства многоэтажки, — говорит газовик.

— Ой-йю, мабуть то дитячья площадка для медведей, — кричит Шкиль.

У правого берега просторной долины этой большой речки довольно широкая полоса ледяного припая — остатки зимней

наледы. На наледи разбросаны длинные песчаные кучи, будто сваленные с грузовой машины. Метра в полтора-два высотой. Кучи аккуратные, с правильными откосами, хоть циркулем измеряй. Побольше и поменьше. Песок крупный, желтый, талый. Берешь горстями, роешь вглубь рукой — песок, никакого обмана.

Но мы давно глазам не верим. И рукам не всегда.

— Коля, давайте-ка сюда!

А под песком открылась на солнце такая сверкающая радуга многоцветных слоистых льдов, что зажмуришься: зеленые, серые, розовые, белые... Теперь разгадать эту загадку для нас проще. Очевидно, так же как и в «копнах сена», пески нанесла река. Наледь разноцветная, слоистая, значит, то чистая вода шла, то глинистая, то с илом. Но очень интересно, что наряду с этими большими кучами песка тут же стоят почему-то и мелкие копешки, совсем такие, как копны в той долине, только маленькими, и прикрыты они тоже одеялом черных суглинков со старыми коричневыми листьями и корнями. Копешки не больше метра высотой, похожи на грибы на белоснежной и толстой ледяной ножке. Условия одинаковые, а создания природы разные. Почему?

Раздумья, раздумья, без них не обойдешься... Наверное, бурные воды паводков, встречая здесь такую мощную преграду, как громадная наледь, сбросили на нее самую тяжелую свою ношу — крупные пески. А потом более низкие спокойные воды застывали где-то в размывах наледы, и тогда неторопливо оседала из них муть, плавающие листья и ветки. И все это ложилось на подтаявшую уже кое-где наледь.

И еще я вспомнила «стога сена» и подумала только теперь, что, по-видимому, и там одеяло нарастало в неспешной, почти стоячей воде широкого разлива.

Да, ходить и вдумываться во все, просматривая чуть не каждый шаг, проникать бы еще «взором и мыслью» в таинственные недра, чувствовать их пульс и хоть немного, но истинно понимать!

Все, кто занимается науками о Земле, вырабатывают свои собственные методы исследования в поле, с помощью интуиции и чего-то еще очень индивидуального, что включает его личное чувство восприятия мира в целом, в которое он подсознательно и крайне избирательно привлекает даже нечто со стороны, например из искусства с его образным мышлением, или из математики с ее сжатой логикой и точностью, или из совсем неожиданной для других и только ему близкой и нужной области знаний.



Строка в таблице

Два источника за рекой были для нас с Марченко как неоплаченный долг. Дважды пытались мы проехать к ним на оленях — не вышло: кое-где уже взламывался лед — приближалась весна.

Решили идти вдвоем пешком. Встали рано — едва различались контуры наледей и кустов. Морозило, и это радовало. Свободно перешли по льду на правый берег, довольно быстро одолели крутой каменистый склон долины и вышли на простор обширного плоскогорья.

Присели над картой, и тут выяснилось, что мы не учли, когда прикидывали маршрут, каким препятствием стали ручьи. Придется теперь идти верхами — водоразделами — дольше, но вернее, хотя источники сверху найти будет труднее.

Оказалось, однако, что вдвоем попасть на источники не удастся — не успеем вернуться засветло.

— Разделимся, — предложила я, — встретимся здесь, у этой гранитной махины, она и издали заметна.

— Тогда так, — согласился Марченко, — если первая приходите вы — кладете сюда приметный камушек и идете в лагерь — тянуть с возвращением нельзя: каждый час может что-нибудь повернуть. Если прихожу первым я — жду вас.

Поправив на спине большой рюкзак, полный пустых бутылок для проб воды, Марченко помахал мне рукой и не оглядываясь пошел по каменистой поверхности, серой от лишайников и мхов. Я смотрела ему вслед. Когда этот человек захочет, он как камень, слова и поступки слитны, доверять можно во всем.

Утро озарялось светом все ярче, и облака, распутив перья, плыли высоко и спокойно. Мир был нерушимо хорош, мы удачно заканчивали полевой сезон, сделали даже больше, чем намечали, а впереди впервые за несколько лет ожидался летний отпуск.

Я шагала по верхам. Ко мне, как всегда, пришло знакомое чувство новизны каждого шага на пути и радости одиноких маршрутов. Удивительная тишина шла со мной, и неслышимо рядом, и обгоняя меня, неслись новые и новые ветры. За несколько моих шагов они улетали далеко вперед, их сменяли другие, казалось, они захватывали с собой какую-то часть меня и идти от этого было легче.

Родник я нашла скоро, он выходил почти у перевала. Здесь, наверно, зима еще строго держала в узде его бурную подвижность, он выбивался со дна стесненно, выкручивался светлой

струей из неглубокой воронки, где цветила хорошо промытая галька, и сливался в неширокий ручей. Вокруг дремали снега, таяния еще не ощущалось.

Я посидела у родника, наслаждаясь его успокаивающими интонациями, потом налила две бутылки воды, что лежали в моем рюкзаке, замерила температуру и расход ручья, записала все это и пошла назад.

Неожиданно потемнело и начался мелкий, первый в этом году дождь. У глыбы гранита Марченко не было. Положила на условленное место кусочек сероватого кварца и не останавливаясь направилась в лагерь. Светлый простор окоема обманывал — оказалось, что по часам скоро сумерки. Долина реки лежала внизу отчужденно и хмуро и почти доверху была в колышающемся, каком-то водянистом тумане. Спуск был крут, неудобен и очень тяжел. Я скользила по невидимым под мхами льдам, что подталяли от дождя, и к реке пришла разбитая и измученная.

Льда на реке не было. Его унесло поднявшейся от дождя водой. Темная и суровая вода неторопливо шла мимо и кое-где уже заливала извилины низкой здесь поймы. Туман почти лежал на реке, и только у самого берега стало заметно, что он грузно висел над водой, будто готовый вот-вот упасть в нее.

Раздумывать не приходилось, и я пошла вверх по течению, надеясь в конце бывшей здесь всегда полыньи встретить ледяной покров. Я старалась идти быстро, чтобы опередить ночь. Но сучья и обилие появившихся ручьев замедляли мой ход, и ночь почти догнала меня. Я оценила обстановку сразу и колебаться не стала — надо переходить. Река была неширока здесь, вода поднималась выше колен и залила сапоги. Спотыкаясь, я перебравлась на наш, левый берег и радовалась, что чуть не дома и скоро буду у костра.

Но куда ни пыталась я двинуться уже в темноте, попадала в какие-то ложбины с водой, ямы с корнями, в стеклянню-шуршащее ледяное месиво, будто вошла в протоку. Ванькино бы зрение! Чтобы совсем не закороченеть, я на ходу все время потапывалась и подпрыгивала. Временами теряла ориентировку и тогда слушала реку и шла по ее шуму.

Холод, тьма, страшный озноб и ощущение, что я верчусь на одном месте, наводили на нехорошие мысли. «Чур меня, чур», — говорили когда-то ямщики, крутясь и путаясь с саними среди свирепейших российских метелей.

Обычно те, кто в какой-то мере вынужден рисковать жизнью, суеверны. Шоферы вешают перед собой каких-то дергающихся обезьянок, от чего, мне кажется, и дорогу-то как следует не видно и скорее можно «свернуться». Геологи не суеверны.

Я тоже. И странно, но совсем не суеверны альпинисты, а они-то рискуют на каждом шагу.

Если бы Марченко вернулся в лагерь, он сразу ушел бы меня искать. Значит, он не вернулся. Или пошел в другую сторону? Вниз по течению? Вряд ли.

И вот вдалеке я увидела наш костер. Он горел неярко и буднично-спокойно. Видимо, там не волновались.

...Марченко не пришел. Уже давно была ночь. Колька Шкиль и Федор с Ванькой ждали. Я тотчас отправила Шкиля и Федора к реке с длинной веревкой — почему-то Марченко виделся мне в реке.

— И кричите, все время кричите! Зовите его. И громче, он же контужен! Хорошо слышит только вблизи.

Оба сгнули во тьме сразу; фонаря не было, но глаза у них обонх зоркие.

Я переоделась, отогрелась, не верила, что дома. Но где же Марченко? Что с ним? Шум реки был хорошо слышен, и казалось, он все усиливался. Если Марченко не вошел в реку, задержался где-то на перевале или ждет рассвета — я за него не боюсь! Спички всегда есть, ведь он курит (сухие ли?), сучья всегда найдутся, а он и мокрые разожжет. А вот если спустился в воду? Тяжелый рюкзак с пробами...

В два часа ночи ребята вернулись. Кричали, звали, проходили далеко вдоль реки по залитой местами пойме. Что могло случиться? Медведей там нет. Значит, только река. Погиб? Фронтоник — не взяла ни пуля, ни бомба, ни предательский нож; сколько «языков» он перетаскал, сколько мерз в ледяных болотах в окружении врагов, и вот на ничтожной речонке... Неужели именно здесь суждены ему были последние шаги по земле?

Надев высокие резиновые сапоги, Шкиль и Федор ушли снова. И снова вернулись. И еще ходили, и еще.

— Наскрозь усе ходылы, — говорит Колька. — Нету их. Аж у саму реку улязали, усе затоплято. Охрыплы.

— Боле и мы там не пройдем, — говорит Федор.

Уже сутки прошли, как мы с Марченко вышли на эти несчастные источники. Стало светло. Ванька повесил над костром ведро с водой. О еде никто не думал. Мне казалось, что несчастье свело на нет все наши успехи.

В отсыревшей одежде я сидела у палатки, не отводя бинокля от реки. С верховьев потянул ранний утренний ветерок, и вдруг что-то едва уловимое появилось в этом ветре... Дымок! Я вскочила, резко повернула голову к нашему костру — наш дым относилось от меня.

— А ну быстро оленей на дым. Ванька, скорее, оленей скорее! Коля, Федор, дымом тянет с верховьев, скорее на дым...

Все взметнулись мгновенно, сразу поверив, притащили оленей, развернули нарты, помогали Ваньке. Я бросила на нарты палатку, чтобы укрыться Марченко: тулупов-то у нас нет. Они помчались вдоль таежной опушки, постепенно спускаясь к реке, и я следила в бинокль, пока олени не скрылись вдалеке среди густого ельника... и пока не вернулись обратно.

Из нарт вывалился совершенно черный Марченко, шатаясь распрямился и поставил передо мной на землю рюкзак, набитый бутылками с пробами воды.

...Марченко пришел к условленному месту в густых сумерках: он долго не мог найти источники — их оказалось два. Спустившись к реке, он поступил, как и я, — повернул вверх по течению, но ушел дальше меня (я в это время, видимо, барахталась в снежно-водяных ямах на другом берегу) и за еловым лесом дошел все же до ледового покрова.

Он стал переправляться, но не достиг и середины реки, как под ним проломился лед и он с тяжелейшим рюкзаком камнем пошел вниз. Не успел опомниться, сообразить, как ушел под воду! Дна не было. Раз или два ему удалось сделать плавательные движения. Острые осколки льда лезли в лицо, а рюкзак тянул со страшной силой.

— Неожиданно меня стукнула мысль, — говорит Марченко шепотом, сидя в спальном мешке: он сильно простудился, — стукнула резко, будто выхватила рывком из воды за волосы: не надо терять силы на барахтанье, все равно не справиться; задержать дыхание, попробовать спуститься на дно, может, оно тут же, близко, речка не должна быть глубокой, пройти два-три шага по дну... и, может, вылезти... Я опустился на дно, сверх сил подвигал вперед ногами и почувствовал, что оно повышается...

Задохнувшись, он поднялся над водой. Невероятное напряжение и холод забрали, видимо, все его силы; он не думал, как говорит, что сможет вылезти на берег. «Я был кусок льда». И все же он выкарабкался.

— Я понял, что мое спасение в еловом лесу — лес рядом. Я подполз под громадную ель и все не мог расстегнуть ватник — там у меня всегда в бюксе запасные спички. Достал. Запалил прямо под елью маленький костерок, чтобы отогреть руки.

Потом он зажег большой костер, его-то дым я и уловила. Через день мы с Марченко, еще болевшим, приведя в порядок

пробы с водой, записали в своем полевом журнале три строчки — название источников (дали сами!), их дебит, температуру и номера проб.

И теперь, много лет спустя, когда я смотрю на свои таблицы, что опубликованы в книгах и отпечатаны на красивой, равнодушно-белой бумаге холодным типографским шрифтом, я вспоминаю их первые записи в полевых дневниках, где странички замазаны раздавленными комарами, поплатившимися за свою назойливость, или все в карандашных каракулях, если писался на сильном морозе.

И я свободно и беспрепятственно прохожу сквозь эти ровные теперь строки — туда, к каждому из родников, и вижу их то во выюжных сумерках Муркегу, то в солнечном свете летнего Горбыляха, то в кострах белого тумана вдоль вечерних берегов Тимптона или в морозящем дожде той горькой и стылой ночи у весенней взбунтовавшейся реки.



Вперед, вперед...

Не один год прошел уже у нас на Алдане. Морозные весны пугали сорокаградусными ночами, а к концу дарили яркие и легкие дни.

В летние месяцы, как и зимой, перебрасывались мы то на суровые северные просторы неглубоких плоских долин, то на юг в каньоны рек с нетающими наледями, что лежали среди цветущих лугов как осколки древних ледников. На обширных таликах юга мы встречали истинно среднерусские говорливые речушки, затаенно пробиравшиеся под кустами ивы, ольхи, шиповника и смородины. Но самые первые и главные наши поиски и разведка воды бывали зимой.

Были широкие снежные долины в раскидистых протоках с дымящимися полыньями среди щетинистой тайги; затененные енные ущелья, сжатые скалами, бесконечные пути по белым снегам реки, что вспахивали мы своей нескончаемой бороздой.

Одни и те же черно-белые пейзажи разворачивались перед нами. Чистая графика — черные деревья вверх до небесной галерки, по бело-серым от редковатой тайги склонам, черные пятна нарт на белизне днища реки, смягченные сероватой размытостью летящих по снегу теней от бегущих оленей, под белым солнцем за далекими белыми облаками.

Выюжные метели сужали мир до метра, до оленьих ног перед

глазами, до серых торчащих вверх их хвостиков с белыми «зеркальцами» под ними. Были белые морозные туманы по утрам, сизые закаты, черные вечера и ночи со сверкающей россыпью звезд на черном небе...

И бывало другое. Лед реки ровен и чист, едва прикрыт пушистым мягким снегом, и мы летим под ярким солнцем по нестерпимо искрящимся долинам, из одной в другую, и долины розовы от края и до края, до высокой синевы неба на хребтах. И мы пронизаны солнцем насквозь, как и каждый куст и камень на пути, и кажется, что останется в нас золото этих дней даже тогда, когда наступит в жизни долгая и пустая ночь.

Иногда попадали мы в совершенно необычные долины, вроде как на днища гигантских ледяных корыт, где наледи склонов сгладили остроту береговых линий, где нельзя отличить уже реку от берега и берега от крыльев гор. Из льда торчали верхушки затопленных льдами кустов, прибрежных лиственниц и елей. И лед под верхушками светился темноватым стеклом.

Нам казалось, что мы носились по просторам обширнейших рек и удивлялись, что деревья и кусты в ледяных этих реках стоят чуть ли не посередине. И догадка поражала — здесь же берега! Давно уже берега, а река-то совсем узкая. И когда деревья во льду шли уже строем поперек долины, понимали, что ледом здесь изгибается крутая излучина.

Перед нами разворачивались пейзажи нездешней земли, планеты остывшей и всеми оставленной. Лиственницы на ветру, забитые снегом, стояли как всеми позабытые слепые стражи. Заброшенность рек, их покинутость вызывали печаль, но печаль была наша, человеческая, реки не люди — им хорошо в забвении.

Мы переваливали через невысокие водоразделы в соснах, в пронизанных изморозью зарослях багульника. Спускались в новые, невиданные прежде распадки, неизведанные и влекущие, и чувствовали себя первыми — снегопроходцами.

Об источниках, полыньях, незамерзающих реках и наледях я всегда расспрашиваю охотников, рыбаков, лесников, встречных таежных людей, и прежде всего, конечно, своих проводников. Иначе можно месяцами крутить по мертвым долинам, насквозь промерзшим и заледенелым, где только снег, лед и звенящие, как разбитые фонари, пустые ледяные бугорки вдоль русел.

В разведочные маршруты выезжаем мы обычно вдвоем-втроем. Почти всегда со мной Шкиль и Лешка или Марченко. Проводником в последнее время чаще всего ездит Ванька.

Едешь по зимней реке, знаешь — источник где-то здесь, ждешь, вглядываешься, обыскивая глазами каждый метр слепящей белизны. И наконец вот они — полыньи. Уединенно жившие до нас, появляются они перед глазами незащищенно, открыто — темными пятнами. Или черная ломаная линия подчеркивает еле угадываемые в этой белизне берега, окольцовывает острова. Иногда полыньи смутно просвечивают едва заметной серой растушовкой льда, припорошенного снегом. В пятнах-прогалинах под берегами гнутся зелеными струями водоросли.

В мелких полыньях обычно видна яркая от воды разноцветная галька, и вода кажется там особенно прозрачной. Полыней я видела множество, и каждый раз они меня завораживают.

В таких поисках пригодилось нам с Лешкой умение определять дебит источников и расход ручьев на глаз. Небольшие роднички, мелкие потоки, больше их не встретишь, но помнить о них надо. Вертушку доставать на морозе, да еще когда темнеет не всегда возможно. Сойдешь с нарт, взглянешь, «убьешь», как говорит Лешка, расход ручья на глаз, и находит затерявшийся в тайге и морозах родничок свое место на карте. А маленький, аккуратный термометр в футлярчике у меня всегда за пазухой.



Поиски

В крошечной палатке мы сидим где-то у подножия гаснущей в снежных сумерках горы, и я рассматриваю карту. Карта мелкомасштабная, притоков мелких на ней нет, а некоторые речки, что мы пересекаем, и вовсе отсутствуют или показаны пунктиром.

— Вань, — говорю я, называя речку, — есть на этой речке вода? Полыньи есть?

Ванька недовольно отворачивается — называть его надо не Ваней, а Ванькой, и спрашиваю я не вовремя: он сосредоточенно, с хлюпаньем тянет из кружки горячий чай.

— Есь, — кивает он. — Есь вода...

— Широкие полыньи? Большие? Как на Медведевке? Больше?

— У, — говорит Ванька убежденно. — Там воды мыноко. Хаватит тебе.

Надо проехать посмотреть. Меряю по карте расстояние до реки курвиметром. Ванька настороженно и недоверчиво смотрит, как я аккуратно веду маленькое зубчатое колесико по черным хвостикам речек.

— Вань, а сколько туда километров?

Ванька вздыхает, с сожалением оставляет кружку с чаем, потому что чай с расспросами — не чай.

— Сорок, наверное...

— Вань, — я с сомнением гляжу на карту и курвиметр, — по карте не получается.

— У, — неодобрительно косится он, — по карте, конесыно, нисево не полусится.

Карты, курвиметр для него нестоящее дело. Из всех приборов признает Ванька только вертушку для замера воды, не отрываясь смотрит, как крутится под водой блестящая бабочка лопастей.

— У меня получается двадцать километров. Может это быть? Ванька возмущенно встряхивается.

— Ты сё — не понимай? — говорит он нетерпеливо. — Какой дорога будет — пылакой дорога — сорок, коросый дорога — тыватцать...

Лешка хохочет. Мы смеемся, и Ванька улыбается смеху, но что-то сокровенно-истинное, очень давнее есть в его ответе. До арифметики, до мерной ленты и сетки дальномера, даже до измерений шагами, днями и новолуниями, было самое первое — затрата сил, усталость, пугающая неясность путей. Для него трудная и утомительная дорога — долгая, значит, длинная. Легкая, без препятствий — короткая, близкая. Недаром в русском языке до сих пор слова «долгая» и «длинная» — синонимы. Для Ваньки язык ощущений — главный...

Вечером за разговором узнали мы две новости: первая — Шкиль объявил, что, кончив у нас работать, поедет домой на Украину, купит на заработанные деньги хату и женится на маленькой и толстой девчонке. А костюмы там и пальто всякие — это потом когда-нибудь. И вторая — Ванька неожиданно и важно сказал:

— У. Пальто нузына. Мене есь пальто. Коросый.

— Да ну, Вань, — обрадовался Колька, — чо ж ты молчал? Когда купил?

— Тыва гот. Кирепко дорогой — тыриста рублей отдал.

Лешка быстро вглядывается на меня и поджимает губы, боясь фыркнуть. Колька схватился за живот и раскрыл рот, но не пикнул. Я даже не знала, что есть пальто за триста рублей.

— Это очень хорошо, Ваня, что ты купил пальто, — говорю я серьезно. — Пальто — хорошая вещь, и ты береги его.

— Конесыно, — удовлетворенно говорит Ванька и кивает на мешок, тот самый, что страшно интересовал не одного человека в нашем отряде и на котором он сидит на нарте.

— Сидесь он, палыто. Кирепко тержал, собой возил всегда. И никто не засмеялся. Все как-то замерли. Колька заморгал глазами. Парню негде оставить даже то, что он больше всего ценит: ведь ни семьи, ни родных у него нет...

Добрались мы и до тех источников в реке, до которых намеряла я двадцать километров, а Ванька определил сорок. Ползли по снегу, потом по льду к источившимся прозрачным краям льдины. Края эти полны дутых пузырей, как бракованное стекло. Под стеклом упруго переливается темная таинственная лава. Посредине полыньи густой накипью держится серо-зеленая трава. Обкалываем лед, меряем глубину и расход, берем пробы, делаем все то же, что и везде.

На задней грузовой нарте наготове всегда стоят у нас пустые бутылки в ящиках из-под водки с удобными ячейками. Бутылки и ящики мы покупаем в чульманской чайной. Пробы воды — груз номер один, на бутылках фанерные бирки, как браслеты у новорожденных младенцев на ручке, чтобы не спутать. Мы укутываем бутылки кошмой, обкладываем химическими грелками — мороз за тридцать, а езды — часы. Я вспоминаю последний наш приезд в Чульман. Ко мне вдруг явилась компания здоровых парней, видимо прямо из чайной, — наниматься на работу! Парни просто рвались идти с нами в тайгу. Удивляюсь — с чего бы это? Работаем давно, никого не ищем, на базе проездом. Естественно, отказала. Не собираясь уходить, все они шумно расселись на крыльце.

Федор выглянул в окно, потом быстро вышел за дверь и разом шуганул всю веселую братию, а потом сердито и долго кричал что-то Кольке Шкилю. Колька виновато постанывал, подтягивал съезжающие штаны — он так и не отъехал на наших сытных харчах, — вскрикивая, оправдываясь.

— Ну и чо я казав? Та я шутыв с имям, я не думав, чо вони припрутся...

Увозя из чайной очередные санки с ящиками и бутылками для проб воды, Колька охотно рассказал этим парням о нашей совершенно роскошной жизни в тайге: вот эти ящики с водкой, что он тащит, мы всегда берем с собой в тайгу, и для этого у нас идет позади особая оленья упряжка, и пьют эту водку все, сколько кому хочется...

Понски. Понски... Бывало, не раз часами по морозу, на нартах, в промокшей одежде — мы ведь лазаем как раз там, где может быть вода, сушиться негде, некогда, темнеет быстро. Останавливались где-то на ночлег, спешно разводили костер, но не

садились к огню, нет, а сначала быстро тащили к нему тяжелые ящики.

Вынешь с замиранием сердца бутылку из гнезда и с ужасом видишь — не вода внутри, а будто стеклянное эскимо в разрезе с радиальными кристаллами, и только вверху что-то еще булькает, да в самой середине бродит маленький пузырек воды.

А из палатки уже торчит труба железной печки, и, если со мной Колька Шкиль, он вскоре кричит оттуда страшным голосом:

— Ой-йо, скорее идите, Ташкент!

Ужинаем, ложимся, в самом деле — Ташкент. Железная печка — солнце палаточного мира. Снимаю шапку, телогрейку, свитер. В меховой спальный мешок влезаю до половины — невыносимо жарко. Но снятое сложено рядом. И ночью, не открывая глаз, чтобы не прогнать сон, постепенно натягиваю все обратно. А к утру от страшного холода сон не в сон, и волосы примерзают к металлической раме раскладушки, если я ее взяла. Или просыпаюсь от острой боли, когда, повернувшись во сне, выдаю примерзшие пряди.

Трудно, иногда очень трудно бывает здесь, но есть минуты удивительно свежего и яркого постижения сути, первоосновы вещей, когда не только берешь тайну природы, но и отдаешь ей какую-то свою взамен. Постигание это ощущается как единственная ценность, поэтому кладешь ее в душу на самое дно, чтобы беречь до конца жизни.

И снова путь. Кабакта, Нерюнгри, Леглиер, Муркегу, Беркаит... Мы заняты гуманным делом. Человеческие пути издревле идут по местам утоления жажды. И мы не для себя ищем «клады» — для тех, кто придет после нас. А до нас и для нас тоже кто-то искал и нашел немало — в земле, в океане, в капле воды, в звездном мире, в человеческих душах... Мы и наследники и предки, мы в общей цепи.

Кто-то очень хорошо сказал, что человеком владеет не воля, а воображение. Желание — вот главный стимул. Важно желать чего-то достичь, важно хотеть заниматься своим делом и любить его. Тогда для человека важнее всего то, что он ищет, и тогда для него все не в обузу.

Обычно думают, что такое относится только к людям интеллектуального труда, в особенности к творческим. Чаще да, но родственное отношение к делу доступно любой профессии. Помню портниху — маленькую, старую уже, но удивительно розоволицую женщину «с французских курсов на Сретенке», как говорила она с гордостью. Свое дело она почитала необыкновенно ответственным и серьезным. Встречая меня утром, крайне сосре-

доточенная, будто боясь растерять что-то важное, полужакрыв глаза, она вспоминала тихим, немного усталым голосом: «Я все продумала сегодня ночью. Теперь мне ясно — вот так надо провести эту линию, только так, мы имеем на это полное право»... и машет рукой, видя, что я пытаюсь что-то возразить.

Никому не придет в голову задать мне, или я — себе, вопрос: почему я здесь? Работа, специальность, задание. Но только ли поэтому? Нет! А Марченко? У нас он на перепутье, знаю. Но мог же он устроить свое перепутье где-то в городе? Не устроил, не захотел. А теперь — Лешка. Более мужественная работа? Романтика? И это, конечно, но прикипел он к нашей жизни, к поискам, к воде и льдам и с жадностью перестраивает все заново.

Я думаю, романтику можно собирать на любом пути, как цветы и ягоды. Только с романтикой проще, потому что цветы и ягоды есть не везде и не всегда, а романтика везде, ее только нужно уметь увидеть.

И это не слова, что каждый рожден, чтобы служить людям, даже если он не отдаст себе в этом отчета, это так. Можно служить им ежедневно — одевая их, питая, перевоза, спасая, можно «в долг» — создавая гипотезы, о которых люди пока не хотят и слышать, а когда-нибудь, возможно, будут отмечать даты их появления. И еще: каждый сознательно или бессознательно любим днем своей жизни ищет себя и свое место в мире.



Перевал Снежный

Переваливаясь на нартах с боку на бок по засыпанному снегом буграм и кустам, одолели мы широкий снежный перевал и сразу попали в глубочайшие снега верховьев какой-то долины. Из снегов торчали заиндевелые деревья. Линии склонов, террас и гор выположены, будто вычерчены лекалами, а под сглаженностью этой все замечено, все затаилось.

Снег схватил нас мягким капканом — вниз ни шагу, вверх, обратно к перевалу и думать нечего. Начали с того, что назвали долину Снежной. Бились почти до сумерек. Ванька пытался таранить оленями снежную стену. Олени погружались в снег полностью, пятились, крутили нарты, вертели рогами, таращили глаза, будто под ними бездна. Ребята пробивали путь плечами.

На верхнюю террасу спустились в подступающей темноте. Какие-то громадные черные гнезда виднелись на голых ветках редко стоящих среди кедров лиственниц.

— Да это не гнезда, — присвистнул кто-то сзади. — Это глухари!

Глухари сидели на нижних и верхних ветках совершенно неподвижно. Было их много. Дробовик на этот раз был только у Ваньки. Ванька подъехал к одному из деревьев так, что от его оленей до ближайшего глухаря было не больше трех метров. Не раз уверял он нас, что бьет даже в лёт без промаха. Мы порадовались — ужин будет на славу.

С трудом перетянув одной рукой со спины ружье, Ванька долго прилаживал его к согнутому колену. Вытянул из-под себя мешок с пальто, пристроил его. Другую ногу подвернул под себя. Все молча ждали. Целился тщательно и долго. Выстрелил. Ближний глухарь вздрогнул от неожиданности, едва не потерял равновесие, но удержался и снова застыл массивным комом. Верхние и те, что сбоку, никак не откликнулись на такое событие.

Ванька переменял положение, снова целился, выстрелил. На этот раз никто на дереве не шелохнулся. На третий раз сзади меня раздался четкий хихикающий шепот Кольки Шкиля:

— Вань, а Вань, ты ногу-то протягни, может, лучше будет...

Несмотря на ехидство совета, Ванька ногу вытянул, пристроил, привалился и снова промахнулся. Глухари каменно темнели на тонкой резьбе дерева в снегах. Колька, сдерживаясь, все время тихонько всхлипывал позади меня. После пятого промаха он сказал громко:

— Вань, а Вань, ты шапку-то, шапку сними, без шапки тебе видней будет...

Ванька сердито опустил ружье и тронул оленей. Мы молча поехали мимо дерева, увешанного, как елка игрушками, спокойными удивленными птицами. Никто не шумел и не пытался их поднять.

Палатку ставили в глубоком снежном колодце, протолкли узкую траншею-тропочку к ближним деревьям и кустам кедрового стланика. Ванька срубил несколько сухих тонкоствольных лиственниц, похожих на жерди. На лиственницах длинными лохматыми тряпками висели серо-зеленые лишайники. Это было единственное, чем можно покормить оленей: до земли и ягеля, если он тут и есть, в снегах оленям не докопаться.

Утром я долго стояла под лиственницей. Ни шороха. Хотелось разрушить тишину, и я кричала что-то. Но от голоса моего только тихо сеялся сверху легкий снег.

Ванька больше часа ловил оленей, чего-то подкрадывался к ним, проваливаясь по пояс в снег, приседал, потом сразу кидался. Олени пугливо шаркались.

— Ой-йо,— сказал Колька, наблюдая за непонятными ванькиными движениями,— чо ты крадешься, Вань, ты не крадись, ты яго как своего бери, тогда вин не спугнется.

Колька оказался прав. Зачем человеку красться к тому, на что он имеет право?

И вот уже летят нарты по долине, и летит дымок от моих папиросы назад через головы оленей, и несутся оттуда крики:

— Чур, мне сорок!..

— Двадцать...

И кто-то нагоняет мою нарту и хватает папиросу. Папиросы у всех кончились.

Потом ехали долинами. Костер увидели издали. Как хорошо увидеть огонь, особенно если ищешь его и ждешь давно. Мы разыскиваем рыбаков. Рыбакам зимой не обойти полыней. И я пренебрегаю охотничьей осторожностью и гонюсь за тремя зайцами сразу — обследовать полыни, где сидят рыбаки, расспросить о других источниках и купить рыбы.

Костер, жидь, женщина. Рыбак с женой возле избушки на берегу реки. У костра на раскаленной железной печке хозяйка печет лепешки, нашлепывая их прямо на раскаленное железо сверху и сбоку, без масла. Угощаем хозяев тушонкой, они нас лепешками, пьем вкусный чай, покупаем рыбу и узнаем еще о наледях и родниках...

Марченко вернулся из двухдневного маршрута, куда ездил с Колькой, замызганный, промокший, нахмуренный, голодный. Плюхнулся на мокрый обрубок дерева у костра и надвинул на глаза шапку.

— Ваше задание выполнено. Все обошли, замеры. Дальше источников нет, проверили.

Он быстро поел и ушел спать в соседнюю палатку. Ничего рассказывать не стал. Зато Колька, поживаясь, как всегда, от смеха, тут же рассказал все подробности путешествия.

— Ой, ну и везет же им на потоп, як пойдуть куда, так потопляються. И жалко мне их, с образованием, а яки худы! Ножки аж як рука, сыные и усе у чирваках. Курорт им нужен, одним словом. И други раз — мы усе на нартах сидим, снег — во, а воны пишли искать чого-то, и уж опять потопляються.

Характер и привычки Марченко знают все, но где трудно — всегда первый без жалости к себе, иногда без особой необходимости, даже с риском. И неизменно считает Марченко своим долгом оберегать меня и устранять поудобнее, и, если кто-то

хоть слегка покушается на эти введенные им привилегии, мгновенно свирепеет.

— Ой-йо и беспокойства у их много! — захлебывается Колька. — Лезут усе первые, мени не кажут, ямку увидють — рисують, записують, а ноги мокрые. На тую сторону перебродылы, гляжу, поверх сапога — вода. Другой кто помочывся, костер давай, а воны дальше и дальше, идуть еще часа два. Ой, мама... Так як тут не будэ той щодный...



Пульс Земли

Источники высоко в горах, вдалеке от рек — особенные. Ощущение даже ожидаемой встречи с ними очень сильно. Снег, мороз, не надеешься уже ни на что, ничего не ждешь, видишь — все мертво до земных глубин, и вдруг... где-то в распадке, у дерева небольшой снежный провал, мягкая воронка и что-то темное, пританьевавшее в глубине, совсем маленькое, шевелится. Подходишь — да, она, прекрасная пленница, выбралась-таки к небу...

Отгребаешь снег, а под снегом обжитой дом — это только снаружи шелочка-форточка, там же, оказывается, все устроено, освоено и вглубь и вширь, и курлыканье воды идет для себя, не для кого-нибудь — довольное, самоутверждающееся. И таличок под снегом, сток вниз по склону. И все очень маленькое, но сильное и уверенное. Появляется совсем особое чувство, когда ищешь источники в великом белом мире и находишь сокровенные «форточки» Земли, а в них это живое, близкое нам, кровное, вечное.

А вот в реку впадает не приток, а ледоток — горбатая наледь. Мы на нартах пытаемся ее преодолеть. Чтобы олени не сломали ноги, Ванька считает, что ехать надо быстрее, я же — наоборот. Мне кажется, что на полном ходу им не вытащить быстро ноги из ледяного провала. Но за оленей отвечает проводник, и я замолкаю.

Олени бьются, скользят и падают, проваливаются в лед, на встречу фонтанами хлещет вода. Ванька кричит на оленей, бьет их, чтобы выскочить быстрее. Я кричу на Ваньку, он поворачивает красное, напряженное лицо и, страшно вращая глазами, впервые за все время орет:

— Сыкорей ната, олень ноги ломать бутет...

Как трудно, как долго не можем мы выскочить на этот раз из ледяной ловушки. Как крут подъем, возвышенный рекой,

брызжащий водой, ему нет конца. Когда мы все же вылезаем на ледяной горб и катимся по широкому ледяному разливу, не верится, что все целы.

Потом пошли снега все глубже, глубже, и олени остановились. От первой нарти виднелись вершушки спин и рога. Дальше мы втроем — Лешка, Шкиль и я — идем напролом на снежную преграду. Полыни должны быть недалеко. А что значит недалеко? Сто метров, километр? Одно дело — пробежать сто метров по гаревой дорожке, проплыть вдоль берега Черного моря, пройти за оленями по каменистому хребту. Другое — в двадцатиградусный мороз пролезть в меховых брюках на брезенте сто метров сквозь плотную снежную стену.

Наваливаясь грудью, проламываем её. Лешка громадный, он вытягивает длинные ноги, как ходули, оставляя за собой только ямы, а не ход. Почти два часа проталкиваемся так, потом снег стал легче, высота его меньше. И вот открылась протока с полыней и рыжеватый, на десятки метров протаявший берег небольшой речушки без снега, как летом.

Из засугробленного леса сбегает черные ручьи. На берегу в небольшой круглой воронке пузырится вода и, переполняя ее, выплескивается крошечным ручейком и стекает по талой земле в открытый поток.

Приседаю у воронки, нечаянно касаюсь земли рукой без перчатки и вздрагиваю от неожиданности — земля-то теплая! Будто прикоснулась я к живому ее телу. Термометр в воронку! Почти пятнадцать градусов... Под рукой бьется живой пульс Земли.

Люди ходят, плавают, ездят по планете, летают над ней. У летчиков перед глазами небо, и они живут им. У моряков и подводников душа растворена в море. А те, кто ходит по земле и трогает ее руками, — чувствуют ее всю — ее твердь, ее воду и воздух. Горожане забывают о земле потому, что она закрыта бетоном, асфальтом и камнем.

Вода в воронке невкусная, пахнет сероводородом, очевидно, и минеральная, не для питья. Так, может, для лечения? Узнаем. И вдруг будет когда-нибудь здесь кто-то жить, лечиться и вспоминать нас. И вижу — станут ходить зимой мотонарты, а летом зависнут, затрещат над цветущими оазисами минн-вертолеты. На оленях поедут только туристы, как ездят они сейчас на лошадях в лакированных пароконных экипажах в Риме. И будет на нартах прикреплен таксочетчик, как на тех роскошных пролетках, что часами стоят у Колизея.



Лунный перекресток

Над вершинами гор чуть сбоку светит большая светлая луна, вытягивая за нарты переменчивые тени — будто плывем мы в прозрачном свете по едва припорошенному снегом темному льду. Олени бегут легко и ровно. Скоро слева и справа должны появиться притоки. По одному из них вверх — наш путь.

Вглядываюсь вперед. И вдруг... Ванька быстро оборачивается и осаживает оленей. Он тоже увидел. И я машу ему рукой — вниз, и взволнованно шепчу, лишь бы понял по губам, — стой!

Олени останавливаются. Впереди широкий и ровный, чисто выметенный ветрами гигантский ледяной перекресток четырех рек. Как бескрайний бальный зал с зеленым стеклянным полом. Перекресток круто сжат горами, по склонам ступенями уходят в черное небо заснеженные деревья. Лед таинственно мерцает под луной. И по самому большому кругу, мимо всех четырех ущелий, темнеющих потерянно и глухо, медленно движется хоровод высоких, колеблющихся снежных призраков.

Колыхающиеся и зыбкие белые фигуры вытянуты высоко вверх. Они из взметенного снега и, похоже, из лунных лучей. Ветры четырех долин, столкнувшись здесь, подняли этот вихревой круговорот. Белые фигуры движутся, совершая свой ритуальный танец. От фигур разлетаются в стороны легкие прозрачные покрывала, и будто кто-то невидимый снимает их с плеч белых танцовщиц. У собак в таких случаях встает дыбом шерсть, а наши кроткие олени как-то особенно забеспокоились и стали пятиться.

Фигуры то выпрямляются, то пригибаются, чуть не распавшись, и снова, поддерживаемые вихрями, стремительно возносятся вверх. Может быть, надо, чтобы их никто не видел?..

И всё это в полной тишине, глубокой и непостижимой тишине. Я еле перевожу дыхание и боюсь, что даже от него они могут рассыпаться и исчезнуть, и тогда я лишусь чего-то неожиданно для меня дорогого. А мне хочется, чтобы они продолжали свой загадочный танец в молчаливом уединении.

Далекая река и ночь и необычайный этот хоровод метельных призраков... Неужели если поездить лунными ночами по долинам, то застанешь такое и еще где-то, а может, увидишь и что-то другое, не менее удивительное, что и представить пока невозможно?

Я не решилась проехать сквозь призрачный хоровод — как знать, а вдруг разрушим? Прижимаясь почти к самым бортам

долин, мы обогнули перекресток, пересекли устья трех рек и тихо поехали вверх по левому притоку. Там, у верховьев, мы должны найти незамерзающие родники.



Каспей

— Что ты там рассматриваешь, Вань?

— У. Не видис сито ли, сибыко скоро все мокрый будет наверно. Томой надо.

Все больше прогибов и разрывов во льду рек. Кое-где наледная вода течет узкими зеленоватыми потоками по льду. Ванька рассматривает их с нарти как неведомых, недо-росших пока и поэтому безвредных зверюшек. Наклоняется вперед и низко нагибает голову.

На короткую эту разведку я поехала только с Ванькой. В палатке на полыньях остались Марченко, Леша и Шкиль. Узнала, что где-то недалеко вверх по притоку, у самого перевальчика и еще за перевальчиком по другой речке должны быть в верховьях незамерзающие ключи.

Мягкий дневной свет притушен тихо падающим снежком. Сквозь снежок светится бледно-голубое небо и кое-где — то на горе, то над рекой в случайные бесснежные просветы падают короткие, почти мгновенные солнечные лучи. Зимняя тишина, что стояла еще несколько дней назад, миновала. В воздухе появились глуховатые голоса, подо льдом накапливается вода, уже слабеют ледяные застенки. С ветвей днем падала первая неуверенная капель, и с вершин елей слетали тяжелые, мокрые хлопья.

Мы нашли незамерзающий ручей и добрались до его истока. Здесь, в его верховьях, еще была зима. Вода крутилась в размытой каменистой ямке среди заснеженного кустарника, прикрытого сухими лиственницами. Как все же прекрасны истоки! Начало начал, вот оно. Хорошо, чтобы всегда хватало у человека сил добираться до истоков.

Одолев широкий и плоский перевальчик, весь продутый ветрами и поэтому бесснежно-каменистый, пропахав снега в верховьях на спуске в небольшую речушку, мы не торопясь двигались по краю узкой долинки к ее устью. В долинке за яркий вчерашний день уже заметно потрудились солнце.

Вдруг Ванька обернулся.

— Видис — селовек сидит?

Я ничего не вижу. Слух да, за пятнадцать километров, когда никто не слышит оленьих колокольцев, я слышу, а зрение — увы! Ванька снисходительно и недоверчиво посмотрел на меня, улыбаясь. По его мнению, не увидеть невозможно. Спустились ближе, Ванька показал на противоположный берег.

— Ну, пирамо сымотри — куст ломал, видис? Дерево лизит — видис? Селовек сидит, сего — не видис?

Увидела. На поваленной сухой коряге сидит человек. Полыней здесь нет, значит, не рыбак. Охотник. Якут или эвенк.

— Изыбуска тозе не видис? Носевать надо. Сыкоро темно наверно.

Мы ехали почти шагом вдоль густо росших елей. И услышали — негромко поет человек. В нашу сторону он не глядел, но я уверена — видел нас давно. Сидел он на солнцепечном склоне почти у кромки льда, где в речку круто падал небольшой ручеек. Ручеек выработал в снегу глубокое русло и явственно имел собственный голос. Голос человека и голос ручья удивительно слаженно переплетались. Человек не пытался преодолеть голос воды, цель была несомненная — гармония.

Позади охотника ютилась под елями крохотная избушка — на одну кровать-настил, вся она была видна в открытую дверь, вместе с железной печкой у порога.

Мне приходилось слышать такие песни в горах Кавказа. Арба с буйволами медленно движется, и часами слушаешь бесконечно длинную песню горца. Но редкие подъемы голоса вверх все же создавали там впечатление ритма, свойственного песне.

Здесь было другое. Охотник пел нечто своеобразное, неповторяющееся. Это был музыкальный разговор человека с самим собой. Вернее, человека с водой.

Нарты я остановила вдали. Долго стояла и слушала, а потом медленно подошла. Поздоровалась, подседа к охотнику. Спросила:

— Что поешь?

Он перестал петь, кивнул задумчиво на мое приветствие. Видно, был еще мыслями в своей песне и ко мне не повернулся и на вопрос промолчал. Похоже, что я помешала. Только потом ответил:

— Здравствуй...

— Мне интересно, скажи, что пел. О чем пел?

— Пел, — сказал он неохотно. — Песня.

— Я понимаю, что песня. Но какая? О чем? И мотив, напев, понимаешь — я провела рукой по воздуху — вверх, вдоль, вниз — не простой. Длинный. Все время новый. Не повторяется — понимаешь?

Охотник молчал. Наверно, я сказала непонятно. Любопытство мое разгоралось.

— Скажи, пожалуйста. Очень хорошая песня. Мне нравится. Он повернулся:

— Лед тает, знаешь? Вот, — он показал на ручей, — вода бежит — знаешь? Сейчас стала бегить... сейчас лед был... не вода — знаешь? Теперь вода. Вот эта песня. Тает, тает, бежит, бежит, тут сейчас родился, день бежит, ночь бежит... Сижу смотрю — бежит, уйду — бежит...

Он опять недовольно отвернулся, считая, что понять я этого не смогу. Но я поняла. Песня тающих льдов. Песня рождающейся воды! В самом деле, она и должна быть непрерывной и всегда новой.

— Ты поешь песню тающего льда? Песню рождающейся воды? Ты поешь замечательную песню! Как тебя зовут?

— Каспей.

— Это имя — Каспей?

— Имя — Семен.

— Фамилия?

— Нет. Фамилия — Кусков.

— А что такое Каспей?

— Зовут так.

Детское ласкательное имя, или дружеское прозвище, или слово рода?

Человек пришел к воде, чтобы спеть с ней песню. В честь ее рождения. Может, для этого он уехал из дома?

Я оставила Каспея у ручья и пошла побродить. Ванька срубил для оленей три тонких лиственницы, засохших, увешанных шалами лишайников. На каменистом берегу ягеля не было и следа.

Уже стемнело, когда мы вошли в избушку. Избушка была мала, и мы с Ванькой едва втиснулись. На хозяйских нарах — оленьи шкуры, на столике шириной в доску, прибитом к стене, — вяленая рыба. Я рассмотрела Каспея. Его лицо, не засушенное ни ветрами, ни солнцем, было темное, гладкое, в мягких складках, не молодое, но и не стариковское.

Открытую дверь не закрывали, затопили печку, и скоро она, раскалясь, походила на упавший к нам с неба и негоревший метеор. И тогда я осторожно попробовала расспросить у Каспея, не знает ли он поблизости не замерзающих зимой источников.

С Каспея сошло то состояние отрешенности, в котором он был у ручья. Согнувшись, подкладывая в печку маленькие чурки, он довольно охотно ответил.

— Два дни будешь ехать темно-темно — утро и вечер — вверх по той реке, — он махнул назад, — вверх три речки пройдешь, опять вверх, и там (он будто зачерпнул рукой со дна родника и поднял ее быстро вверх) вода идет. Кругом лед, весь речка — лед, а вода идет вверх и обратно, вверх и обратно, — он показал рукой вниз, — в землю идет, а всю зиму рыба кругом плавает...

Представить себе такое — наступает зима, промерзает речка, промерзает дно, все больше сжимает мороз ледяное кольцо вокруг истока. А снизу бьет и бьет живой родник! И всю зиму в замкнутой водяной круговерти ходит живая рыба. Посмотреть бы! Но это далеко, а на мне узда практичности — использовать источник не удастся. Это когда-нибудь, после нас придут сюда счастливы. Они будут ездить, куда им захочется, и исследовать любые источники, пока не познают все тайны этого прекрасного края.

Я спросила Каспея, а нет ли источников поближе. Каспей посмотрел на меня удивленно, и я увидела, как удивление перерастает в нем в гнев.

— Самый хороший сказал!.. Самый красивый сказал!.. — он почти шептал. — Что еще надо?

У него не было слов, и голос сорвался. Он замолчал. И я не стала больше спрашивать. Я поняла его — этой женщине показалось мало самого нудного и самого прекрасного. Разве важно, думал, наверное, Каспей, далеко это или близко? Важно, что это было... Что это есть. И я обязана была туда пойти. О чем еще мне сообщать?

Я даже не разъяснила ему, почему мне его мало. Это было в разных измерениях.



Искатели

Все пути по югу и северу Алдана, зимние и летние, разных лет, стали для меня потом неким единым путем. Я восприняла их в целом не только как поиски-искания воды, не только как задачу моего дела, но и как поиски чего-то другого, не менее важного для меня, большего, чем просто научные исследования.

Свою задачу мы выполнили, на заданные нам вопросы ответили.

Можно было бы завершить эту книгу рассказом, как жили, где работали мои герои в дальнейшем, но делать этого я не

буду. И они и я — в пути, и у них и у меня, как и у каждого человека, — впереди дороги, таежные ли, пустынные ли, высокогорные или просто человеческие. Уеду ли я на Таймыр, еще раз на незабываемую Чукотку, или на Чару с ее величественными ледниками и загадочными песчаными дюнами, станет ли мерзлотоведом-гидрогеологом Леша или свернет он на заманчивые морские дороги к Южной Америке, найдет ли свое место сумасбродный и непонятный самому себе Марченко в любимой им Средней Азии — какая разница? Человек всю жизнь в Исканиях. Нужно, чтобы он жил своим делом и жил каждым днем своей жизни.

Во все времена существовало великое племя Искателей, неутомимое, неутомимое. Оно шагало по Земле, вгрызалось в землю, поднималось в небо или ныряло в океан. Оно было, есть и будет, и это хорошо.

Многие Искатели давно уже остались для нас только на портретах, в мыслях и книгах и непререкаемых истинах, завещанных нам, да в трепете чувств, что светятся с портретов в их глазах, потому что глаза Искателей — особые.

Другие еще живут среди нас, хотя и оставили уже свои рюкзаки, лодки и даже поезда. Живут в городах, и дело свое нашли в чем-то другом. Их иногда снимают в собственных квартирах и показывают по телевидению за массивными письменными столами на фоне книжных полок, где каждая книга — страница их жизни, даже если не они ее писали.

Я рада, что их не беспокоят теперь те сумасшедшие бродяжно-манящие голоса паровозов, что не давали им спать в юности, этих гудков больше нет, а требовательный стон электричек скорее напоминает о даче, устойчивом существовании и покое. Окружающие нередко уверены, что теперь они ничего не ищут. Но это не так. Они останутся Искателями до конца своих дней, потому что нетленная искра поисков переродила их души.

Третьи полны сил, они действуют во всю широту своей натуры, для них самое время жить, и жить жадно, ездить и ходить по Земле, оставлять свои следы на далеких тропах и прокладывать новые. За ними и с ними молодежь, как всегда смелая, наступательная, немного ершистая и чуточку сумасбродная.

Четвертые еще только мечтают и подрастают. И так давно уже передается и принимается эстафета — от первопроходцев-подвижников, от героических одиночек прошлого к целым поколениям энтузиастов-открывателей дней сегодняшних и будущих.

Среди Искателей, что ходили и будут ходить по Земле, и в особенности по той необыкновенной и удивительной, вечно мерзлой, что зовется Страной мерзлоты, естественно, наиболее близки мне Искатели-мерзлотоведы, что бы ни изучали они в ней —

холодную ли и плотную массу ее тела, тончайшую ли лепку узор ее во льдах и почвах, отзвуки ли ее существования во Вселенной и Вселенной в ней, обманчивую ли ее устойчивость и опасную податливость и, конечно же, ее родники. Родники — воду, вырвавшуюся на свободу пленницу Ледяного Сфинкса — Холода, и родники — лучшее в умах и сердцах встреченных ими людей.

Я рада, что для меня в Стране мерзлоты было много выбеленных снегами берегов, что я вобрала в себя и жаркие быстрые дни таликовых лугов, окруженных натающими наледями, и столько родникового звона, что, кажется, каждый родник смог узнать по голосу.

Я рада, что хоть отчасти приобщилась к мудрости Земли и что в этом приобщении все взятое мной и отданное ей выросло в нечто по-настоящему для меня нужное и новое, как никому еще неведомое дерево.

И главное, что я извлекла из этого могучего приобщения, — это необходимость Начала и Продолжения.

Казалось бы, старая истина — начинать никогда ничего не поздно. Но чаще эта истина остается в словах и книгах. Для каждого же, кто эту истину постигает сам во всей глубине в своих исканиях, она становится новой и навсегда проникает в сердце.

Содержание

- 5 — Одна из всех
- 7 — Золотые костры
- 12 — В заветный край
 - 13 — Белая лошадь
 - 16 — На вечный зов
- 18 — Путешествие по бедам
- 21 — Будки-города
- 23 — Чульман, Чульман
- 25 — Мои будущие Пятницы
 - 27 — Лодка
- 29 — Мне бы с ним в тайгу
- 32 — Будем сниматься в кино
 - 35 — Над горизонтом
 - 38 — В царстве воды
 - 40 — У розовых моржей
 - 44 — А что увидим там?
 - 47 — В моем заповеднике
 - 51 — Одинокие маршруты
 - 54 — Вкус дождя
 - 58 — Измерить демона
 - 61 — Беспокойные соседи
 - 65 — «Медвежий бунт»
 - 69 — Водопад
 - 73 — Ночной пришелец
 - 76 — «Переплавы»
 - 79 — Интерлюдия
 - 80 — Дома, в Якутске
 - 84 — Сергеляхские зимы
 - 91 — Под Новый год
- 101 — Горячие дни морозной весны
 - 103 — Решение загадки
 - 109 — Колька Шкиль
 - 111 — Веселые проводы
 - 116 — В краю ледопадов

- 121 — Вечера на Горбыляхе
- 126 — «Генеральский» дом
 - 129 — Летучие мыши
 - 133 — Что под нами
- 140 — Наперегонки с эпохами
 - 144 — Езда на леших
- 149 — Московские каникулы
 - 154 — Самое лучшее
- 157 — Совершенно нормально
 - 162 — Две Мулатки
 - 169 — Тихилер
 - 175 — Магистраль
- 179 — Долины хитрого колдуна
 - 184 — Строка в таблице
 - 188 — Вперед, вперед
 - 190 — Поиски
- 194 — Перевал Снежный
 - 197 — Пульс Земли
- 199 — Лунный перекресток
 - 200 — Каспей
 - 203 — Искатели

Вельмина Н. А.

В28 Пленница вечного холода.—М.: Мысль, 1979, 207 с.
85 к.

Страна вечной мерзлоты — Ледяного Сфинкса — удивительна и впечатляюща. Но на ее глубоко промерзшей земле встречаются незамерзающие родники живой воды. Поиски таких родников нелегки, но они овеяны поэзией путешествий по заснеженным таежным рекам на оленьих и собачьих упряжках и встреч с чудом рождения в шестидесятиградусные морозы не иссякаемых никогда источников.

Эта книга об увлекательной и трудной профессии гидрогеолога-мерзлововеда, о раздумьях на таежных тропах, о путешествии по местам недавно еще диким, по которым скоро пройдет великая Байкало-Амурская магистраль.

В 20901-004 172-80
004(01)-79

551.49

ВЕЛЬМИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

ИБ № 1485

Зав. редакцией А. П. ВОРОНИН
Редактор М. И. МАКАРОВА
Младший редактор С. И. ЛАРИЧЕВА
Оформление художника В. А. ЗАХАРЧЕНКО
Художественный редактор С. М. ПОЛЕСИЦКАЯ
Технический редактор И. И. СОШНИКОВА
Корректор С. С. НОВИЦКАЯ

Сдано в набор 19.04.79. Подписано в печать 21.09.79. А 08202. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печатных
листов 12,09. Учетно-издательских листов 13,01. Тираж 150000 экз. Заказ № 131.
Цена 85 к.

Издательство «Мысль». 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валуевская, 28

С. С. Новикова
29.03.1980



